
ОТ АВТОРА МИРОВЫХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ
«ЧЕСТЬ» и «СОРОК ПРАВИЛ ЛЮБВИ»
ЭЛИФ
ШАФАК
10 МИНУТ
Потрясающий
роман, экзотичный
и захватывающий.
The Times
38 СЕКУНД В ЭТОМ
СТРАННОМ
МИРЕ

10 минут 38 секунд в этом странном мире

Элиф Шафак

Аннотация
Элиф Шафак. 10 минут 38 секунд в этом странном мире
Конец
Часть первая. Разум
Одна минута
Две минуты
Три минуты
История Налан
Четыре минуты
История Синана
Пять минут
Шесть минут
Семь минут
История Джамили
Восемь минут
История Зейнаб
Девять минут
Десять минут
История Хюмейры
Десять минут двадцать секунд

Десять минут тридцать секунд
Последние восемь секунд
Часть вторая. Тело
Морг
Пятеро
Этот старый неуемный город
Горе
Квартира
Обычные горожанки
Серебристый «мерседес»
Вид сверху
План
Саботаж
Карма
Дорога
Обреченные
Посетители
Ночь
Водка
Людям свойственно ошибаться
Возвращение
В город
Часть третья. Душа
Мост
Синяя рыбка-петушок
Эпилог

Примечание для читателя
Словарь
Благодарности

Аннотация

Текила Лейла была убита. Ее сердце уже перестало биться, но в течение 10 минут 38 секунд ее мозг все еще активен. И за эти краткие минуты Лейла вспоминает свою жизнь и друзей, таких же изгоев, как она. Ее детство прошло в провинции в глубоко религиозной семье с деспотичным отцом, слепо следующим законам Корана. Не выдержав диктата отца, Лейла убегает из дому в Стамбул, где оказывается втянутой в секс-индустрию. Несмотря на жестокость, царящую в мире торговли женским телом, Лейле придется через многое пройти и многое вынести, но ей удастся сохранить главное – свою душевную чистоту… *Впервые на русском языке!*

Элиф Шафак
10 минут 38 секунд в этом странном мире

Elif Shafak
10 Minutes 38 Seconds in This Strange World

© Elif Shafak, 2019
© О. И. Лютова, перевод, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство АЗБУКА®

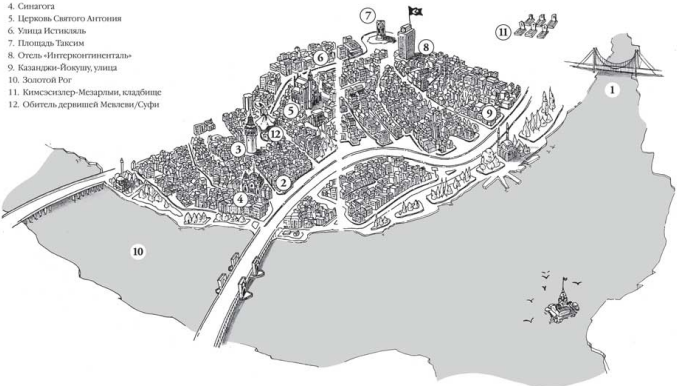
* * *

Посвящается женщинам Стамбула и самому Стамбулу, который всегда был и остается городом женского рода

И снова он немного опередил меня – теперь в расставании с этим странным миром. Но это не важно. Для нас – тех, кто верит в физику, – разделение на прошлое, настоящее и будущее имеет значение лишь как общепризнанная и неискоренимая иллюзия.

Альберт Эйнштейн о смерти своего ближайшего друга Мишеля Бессо

1. Босфорский мост
2. Улица борделей
3. Галатская башня
4. Синагога
5. Церковь Святого Антония
6. Улица Истиклял
7. Площадь Таксим
8. Отель «Интерконтиненталь»
9. Казанджи-Йокушу, улица
10. Золотой Рог
11. Кимсэсизлер-Мезарлыи, кладбище
12. Обитель дервишей Мевлеви/Суфи



Конец

Ее звали Лейла.

Текила Лейла — именно под этим именем ее знали друзья и клиенты. Текилой Лейлой ее называли дома и на работе — в здании цвета розового дерева, которое притаилось в мощеном тупичке у порта, между церковью и синагогой, среди ламповых лавочек и кебабных, в тупичке, приютившем старейшие лицензированные бордели Стамбула.

Однако если бы она услышала эти слова от вас, то запросто могла бы оскорбиться и швырнуть в вас туфлей — обычно она носила туфли на высоком каблуке.

— Меня зовут, дорогуша, а не звали… Меня зовут Текила Лейла.

Ни за что и никогда она не согласилась бы, чтобы о ней говорили в прошедшем времени. От одной только мысли об этом Лейла чувствовала себя маленькой и поверженной, но ощущать себя таковой ей хотелось меньше всего на свете. Нет, она твердо отстаивала бы настоящее время, пусть даже теперь ее пронзило щемящее чувство, что

сердце только что перестало биться, а дыхание резко прекратилось, и, как ни глянь, вряд ли можно отрицать факт собственной смерти.

Никто из ее друзей пока не знает об этом. В такой ранний час они наверняка крепко спят, и каждый из них пытается найти собственный путь из лабиринта снов. Лейла тоже очень хотела бы оказаться дома, под теплым одеялом и с котом, который примостился у ее ног, мурлыча в сонной неге. Она назвала его Мистером Чаплином в честь Чарли Чаплина, ибо он, как и герои первых кинофильмов, жил в своем собственном безмолвном мире.

Текила Лейла отдала бы все на свете, чтобы оказаться сейчас в своей квартире. Но вместо этого она была тут, где-то на окраине Стамбула, напротив темного и влажного футбольного поля, внутри металлического мусорного контейнера с ржавыми ручками и облупившейся краской. Это был передвижной контейнер высотой примерно четыре фута и шириной вполовину меньше. Рост самой Лейлы примерно пять футов семь дюймов, если не считать восьмидюймовые лиловые шпильки без задника, которые по-прежнему были у нее на ногах.

У Лейлы накопилась масса вопросов, в голове

она продолжала прокручивать последние мгновения жизни, спрашивая себя, когда же все пошло прахом, — бесполезное упражнение, надо сказать, особенно имея в виду, что время не клубок пряжи и его нельзя размотать. Ее кожа приобретала уже серовато-белый оттенок, пусть даже в клетках все еще кипела жизнь. При всем желании Лейла не могла не заметить, что в ее органах и конечностях происходит множество процессов. Люди всегда считают, что труп полностью лишен сознания и никак не живее упавшего дерева или полого пня. Но если бы у Лейлы была малейшая возможность это сделать, она бы объявила, что, напротив, труп полон жизни.

Лейла никак не могла поверить, что с ее земным существованием покончено навсегда. Лишь за день до этого она прошлась по району Пе́ра — ее тень скользила по улицам, названным в честь военных вождей и национальных героев, по улицам, носящим мужские имена. На этой неделе ее смех эхом отлетал от стен таверн с низкими потолками в Галате и Куртулуше и маленьких душных притонов в Топхане. Ни тех ни других вы не найдете в путеводителях и на туристических картах. Стамбул, известный Лейле, резко отличался от Стамбула, который стремилось показать

иностранцам министерство туризма.

Прошлой ночью она оставила отпечатки пальцев на стакане для виски и следы своих духов — «Палома Пикассо», подарок от друзей на день рождения, — на шелковом шейном платке, который бросила на кровать незнакомого мужчины в люксе на верхнем этаже роскошного отеля. Высоко над головой в небе еще посверкивало серебро вчерашней луны, ясной и недостижимой, как отблеск какого-то счастливого воспоминания. Она все еще часть этого мира, и в ней до сих пор теплится жизнь, так как же ее может не быть? Как она могла уйти, словно сон, померкший с первым лучом дневного света? Ведь всего несколько часов назад она пела, курила, бранилась и думала… да и сейчас она все еще мыслит. Поразительно, что мозг по-прежнему работает в полную силу, хотя никто не знает, как долго это продлится. Как бы ей хотелось вернуться и объявить всем, что мертвые не умирают сразу, что на самом деле они способны размышлять о многом, включая собственную гибель! Люди испугались бы, узнав об этом, решила Лейла. Сама она точно испугалась бы, если бы была жива. Но ей чудилось, что сообщить об этом другим очень важно.

Лейле казалось, что человеческие существа

слишком уж нетерпеливо относятся к важным этапам своей жизни. К примеру, они полагают, что автоматически становятся мужем и женой в тот момент, когда произносят: «Да!» Но на самом деле, чтобы стать супружеской парой, понадобится не один год. Похожим образом обстоят дела с материнским или отцовским инстинктом — общество ожидает, что он сработает, как только ребенок появится на свет. На самом же деле понять, что значит стать родителем или, раз уж на то пошло, бабушкой и дедушкой, удастся далеко не сразу. То же можно сказать о пенсии и пожилом возрасте. Получится ли немедленно переключить передачу, оказавшись вне офиса, где ты провел полжизни и профукал свои мечты? Вряд ли. Лейла знала одного учителя-пенсионера, который все равно каждое утро вставал в семь, принимал душ, садился завтракать и только после этого вспоминал, что ему уже не надо идти на работу. Он все никак не мог привыкнуть.

Возможно, и со смертью происходит так же. Люди считают, что ты стал трупом в тот самый момент, когда последний раз вдохнул и выдохнул. Но все далеко не так однозначно. Между угольно-черным и ослепительно-белым существует примерно столько же оттенков, сколько

стадий у понятия «вечный покой». Если бы между царством жизни и царством загробной жизни существовала граница, решила Лейла, она была бы зыбкой, словно из песчаника.

Лейла ждала, когда взойдет солнце. Тогда наверняка кто-нибудь найдет ее и вытащит из этого грязного контейнера. Вряд ли властям понадобится много времени на установление личности. Им нужно лишь обнаружить ее досье. За все эти годы ее обыскивали, фотографировали, снимали отпечатки пальцев и держали под стражей столько раз, что она уже сбилась со счету. В полицейских участках, расположенных на глухих улочках, даже запах царит особый — пепельницы, переполненные вчерашними окурками, кофейная гуща на дне чашек с обитыми краями, несвежее дыхание, влажные коврики и резкий запах мочи, который невозможно замаскировать никаким количеством моющих средств. Полицейские и преступники помещались в одних и тех же тесных комнатках. Лейлу всегда увлекала мысль о том, что мертвые клетки кожи полицейских и преступников падали на один и тот же пол и их пожирали одни и те же пылевые клещи — без всяких пристрастий и предпочтений. В известной степени противоположности не видны человече-

скому глазу и смешиваются друг с другом самыми невероятными способами.

Как только власти опознают ее, они оповестят семью — так думала Лейла. Ее родители живут в историческом городе Ване, за тысячу миль отсюда. Но она и не ждала, что они приедут и заберут ее мертвое тело, раз уж много лет назад отказались от нее живой.

Ты осрамила нас. Все судачат об этом за нашими спинами.

Так что полиции придется обратиться к ее друзьям. Ко всем пятерым: Саботажу Синану, Ностальгии Налан, Джамиле, Зейнаб-122 и Голливуд Хюмейре.

Текила Лейла не сомневалась, что ее друзья придут, как только смогут. Она живо представляла себе, как они помчатся к ней — сразу же, но с неохотой. Глаза их округлятся от ужаса и нарождающейся печали, они не сразу осознают, насколько сильно горе, еще не пришло время. Лейла чувствовала себя скверно из-за того, что им придется пройти через весь этот ужас. Но приятно было сознавать, что они устроят ей великолепные похороны. Камфара и ладан. Музыка и цветы — особенно розы. Огненно-красные, ярко-желтые, темно-бордовые… Классические,

всегда актуальные и непревзойденные. Тюльпаны слишком величественны, нарциссы чересчур нежны, а от лилий хочется чихать, зато розы идеальны — сочетание пылкой притягательности и остроты шипов.

Потихоньку занимался рассвет. Над горизонтом протянулись разноцветные разводы — персиковое беллини, мартини с апельсином, клубничная маргарита, ледяной негрони — полосы с востока на запад. Спустя всего несколько секунд призывы на молитву из окрестных мечетей огласили округу, и все они звучали вразнобой. Вдалеке Босфор, проснувшись от своего черепашьего сна, мощно зевнул. Рыболовецкое судно, возвращавшееся в порт, дымно кашлянуло двигателем. Тяжелая волна лениво покатилась к городскому берегу. Когда-то этот район был украшен оливковыми рощами и инжирными садами, однако все это сровняли с землей, чтобы освободить место очередным зданиям и парковкам. Где-то в полутьме залаяла собака — скорее из чувства долга, чем от волнения. Поблизости смело и громко защебетала птица, в ответ ей выдала трель другая, но уже не так радостно. Рассветный хор. Теперь до Лейлы донесся грохот автофургона по рябой дороге — он пересчитывал одну яму за другой. Скоро

гул утреннего движения станет оглушительным. Жизнь в полную силу.

Когда она еще была жива, Текила Лейла всегда немного удивлялась и даже расстраивалась, если люди с большим удовольствием и одержимостью рассуждали о конце света. Казалось бы, как человек в здравом уме может настолько верить в эти сумасшедшие сценарии: астероиды, метеориты и кометы, повергающие планету в хаос? По мнению Лейлы, апокалипсис далеко не самое страшное. Вероятность мгновенного и полного уничтожения цивилизации пугает вовсе не так сильно, как простое осознание, что кончина отдельного человека не имеет никакого влияния на окружающий мир и жизнь будет идти своим чередом — с нами или без нас. А вот это, как всегда казалось Лейле, действительно жутко.

Бриз изменил направление и подул в сторону футбольного поля. Тогда-то она и увидела их. Четверо мальчишек-подростков. Любители копаться в мусоре — ранние пташки, стремящиеся перерыть все барахло. Двое везли тележку, наполненную пластиковыми бутылками и смятыми банками. Еще один, ссутуленный и на полусогнутых ногах, тащился чуть позади — он волок запачканный мешок, в котором лежало нечто

очень тяжелое. Четвертый, явно их предводитель, вышагивал впереди с нарочито важным видом, выпятив тощую грудь, — он походил на воинственного петуха. Они направлялись прямо к ней, подшучивая друг над другом.

Идите, идите.

Остановившись возле мусорного контейнера на другой стороне улицы, они принялись копаться в нем. Бутылки от шампуня, пачки от сока, ванночки от йогуртов, коробки от яиц… Каждое сокровище вытаскивалось наружу и укладывалось в тележку. Их движения были проворными и умелыми. Один нашел старую кожаную шляпу. Рассмеявшись, он надел ее на голову и, засунув руки в карманы, прошелся преувеличенно наглой и важной походкой. Видимо, подражая какому-нибудь гангстеру из кинофильма. И вдруг предводитель выхватил у него шляпу и нацепил ее себе на голову. Никто не возразил. Забрав из мусора все, что можно было, они приготовились уходить. К ужасу Лейлы, они, казалось, повернули назад, направились в противоположную сторону.

Эй, я тут!

Словно услышав мольбу Лейлы, предводитель медленно задрал подбородок вверх и, прищу-

рившись, поглядел на рассветное солнце. Он посмотрел на меняющий цвет горизонт — его взгляд блуждал туда-сюда, пока наконец не заметил ее. Его брови дернулись вверх, а губы слегка задрожали.

Прошу, не убегай.

Он не убежал. А вместо этого сказал остальным что-то неразличимое, и теперь те тоже глазели на нее с такими же потрясенными лицами. Она вдруг поняла, насколько они молоды. Совсем еще дети, всего-навсего сопляки — мальчишки, воображающие себя мужчинами.

Предводитель сделал малюсенький шаг вперед. Затем еще один. Он шел к ней, словно мышонок к упавшему яблоку, — пугливо и застенчиво, но в то же время решительно и быстро. Его лицо потемнело, когда он приблизился и понял, в каком положении она оказалась.

Не бойся.

Он уже был рядом с ней, так близко, что Лейла могла различить белки его глаз — покрасневшие, с желтоватыми пятнами. Было ясно, что он нюхает клей — этот мальчик, которому нет еще и пятнадцати. Стамбул наверняка сделает вид, что принял и поселил его у себя, а потом, когда парень едва ли будет ожидать подвоха, отбросит

в сторону, словно старую тряпичную куклу.

Позвони в полицию, сынок. Позвони в полицию, чтобы они сообщили моим друзьям.

Мальчишка посмотрел налево и направо, чтобы убедиться: никто не смотрит и камер наблюдения поблизости нет. Качнувшись вперед, он потянулся к ожерелью Лейлы — золотому медальону с крошечным изумрудом посредине. Осторожно, словно опасаясь, что она взорвется в его ладони, парень дотронулся до подвески и ощутил приятную прохладу металла. Он открыл медальон. Внутри обнаружилась фотография. Достав ее, он некоторое время разглядывал изображение. Он узнал на ней эту женщину — вернее, более юное ее изображение — и увидел зеленоглазого мужчину с нежной улыбкой и длинными волосами, уложенными по старой моде. Они казались такими счастливыми, влюбленными.

На задней стороне фотографии было подписано: *«Д/Али и я… Весна 1976 г.»*

Предводитель быстро сдернул подвеску и сунул добычу в карман. Если все прочие, молча стоявшие позади него, были в курсе его поступка, видимо, он решил не обращать на это никакого внимания. Пусть они были юнцами, однако у них хватало опыта жизни в этом городе, чтобы

понимать, когда сто́ит быть умными, а когда имеет смысл прикинуться дурачками.

Только один из них шагнул вперед и осмелился спросить, понизив при этом голос до шепота:

— Она… она жива?

— Не смеши меня, — ответил предводитель. — Она не живее вареной утки.

— Бедная женщина. Кто она?

Наклонив голову набок, предводитель оглядел Лейлу так, словно узрел ее впервые. Окинув ее взглядом с ног до головы, он расплылся в улыбке, которая залила его лицо, словно опрокинутые чернила — страницу.

— Ты чё, не видишь, придурок? Это шлюха.

— Ты думаешь? — серьезным тоном спросил другой мальчишка, чересчур робкий и невинный, чтобы повторить это слово.

— Да я это знаю, идиот! — Тут предводитель встал вполоборота ко всей группе и сказал громко и многозначительно: — Эта новость будет во всех газетах. И на всех телеканалах! Мы прославимся! Когда сюда прибудут журналисты, говорить с ними буду я, понятно?

Вдалеке какая-то машина, газанув, помчалась на полном ходу к шоссе и слегка забуксовала на повороте. На ветру выхлопные газы соединились

с колким привкусом соли. Даже в столь ранний час, когда солнечный свет только начал золотить минареты, крыши и верхушки иудиных деревьев, люди в этом городе уже куда-то спешили и куда-то опаздывали.

Часть первая. Разум

Одна минута

В первую минуту после смерти сознание Текилы Лейлы пошло на убыль медленно и верно, словно отлив, уходящий от берега. Клетки мозга, в которые больше не поступала кровь, были теперь совершенно лишены кислорода. Однако работу они не прекратили. Пока не прекратили. Последний запас энергии привел в действие бесчисленные нейроны, соединив их, словно в первый раз. Пусть сердце перестало биться, мозг все еще сопротивлялся, готовясь сражаться до конца. Он впал в состояние повышенного внимания: наблюдая за кончиной организма, он не торопился смириться с собственной гибелью. Память рванула вперед, пылко и настойчиво, собирая кусочки жизни, клонившейся к завершению. Лейла припомнила то, что, как ей казалось, и запомнить-то было невозможно, вещи, которые, как она считала, утрачены навсегда. Время приняло жидкую форму и превратилось в быстрый поток воспоминаний, перетекающих из одного в другое, — прошлое и настоящее стали неразделимы.

Первое воспоминание, затронувшее ее разум,

было о соли — об ощущении, которое вызывало ее соприкосновение с кожей и ее вкус на языке.

Она увидела себя младенцем — голенькая, лоснящаяся и красная. Всего несколько секунд назад она покинула утробу матери и, охваченная совершенно новым для себя страхом, скользнула во влажный склизкий канал. Теперь она оказалась в комнате, полной звуков, цветовых оттенков и совершенно неизвестных вещей. Солнечный свет, проникавший сквозь витражные стекла окон, неравномерно окрашивал стеганое одеяло на кровати и отражался в воде, налитой в фарфоровую чашу, и все это — несмотря на прохладный январский день. В эту самую воду пожилая женщина в одежде, оттенками напоминавшей осеннюю листву, — повитуха — опустила полотенце, а затем выжала его, и с ее запястья закапала кровь.

– *Машалла, машалла!* Как прекрасно! Это девочка.

Повитуха вынула кусок кремня, припрятанный у нее в лифчике, и перерезала им пуповину. Она никогда не использовала для этих целей нож или ножницы, считая их холодную рациональность совершенно не подходящей для ее хлопотного дела — приветствия младенца в этом мире.

Старушку очень уважали в округе и считали за все ее чудачества и затворничество личностью загадочной, имеющей две стороны — земную и неземную; словно подброшенная в воздух монета, она могла в любой момент показать одно из двух своих лиц.

— Девочка, — вторила ей молодая мать, лежавшая на кованой кровати с четырьмя столбиками; ее каштаново-русые волосы сбились в ком от пота, а во рту было сухо, словно туда насыпали песка.

Женщина очень волновалась, что так и будет. В начале месяца она вышла на прогулку в сад и стала искать паутину на верхних ветвях деревьев, а когда нашла, осторожно просунула в нее палец. Спустя несколько дней она проверила это место. Если бы паук залатал прореху, значит ребенок — мальчик. Однако паутина так и осталась дырявой.

Молодую женщину звали Бинназ — «тысяча обольщений». Ей было девятнадцать лет, хотя в этом году она чувствовала себя куда старше. У нее были полные губы, изящный вздернутый нос, который в этой части страны считался большой редкостью, вытянутое лицо с заостренным подбородком и большие темные глаза, испещренные

синими крапинками, словно яйца скворца. Она всегда была стройной, хрупкого телосложения, но сейчас, в рыжевато-коричневой льняной ночной рубашке, выглядела совсем уж тоненькой. У нее на щеках было несколько едва заметных шрамиков от оспы. Однажды ее мама сказала: это признак того, что во сне девочку ласкал лунный свет. Она скучала по своим маме, отцу и девяти братьям и сестрам, которые жили в деревеньке в нескольких часах езды отсюда. Семья ее была очень бедна — об этом ей частенько напоминали с того самого момента, как она молодой невестой вошла в этот дом.

Будь благодарна. Когда ты приехала сюда, у тебя ничего не было.

И до сих пор ничего нет, то и дело думала Бинназ: ее имущество было так же эфемерно и беспочвенно, как семена одуванчика. Поднимись сильный ветер с моря или разразись проливной дождь — и нет семян, ничего нет. Словно камень у нее на душе лежало подозрение, что из этого дома ее могут выкинуть в любой момент. И куда ей идти, если это произойдет? Отец никогда не примет ее назад — с таким-то количеством ртов у него в доме! Ей придется снова выходить замуж, но нет никакой гарантии, что следующий брак

станет счастливее, а новый муж будет милее ее сердцу. Да и кто вообще захочет взять в жены разведенную, использованную женщину? Отягощенная такими подозрениями, Бинназ всюду чувствовала себя незваной гостьей — в этом доме, в своей спальне и даже в собственном сознании. Так было до сего момента. С рождением этого младенца все переменится, убеждала она себя. Она больше не будет чувствовать себя не в своей тарелке, не будет такой неуверенной.

Бинназ ужасно не хотелось, но она все же посмотрела на дверь комнаты. Там, положив одну руку на бедро, а другую на дверную ручку, словно размышляя, имеет ли смысл уйти или все-таки остаться, стояла крепкая на вид женщина с квадратным подбородком. Ей было всего сорок с небольшим, однако пигментные пятна на руках и морщинки вокруг тонкого, словно лезвие, рта делали женщину куда старше. Лоб ее пересекали глубокие морщины, неровные и преувеличенные, словно борозды на поле, а складки на лице возникли в основном оттого, что женщина часто хмурилась и курила. Целыми днями она дымила табаком, нелегально завезенным из Ирана, и попивала чай — контрабанду из Сирии. Кирпично-рыжие волосы женщины — спасибо щедрым

порциям египетской хны, которые она на них наносила, — были разделены по пробору и заплетены в безупречную косу, которая доставала почти до талии. А светло-карие глаза были старательно подведены самым темным карандашом для век. Она — первая жена по имени Сюзан мужа Бинназ.

Мгновение женщины смотрели друг другу в глаза. Воздух между ними казался густым и бурлящим, словно поднимающееся тесто. Все это время они по двенадцать часов проводили в одной и той же комнате, однако сейчас их будто разбросало по разным мирам. Обе знали, что с рождением этого ребенка их места в семье навсегда изменятся. Несмотря на юность и недавний брак, вторая жена вот-вот займет главенствующую позицию.

Сюзан отвела глаза, но ненадолго. Когда она снова посмотрела на Бинназ, в ее лице появилась суровость, которой раньше никогда не было.

— Почему она молчит? — кивнула Сюзан на младенца.

— Да. — Бинназ стала мертвенно-бледной. — Что-то не так?

— Все так, — ответила повитуха, наградив Сюзан ледяным взглядом. — Просто нужно подождать.

Повитуха омыла ребенка святой водой из колодца Замзам, доставшейся ей от паломника, который совсем недавно вернулся из хаджа. Кровь, слизь и первородная смазка были удалены. Новорожденная недовольно скорчилась и продолжала корчиться даже после омовения, будто бы боролась сама с собой — с восемью фунтами и тремя унциями собственного тельца.

— Можно мне взять ее? — спросила Бинназ, накручивая волосы на кончики пальцев; эта нервная привычка появилась у нее за последний год. — Она… она не плачет…

— О, она заплачет, эта девочка, — решительно возразила повитуха, но тут же прикусила язык: это заявление прозвучало как темное предсказание.

Она тут же трижды плюнула на пол и наступила правой ногой на свою левую ногу. Это не позволит сбыться дурному предчувствию, если оно и было.

В комнате повисло неловкое молчание: первая жена, вторая жена, повитуха и две соседки — все, кто был там, — выжидающе смотрели на младенца.

— Что такое? Скажите мне правду, — пробормотала Бинназ, не обращаясь ни к кому конкретно,

голос ее звучал тихо-тихо.

Всего за несколько лет у нее было шесть выкидышей — и каждый последующий был сокрушительнее предыдущего, оставляя глубокий след в памяти, а потому всю беременность Бинназ была крайне осторожна. Она ни разу не дотронулась до персика, чтобы младенец не был покрыт пушком, ни разу не добавляла в свою стряпню специи и травы, чтобы у ребенка не было веснушек и родинок, и не нюхала розы, чтобы у малыша не было винных пятен. Ни разу она не подстригала волосы, чтобы никто не смог укоротить удачу ребенка. Ей пришлось воздержаться от вколачивания гвоздей в стену, чтобы случайно ударом по голове не разбудить спящего вурдалака. Она прекрасно знала, что джинны часто справляют свадьбы неподалеку от туалетов, а потому, когда спускалась тьма, не выходила из комнаты, пользуясь ночным горшком. Ей как-то удалось ни разу не посмотреть на кроликов, крыс, кошек, ястребов, дикобразов и бродячих собак. Даже когда на их улицу забрел странствующий музыкант с танцующим медведем и все местные вывалили на улицу посмотреть представление, Бинназ отказалась идти с ними, опасаясь, что ее ребенок родится волосатым. Стоило ей натолкнуться на

попрошайку, прокаженного или увидеть катафалк, она тут же разворачивалась и мчалась прочь в противоположном направлении. Каждое утро она съедала по целой айве, чтобы у ребенка были ямочки на щеках, а по ночам спала с ножом под подушкой, отгораживаясь от злых духов. И после каждого заката тайно собирала волоски со щетки Сюзан, чтобы сжечь их в камине и таким образом уменьшить власть первой жены своего мужа.

Как только начались схватки, Бинназ надкусила красное яблоко, сладкое и помягчевшее на солнце. Теперь оно лежало на столике возле ее кровати и уже стало темнеть. Это самое яблоко вскоре разрежут на ломтики и раздадут соседским женщинам, которые не смогли забеременеть, чтобы и они однажды понесли. А еще Бинназ пила гранатовый шербет, налитый в правый ботинок ее мужа, бросала семена фенхеля во все четыре угла комнаты и прыгала через метлу, брошенную на пол перед самой дверью, — это граница, за которую не мог проникнуть шайтан. Как только схватки усилились, всех животных, содержавшихся в клетках в их доме, постепенно начали отпускать, чтобы облегчить роды. Канареек, вьюрков… Последней отпустили бойцовую

рыбку-петушка, в гордом одиночестве обитавшую в стеклянной чаше. Теперь она наверняка плавала в ближайшем ручейке, перебирая длинными плавниками, синими, словно прекрасные сапфиры. Если эта рыбка доплыла до содового озера, которым славился этот город в Восточной Анатолии, ей вряд ли удалось выжить в соленой карбонатной воде. Однако если рыбка направилась в противоположную сторону, она могла добраться до Большого Заба, а чуть позже даже оказаться в Тигре, той легендарной реке, что берет начало в Садах Эдема.

Все это делалось, чтобы ребенок родился легко и был здоровым.

— Я хочу увидеть ее. Не могли бы вы принести мою дочь?

Не успела Бинназ произнести это, как ее внимание привлекло какое-то движение. Тихо, словно мелькнувшая мысль, Сюзан открыла дверь и выскользнула наружу, — без сомнения, она хотела оповестить своего мужа — их мужа. Бинназ напряглась всем телом.

Харун — мужчина, прямо-таки искрившийся противоположностями. Один день он был невероятно щедрым и милосердным, а на следующий становился до безобразия эгоцентричным и

отстраненным. Он был старшим сыном, а потому вырастил своих братьев сам после гибели родителей в автокатастрофе — событие это, разумеется, перевернуло для них весь мир. Трагедия серьезно повлияла на его личность, сделав его гиперопекуном для всей семьи и недоверчивым по отношению к чужакам. Порой он обращал внимание, что внутри его что-то сломалось, и очень стремился наладить это, однако такие мысли не приводили его ни к каким результатам. Он одинаково сильно любил алкоголь и боялся религии. Опрокидывая очередной стакан *ракы*, Харун обычно давал серьезные обещания своим собутыльникам, а потом, отрезвевший, убитый чувством вины, давал еще более серьезные обещания Аллаху. Ему с трудом удавалось контролировать свой язык, однако с телом дела обстояли куда сложнее. Каждый раз, когда Бинназ беременела, его живот тоже, словно по команде, раздувался — не слишком заметно, однако достаточно, чтобы соседи посмеивались у него за спиной.

— Этот мужчина снова в положении, — закатывая глаза, говорили они. — Жаль, что он сам не может родить.

Больше всего на свете Харун хотел сына. И не

одного. Он рассказывал всем, кому не лень было слушать, что у него будет четыре сына, которых он назовет Таркан, Толга, Туфан и Тарик[1]. Долгие годы брака с Сюзан не принесли потомства. Тогда старейшины семейства отыскали Бинназ — девушку, которой едва исполнилось шестнадцать. Неделю семьи вели переговоры, после чего Харун и Бинназ поженились по религиозному обычаю. Брак был неофициальным, и, если бы в будущем что-то не сложилось, светские суды его не признали бы, однако этой детали никто не стал упоминать. Они вдвоем сидели на полу перед свидетелями и напротив косоглазого имама, чей голос стал еще более сиплым, когда он перешел с турецкого на арабский. Всю церемонию Бинназ не поднимала глаз от ковра, хотя периодически против собственной воли то и дело глядела на ступни имама. Его бледно-коричневые носки оттенка высохшей почвы были старыми и поношенными. Каждый раз, когда он менял позу, его большой палец грозился выползти из потертой шерсти, словно и вправду мечтал сбежать.

Вскоре после свадьбы Бинназ забеременела, однако все закончилось выкидышем, из-за которого

[1] Примечания: 1

Имена эти соответственно означают: «смелый и сильный», «боевой шлем», «потоп, наводнение» и «путь к Богу». — *Примеч. автора.*

она чуть не погибла. Полуночная паника, горячие черепки боли и холод в паху, словно ее сжимала чья-то ледяная рука, запах крови, необходимость за что-то держаться, словно она падает, падает, падает… Это же повторялось со всеми последующими беременностями, только еще хуже. Она ни с кем не могла обсудить случившееся, но, казалось, с каждым потерянным ребенком какая-то часть канатного моста, связывающего ее с миром, лопалась и отпадала. И вот осталась лишь совсем хлипкая нить, соединяющая ее с этим миром, помогающая оставаться в своем уме.

После трех лет ожидания старейшины семьи снова принялись давить на Харуна. Они напомнили ему, что Коран позволяет мужчине иметь до четырех жен при условии, что он будет справедлив к ним, а у них нет никаких сомнений, что Харун станет обращаться со всеми женами одинаково. На этот раз они призвали его поискать крестьянку, пусть даже она будет вдовой с собственными детьми. Такой брак тоже не будет официальным, но еще одна религиозная церемония возможна, такая же тихая и быстрая, как в прошлый раз. Как вариант, он может развестись со своей бесполезной молодой женой и жениться снова. До нынешнего момента Харун

не прислушался ни к одному их совету. Он сказал, что и двух-то жен содержать сложновато, третья полностью разорит его, да и нет у него намерения расставаться ни с Сюзан, ни с Бинназ, так как он полюбил обеих, пусть и по разным причинам.

Теперь, опираясь на подушки, Бинназ пыталась вообразить, что же делает Харун. Возможно, он лежит на диване в соседней комнате, положив одну руку себе на лоб, а другую на живот, и ждет, когда тишину пронзит крик младенца. Потом она представила себе, как к нему точно выверенными, неторопливыми шагами подходит Сюзан. Бинназ видела их вдвоем, когда они шептались друг с другом, их жесты казались привычными и отточенными, они годами вырабатывались у людей, деливших одно и то же пространство, пусть даже уже не одну постель. Встревоженная собственными мыслями, Бинназ произнесла, обращаясь скорее к себе, чем к кому-то еще:

— Сюзан рассказывает ему.

— Ну и хорошо, — успокоительным тоном сказала одна из соседок.

Сколько всего вложила она в эту фразу! «Пусть она доложит о рождении малютки, которую не способна родить сама». Невысказанные слова повисали между женщинами этого города, как

бельевые веревки между домами.

Бинназ кивнула, пусть даже в груди закипало нечто темное — ярость, которую она никогда не выпускала наружу. Она посмотрела на повитуху и спросила:

— Почему малышка все еще не издала ни звука?

Повитуха не ответила. Предчувствие беды засело у нее глубоко-глубоко. В этом младенце было что-то диковинное — и дело не только в тревожном молчании. Она наклонилась пониже и понюхала ребенка. Так она и думала: пудровый, мускусный аромат, неземной какой-то.

Положив новорожденную себе на колени, женщина перевернула ее на животик и хлопнула по попке — один раз, второй. На маленьком личике отразились ужас, боль. Ее ручки сжались в кулачки, ротик растянулся тугой морщинкой, но все равно звука она никакого не издала.

— В чем дело?

— Ни в чем, — вздохнула повитуха. — Просто… Мне кажется, она все еще с ними.

— С кем — с ними? — спросила Бинназ, однако, не желая слышать ответ, быстро добавила: — Тогда сделайте что-нибудь!

Старуха задумалась. Лучше, когда ребенок са-

мостоятельно ищет путь со своей собственной скоростью. Большинство новорожденных тут же привыкают к новому окружению, но есть те, что предпочитают немного задержаться, словно колеблются, стоит ли им объединяться с человечеством. Да и кто станет осуждать их? За долгие годы повитуха повидала достаточно младенцев. Попадались такие, кто накануне рождения или сразу после него был так напуган жизнью, которая давила на них со всех сторон, что тут же сникали и уходили из этого мира. *«Кадер»*, называли это люди, то есть «судьба», — и больше ничего не говорили, потому что сложным, пугающим событиям люди всегда дают простые имена. Однако повитуха верила, что некоторые младенцы просто отказываются от попытки жить, будто бы знают, как им будет тяжко, и предпочитают избегать сложностей. Трусят они или проявляют Соломонову мудрость? Кто знает?

— Принесите мне соли, — попросила повитуха у соседок.

Можно было бы использовать снег, если бы на дворе был свежевыпавший покров. В прошлом она не раз опускала новорожденных в кучу чистого снега и вытаскивала их в нужный момент. Под воздействием холода легкие их открывались,

кровь начинала двигаться, а иммунитет укреплялся. Все эти младенцы — все без исключения — выросли потом в крепких взрослых.

Через некоторое время соседки вернулись с большой пластиковой миской и пакетом каменной соли. Повитуха ласковыми движениями поместила малышку в центре миски и принялась растирать ее тельце комочками соли. Как только ребенок перестанет пахнуть ангелом, собратьям придется отпустить ее. На улице, в верхушке тополя, какая-то птичка принялась выводить свою трель. Судя по звуку, это была голубая сойка. Какая-то ворона закаркала, отправляясь в путь навстречу солнцу. Всё вокруг говорит на своем языке — ветер, трава… Но только не этот ребенок.

— Может, она немая? — не унималась Бинназ.

Брови повитухи поползли вверх.

— Потерпи немного.

Как по заказу, малышка начала кашлять. Это был хриплый горловой звук. Вероятно, она проглотила немного соли и ее вкус показался младенцу резким и неожиданным. Густо покраснев, малышка чмокнула и наморщила личико, но плакать все равно отказывалась. Как же она упряма, как же опасно иметь такую бунтарскую

душу! Просто натереть ее солью будет недостаточно. И вот тут повитуха приняла решение. Она испробует другой способ.

— Принесите еще соли.

В доме не осталось больше каменной соли, а потому придется довольствоваться столовой. Повитуха проделала углубление в горке соли и полностью погрузила туда ребенка, засыпав кристалликами сначала все ее тельце, а затем и головку.

— А если она задохнется? — испугалась Бинназ.

— Не волнуйся, младенцы умеют задерживать дыхание куда дольше, чем мы.

— Но как вы поймете, что пора ее вытаскивать?

— Тсс! Слушай, — произнесла старуха, приставив палец к своим потрескавшимся губам.

Под верхним слоем соли младенец, открыв глаза, уставился в молочную пустоту. Там было одиноко, но малышка привыкла к одиночеству. Свернувшись клубком, как она это делала многие месяцы, новорожденная ждала своего часа.

Некий внутренний голос говорил ей:

Ах, как хорошо здесь, я больше не хочу наверх.

А сердце ее возражало:

Не будь дурочкой. Зачем оставаться там, где ничего не происходит? Это скучно.

Зачем же покидать место, где ничего не происходит? Здесь безопаснее, настаивал внутренний голос.

Озадаченная внутренней ссорой, малышка ждала. Прошла еще минута. Пустота обвивала и обрызгивала ее, укутывая пальчики на ножках и на ручках.

Даже несмотря на то, что здесь безопасно, как ты считаешь, это не значит, что место подходящее, парировало сердце. *Иногда безопаснее всего чувствуешь себя там, где тебе совсем не место.*

И вот малышка приняла решение. Она послушается своего сердца — того самого, от которого потом будет полно неприятностей. Ей стало интересно выбраться наружу и исследовать мир, несмотря на все его опасности и сложности, а потому она открыла ротик, чтобы наконец издать какой-то звук, но соль тут же посыпалась в ее глотку, перекрыла ей нос.

И повитуха быстрыми, умелыми движениями погрузила руки в миску и вытащила ребенка. Комнату наполнил громкий и пугающий плач. Все четыре женщины радостно улыбнулись.

— Молодец! — похвалила повитуха. — Почему

так долго молчала? Плачь, дорогуша. И никогда не стыдись своих слез. Плачь — и никто не усомнится, что ты жива.

Старуха завернула ребенка в платок и снова понюхала ее. Загадочный, потусторонний аромат испарился, оставив лишь слабый след. Через некоторое время он исчезнет полностью, хотя она знала достаточно людей, которые, даже будучи стариками, все еще испускали едва заметный запах рая. Но у нее не было необходимости делиться такими сведениями. Приподнявшись на носках, повитуха положила новорожденную на кровать рядом с матерью.

Бинназ расплылась в улыбке, сердце ее затрепетало. Сквозь шелковистую ткань она нащупала пальчики на ногах своей дочери — они были идеально красивыми и пугающе хрупкими. Она нежно зажала малышкины кудряшки меж своих ладоней, словно ей в руки кто-то налил святую воду. В эту минуту она почувствовала себя счастливой и полноценной.

— А ямочек-то и нет, — заметила она и про себя захихикала.

— Позвать твоего мужа? — спросила одна из соседок.

В этом вопросе тоже содержалось много невы-

сказанного смысла. Сюзан наверняка уже сообщила Харуну, что ребенок родился, так почему же он еще не прибежал сюда? Он явно задержался для разговора со своей первой женой и пытается унять ее волнение. Видимо, ему это важнее.

Тень промелькнула на лице Бинназ.

— Да, позовите его.

В этом не было необходимости. Через несколько секунд в комнату вошел Харун — он вышел на солнечный свет из тьмы, сгорбившись, втянув голову в плечи. Шевелюра седеющих волос придавала ему вид рассеянного мыслителя, а еще его отличали властный нос с упругими ноздрями, широкое гладковыбритое лицо и темно-карие глаза с опущенными книзу внешними уголками, которые так и светились чувством собственного достоинства. С улыбкой он подошел к кровати. Посмотрел на младенца, свою вторую жену, повитуху, затем на первую жену, а после возвел глаза к небу:

— Аллах, благодарю Тебя, мой Господин! Ты услышал мои молитвы.

— Девочка, — констатировала Бинназ на случай, если он еще не понял.

— Знаю. Следующим будет мальчик. Мы назовем его Таркан. — Харун провел указательным

пальцем по лбу ребенка; на ощупь тот оказался таким же гладким и мягким, как любимый амулет, к которому прикасаешься годами. — Она здорова, это самое главное. Все это время я молился. Я сказал Всевышнему: «Если Ты позволишь этому младенцу жить, я больше не стану пить. Ни капли!» Аллах услышал мои мольбы, Он милосерден. Это не мой ребенок и не твой.

Бинназ уставилась на мужа — в глазах ее читалось замешательство. Внезапно ее охватило чувство тревоги. Словно дикий зверь, она ощутила — пусть даже слишком поздно, — что оказалась в ловушке. Она бросила взгляд на Сюзан. Первая жена стояла у входа, губы ее были сжаты так плотно, что совершенно побелели, она была абсолютно неподвижна, если не считать ноги, которая беспокойно постукивала по полу. В ее поведении было нечто такое, что намекало на волнение и даже чрезмерную радость.

— Этот младенец принадлежит Богу, — произнес Харун.

— Как и все младенцы, — пробормотала повитуха.

Не обратив внимания на эту фразу, Харун взял младшую жену за руку и посмотрел ей прямо в глаза:

— Мы отдадим малышку Сюзан.

— Что ты такое говоришь? — пробормотала Бинназ, и собственный голос показался ей каким-то безжизненным и далеким, словно говорил кто-то другой, а не она.

— Пусть Сюзан вырастит ее. Она превосходно справится. А мы с тобой нарожаем еще детей.

— Нет!

— Ты не хочешь других детей?

— Я не позволю этой женщине забрать мою дочь.

Харун глубоко втянул воздух, а затем медленно выпустил его.

— Не будь эгоистичной. Аллах не одобрит этого. Он ведь подарил тебе ребенка. Благодари Его. Ты едва сводила концы с концами, когда вошла в этот дом.

Бинназ покачала головой и продолжала качать ею непонятно зачем: то ли не могла остановиться, то ли единственное, что могла еще контролировать, так это собственные движения. Наклонившись, Харун взял ее за плечи и прижал к себе. И только тогда она замерла, а глаза ее поблекли.

— Ты говоришь неразумно. Все мы живем в одном доме. Ты будешь видеть дочь каждый день. Господи, она ведь никуда не денется!

Если так он решил успокоить жену, это ему не удалось. Она вся тряслась, силясь сдержать боль, что раздирала ей грудь, и закрыла лицо ладонями:

— И кого же моя дочь будет называть мамой?

— Какая разница? Мамой может быть Сюзан. А ты будешь тетей. Мы расскажем дочке правду, когда она станет старше, нет смысла морочить ей голову прямо сейчас. Когда у нас будут другие дети, так или иначе они станут братьями и сестрами. Ты увидишь, как начнут они бушевать в этом доме. И непонятно будет, кто чей. Мы станем одной большой семьей.

— Кто будет кормить ребенка? — спросила повитуха. — Мама или тетя?

Харун поглядел на старуху, и каждая мышца напряглась в его теле. Почтение и ненависть заплясали бешеным танцем в его глазах. Сунув руку в свой карман, он вытащил целую кучу предметов: помятую пачку сигарет, в которую была засунута зажигалка, скомканные банкноты, кусок мела, которым он помечал, что нужно переделать в том или ином костюме, и таблетку от расстройства желудка. Деньги он протянул повитухе.

— Это вам — в знак нашей благодарности, —

произнес он.

Поджав губы, повитуха приняла плату за свой труд. По ее опыту, идти по жизни в относительной целости и сохранности можно в основном благодаря двум принципам: пониманию, когда лучше прийти, и пониманию, когда лучше уйти.

Соседки принялись собирать свои вещи и убирать пропитанные кровью простыни и полотенца, а по комнате, словно вода, проникшая в каждый угол, разлилось молчание.

— Мы уходим, — с тихой решимостью сказала повитуха; две соседки скромно стояли по обе стороны от нее. — Мы закопаем плаценту под розовым кустом. А это… — Костлявым пальцем она указала на пуповину, которая лежала на стуле. — Если хотите, мы забросим ее на крышу школы. Ваша дочь будет учительницей. Или отнесем в больницу. Тогда она будет медсестрой, а может, и врачом — кто знает.

Харун обдумал оба варианта.

— Пусть будет школа, — кивнул он.

Когда женщины ушли, Бинназ отвернулась от мужа, обратив свой взгляд на прикроватный столик, где лежало яблоко. Оно начало гнить — разложение это было до боли медленным, спокойным и незаметным. Коричневый оттенок

напомнил ей носки имама, который женил их, и как после церемонии она, в мерцающем покрывале, скрывавшем ее лицо, сидела одна на этой самой кровати, а ее муж вместе с гостями пировал в соседней комнате. Мама ничего не рассказала ей о том, чего следует ожидать в первую брачную ночь, зато старшая тетя с бóльшим сочувствием отнеслась к тревогам девушки, дала ей таблетку, которую нужно было положить под язык. *Прими ее, и ты ничего не почувствуешь. Все закончится — ты и заметить не успеешь.* В суматохе дня Бинназ потеряла таблетку, которая, как она подозревала, все равно была бесполезной конфеткой. Она ни разу не видела обнаженного мужчину, даже на картинках. Несмотря на то что она часто купала своих младших братьев, у нее были подозрения, что тело взрослого мужчины — совсем другое. Чем дольше она ждала своего мужа в этой комнате, тем сильнее становилась ее тревога. Едва заслышав его шаги, Бинназ потеряла сознание и упала на пол. Открыв глаза, она увидела соседских женщин, неистово растирающих ее запястья, увлажняющих лоб, массирующих ступни. В воздухе повис резкий запах одеколона и уксуса, а также оттенки чего-то другого, чего-то незнакомого и непрошеного, который, как она потом

поняла, исходил от тюбика с лубрикантом.

После, когда они все-таки остались вдвоем, Харун подарил ей ожерелье, сделанное из красной ленты и трех золотых монет — каждая обозначала добродетель, которую она должна принести в этот дом: молодость, покорность и плодовитость. Заметив, как она нервничает, он говорил тихо, и его голос растворялся во мраке. Харун был ласков, однако отчетливо ощущал присутствие людей, ждавших за дверью. Он спешно раздел ее, возможно опасаясь, что она снова потеряет сознание. Бинназ все это время провела с закрытыми глазами, на лбу у нее выступил пот. Она начала считать: «Один, два, три… пятнадцать, шестнадцать, семнадцать…» И продолжала делать это, даже когда он сказал:

— Прекрати эту чепуху!

Бинназ была неграмотной и умела считать лишь до девятнадцати. Каждый раз, добравшись до этого числа, до этого непреодолимого барьера, она набирала в легкие воздуха и принималась считать с начала. После бесконечных девятнадцати Харун наконец выбрался из кровати и пошел прочь из комнаты, оставив дверь открытой. Затем в спальню ворвалась Сюзан и включила свет, не обращая внимания ни на обнаженную Бинназ,

ни на запах пота и секса, повисший в воздухе. Первая жена выдернула простыню, осмотрела ее и, явно довольная, безмолвно удалилась. Остаток вечера Бинназ провела в одиночестве. Уныние осело на ее плечах тонким слоем, словно их припорошило снегом. Когда она припомнила все это теперь, с ее губ слетел странный звук, который походил бы на смешок, если бы в нем не было столько боли.

— Ну же, — сказал Харун. — Это не…

— Это была ее идея, верно? — Бинназ перебила его, такого раньше никогда не случалось. — Она сама выдумала этот план? Или вы строили его вдвоем несколько месяцев? За моей спиной.

— Конечно, ты хотела сказать что-то другое. — Харун был потрясен, но, возможно, не самими словами, а тоном жены; левой рукой он погладил волосы на внешней стороне своей правой руки, глаза его казались потускневшими и отрешенными. — Ты молода. А Сюзан стареет. У нее никогда не будет собственного ребенка. Сделай ей подарок.

— А я? Кто сделает подарок мне?

— Разумеется, Аллах. Он уже сделал его, разве ты не поняла? Не будь неблагодарной.

— Я должна быть благодарна за это?

Бинназ слегка взмахнула руками, этот жест был настолько невнятным, что мог относиться к чему угодно — и к этой ситуации, и даже к этому городу, который теперь казался ей всего лишь одним из захолустных селений на какой-то старой карте.

— Ты устала, — сказал Харун.

Бинназ начала плакать. В ее слезах не было ярости и обиды. Это были слезы обреченности — ее поражение было равносильно утрате более масштабной веры. Воздух у нее в легких был тяжелее свинца. Она приехала в этот дом, когда сама еще была ребенком. Теперь же, родив собственное дитя, она не могла вырастить ее и вместе с ней наконец повзрослеть. Она обвила колени руками и еще очень долго молчала. Итак, тема была закрыта здесь и сейчас, хотя, говоря по правде, она всегда оставалась открытой, эта рана посреди их жизни, рана, которая никогда не затянется.

За окном, толкая вперед по улице свою тележку, какой-то торговец откашлялся и принялся нараспев нахваливать абрикосы, сочные и спелые. Сидя в доме, Бинназ подумала: как странно, сейчас не сезон для абрикосов, сейчас время ледяных ветров. Она поежилась, будто холод, которого не чувствовал торговец, просочился сквозь стены

и окутал ее. Она закрыла глаза, но темнота ей не помогала. Она видела снежки, они падали, складываясь в ужасающие пирамиды. И теперь они посыпались на нее, мокрые и жесткие, из-за того что в них были камни. Один снежок ударил ее по носу, за ним последовали другие — они летели быстро, и их было много. Еще один снежок угодил ей в губу и разбил ее. Ахнув, она открыла глаза. Это было на самом деле или это просто сон? Бинназ неуверенно дотронулась до носа. Из него текла кровь. И на подбородке у нее была кровь.

Как странно, снова подумала она.

Неужели никто больше не видит, какую ужасную боль она испытывает? А если не видит, означает ли это, что все происходит только у нее в голове, что все это просто выдумка?

Этот случай не был для нее первой встречей с душевной болезнью, однако навсегда остался самым ярким. Даже спустя многие годы каждый раз, когда Бинназ задумывалась о том, как и когда здравый ум ускользнул от нее, словно вор, убегающий во мрак через окно, в мыслях она возвращалась именно к этому моменту, который, как ей казалось, подорвал ее навсегда.

Тем же вечером Харун поднял малышку в воздух, повернул в сторону Мекки и произнес в ее

правое ушко *азан*, зов к молитве.

— Ты, моя дочь, ты по желанию Аллаха станешь первой из многих детей под этим кровом, ты, чьи глаза темны, словно ночь, я назову тебя Лэйла. Но не просто какая-то Лэйла. Еще я нареку тебя именами моей матери. Твоя *нинэ* была честной женщиной, она была очень верующей, какой, я уверен, однажды будешь ты. Я нареку тебя Афифа — «целомудренная, чистая». А еще я нареку тебя Камила — «совершенная». Ты будешь скромной, чистой, как вода… — Харун замолчал; его начала мучить мысль, что не всякая вода чиста, и тогда он добавил, несколько громче, чем хотел, просто чтобы на небесах ничего не перепутали и Бог понял его правильно: — Как родниковая вода — чистая, незагрязненная… Все матери Вана станут журить своих дочерей: «Почему ты не такая, как Лэйла?» И мужья будут говорить своим женам: «Почему ты не смогла родить такую же девочку, как Лэйла?»

Тем временем малышка пыталась запихнуть кулачок себе в рот и каждый раз, потерпев неудачу, морщила губки и корчила недовольную мину.

— Я буду очень гордиться тобой, — продолжал Харун. — Твоей верностью своей религии, верно-

стью своей нации, верностью своему отцу.

Раздражаясь на саму себя и в конце концов уразумев, что ее сжатая ручка просто-напросто слишком велика, малышка принялась рыдать так, словно решила наверстать упущенное время молчания. Ее тут же отдали Бинназ, которая, ничуть не усомнившись, принялась кормить ребенка — жгучая боль выписывала круги вокруг ее сосков, словно хищная птица в небесах.

Чуть позже, когда малышка заснула, Сюзан, поджидавшая в сторонке, подошла к кровати, стараясь двигаться беззвучно. Не поднимая глаз на вторую жену, она забрала младенца у матери.

— Я принесу ее снова, когда она заплачет, — нервно сглатывая, произнесла Сюзан. — Не волнуйся. Я хорошо о ней позабочусь.

Бинназ ничего не сказала в ответ, ее лицо было бледным и истертым, словно старая фарфоровая тарелка. Она не издавала никаких звуков, кроме дыхания, очень слабого, но все же ощутимого. Ее утроба, ее разум, этот дом… даже древнее озеро, где, как говорили, утопилось множество отвергнутых влюбленных, — все казалось пустым и высохшим. Все-все, кроме ее болезненной набухшей груди, из которой ручейками подтекало молоко.

Теперь, оставшись в комнате один на один с мужем, она ждала, что он заговорит. Бинназ хотелось услышать вовсе не извинение, а скорее признание того факта, что ей пришлось столкнуться с несправедливостью и невероятной болью, которую еще предстоит пережить. Но Харун тоже ничего не сказал.

Итак, малышку, рожденную в семье одного мужа и двух жен 6 января 1947 года в городе Ване, Жемчужине Востока, нарекли Лэйлой Афифой Камилой. Такими вот самонадеянными именами, высокопарными и однозначными. Как окажется позже, это было ошибкой. Ибо, несмотря на верное утверждение, что девочка носит в глазах ночь, как и полагается Лэйле, вскоре стало ясно, что дополнительные имена далеки от истины.

Она не была безупречна с самого начала, ее многочисленные недостатки бежали вместе с ней по жизни, словно подводные течения. В действительности девочка была ходячим воплощением недостатков, конечно с того момента, как научилась ходить. Что касается целомудрия, оно тоже не войдет у нее в привычку, как покажет время, однако в этом случае причина не в ней.

Ей предстояло стать Лэйлой Афифой Камилой, полной добродетели, кладезем достоинств. Одна-

ко спустя годы, когда она оказалась в Стамбуле, одинокая и обнищавшая, впервые увидела море и поразилась тому, как далеко тянется синева — до самого горизонта, заметила, что кудряшки в ее волосах распушаются на влажном воздухе, однажды утром проснулась в чужой постели с мужчиной, которого никогда раньше не видела, и ее грудь настолько отяжелела, что показалось, вдохнуть больше не удастся, она была продана в бордель, где ей приходилось ежедневно заниматься сексом с десятью или даже с пятнадцатью мужчинами в комнате, где на полу стояло зеленое пластиковое ведро для сбора воды, стекавшей с потолка после каждого дождя… Спустя долгое время после всего этого пятеро самых близких друзей, одна-единственная вечная любовь и большое количество клиентов будут называть ее Текилой Лейлой.

Если мужчины спрашивали, а они делали это довольно часто, почему она упорно пишет не «Лэйла», а «Лейла», не хочет ли она тем самым придать себе больше европейского колорита и загадочности, она лишь смеялась в ответ и поясняла: мол, однажды она пошла на базар и выменяла «э» («экзотику») на «е» («естественность»), вот и весь секрет.

В итоге газетчикам, которые освещали ее убийство, не было до этого никакого дела. Большинство даже не пытались называть ее по имени, полагая, что инициалов достаточно. В большинстве статей помещалась одна и та же фотография — какой-то старый кадр, где Лейлу было почти не узнать, он был сделан когда-то в средних классах школы. Разумеется, редакторы могли бы выбрать снимок посвежее, пусть даже фото из архивов полиции, однако они опасались, что обильный макияж Лейлы, а также очевидная ложбинка между грудями могут оскорбить чувства нации.

Вечером 29 ноября 1990 года ее смерть также освещалась национальным телевидением. Эта информация прошла после длинного репортажа о Совете Безопасности ООН, который санкционировал военное вторжение в Ирак, о печальных последствиях ухода в отставку «железной леди» в Британии, о растущем напряжении между Грецией и Турцией, возникшем в результате насилия в Западной Фракии и разграбления магазинов, принадлежащих этническим туркам, а также взаимного изгнания консулов — турецкого из Комотини и греческого из Стамбула, а еще о слиянии западногерманской и восточногерманской футбольных команд после объединения этих двух

стран, об отмене конституционного требования для замужних женщин получать разрешение мужа на работу вне дома, о запрете курения на рейсах «Турецких авиалиний», несмотря на горячий протест курильщиков по всему миру.

Ближе к концу программы по нижней части экрана прошла ярко-желтая бегущая строка: «Убитая проститутка была обнаружена в одном из мусорных контейнеров города — четвертая жертва за месяц. Среди стамбульских секс-работниц нарастает паника».

Две минуты

Спустя две минуты после того, как ее сердце перестало биться, мозг Лейлы припомнил два контрастных вкуса — лимон и сахар.

Июнь 1953 года. Она видела себя шестилетней девочкой с шевелюрой каштановых кудряшек, обрамлявших ее узкое бледное лицо. Пусть она испытывала зверский аппетит — особенно к фисташковой пахлаве, кунжутным козинакам и всему вкусненькому, — все равно тонка была как тростинка. Единственный ребенок. Одинокий ребенок. Неугомонная, подвижная и всегда немного рассеянная, она день за днем крутилась, словно шахматная фигурка, упавшая на пол, ей только и оставалось, что выстраивать какие-то сложные игры для себя самой.

Дом в Ване был настолько велик, что даже от шепота по нему прокатывалось эхо. На стенах, словно в пещере, танцевали тени. Длинный изгибистый лестничный колодец вел в гостиную и на площадку второго этажа. Вход украшала плитка, на которой было изображено множество сценок: павлины важно показывают свои хвосты, круги сыра и плетеные хлеба возле бокалов с вином,

блюда с надрезанными гранатами, напоминающими рубиновые улыбки, и поля с подсолнухами, жадно наклоняющими свои головы в сторону солнца, словно влюбленные, которые знают: к ним никогда не будут относиться так трепетно, как им хочется. Эти картинки восхищали Лейлу. Некоторые плитки потрескались и облупились, другие частично покрывала грубая гипсовая штукатурка, однако разглядеть на них можно было очень многое, да еще и в ярких тонах. Девочка подозревала, что все вместе плитки в сочных красках рассказывают некую древнюю историю, однако, как ни старайся, понять ее невозможно.

По всей длине коридоров в позолоченных нишах стояли масляные лампы, сальные свечи, керамические чаши и прочие декоративные безделушки. Полы целиком устилали ковры с кисточками — афганские, персидские, курдские и турецкие, всех оттенков и со всевозможными узорами. Лейла без дела слонялась из комнаты в комнату, прижимая безделушки к груди и ощупывая их поверхности, словно была слепа и полностью зависела от осязания — этот объект колючий, этот гладкий и так далее. В некоторых частях дома было чересчур много вещей, но, как ни странно, даже в них, как ей казалось, чего-то

не хватало. В главной гостиной били дедушкины часы с маятником, который болтался туда-сюда, их рокот казался чересчур громким, чересчур радостным. Часто Лейла замечала першение в горле, и ей становилось боязно, что она вдохнула давнюю пыль, хотя прекрасно знала, что каждая вещь в доме неукоснительно мылась, натиралась воском и полировалась. Домработница приходила ежедневно, а раз в неделю затевалась генеральная уборка. В начале и конце каждого сезона проводилась еще более тщательная уборка. А если что-то упускали, тетя Бинназ всегда замечала это и оттирала с содой, так как была крайне требовательна к тому, что называла «белее белого».

Мама объяснила ей, что раньше этот дом принадлежал армянскому врачу и его жене. У них было шесть дочерей, которые любили петь и обладали разными тембрами — от низкого до крайне высокого. Доктора очень любили в городе, и он порой позволял своим пациентам погостить в его доме. Твердо уверенный в том, что музыка способна излечить даже самые страшные раны человеческой души, он заставлял всех своих пациентов играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, пусть даже у них не было никаких

музыкальных способностей. Пока они играли, а некоторые делали это очень скверно, дочери врача пели в унисон, и дом качало, словно плот в открытом море. Все это было до начала Первой мировой войны. Вскоре после нее обитатели дома вдруг пропали, оставив все вещи. Некоторое время Лейла не понимала, куда они девались и почему с тех пор не возвращались. Что случилось с ними — с врачом и его семьей и со всеми инструментами, которые когда-то были деревьями, высокими и мощными?

И тогда дед Харуна, Махмуд, влиятельный курдский *ага*, поселился в этом доме вместе со своим семейством. Дом стал наградой от османского правительства за то, что новый хозяин сделал во время депортации армян. Решительно, твердо и без тени сомнения он следовал инструкциям из Стамбула. Если власти решали, что те или иные люди — предатели и их следует отправить в пустыню Дейр-эз-Зор, где лишь у немногих была надежда выжить, значит именно туда их и посылали, несмотря на то что они были добрыми соседями и старыми друзьями. Доказав таким образом свою преданность государству, Махмуд стал заметной личностью, местные восхищались идеальной симметрией его усов, блеском его

черных сапог и величественным голосом. Его уважали так, как с незапамятных времен уважали власть имущих — со страхом и без тени любви.

Махмуд распорядился, чтобы всё в этом доме оставалось как было, и некоторое время этот указ действовал. Однако ходили слухи, что армяне, которые не могли унести ценности с собой, где-то неподалеку припрятали горшки с монетами и сундуки с рубинами. И вскоре Махмуд и его домашние принялись за раскопки — в саду, во дворе, в погребах — ни пяди земли не осталось без внимания. Поскольку ничего найдено не было, они принялись ломать стены, даже не думая о том, что если и удастся найти клад, то принадлежать он будет совсем не им. Когда в конце концов они бросили эту затею, дом превратился в груду обломков и его нужно было основательно перестраивать. Лейла знала, что ее отец, своими глазами наблюдавший за всем этим безумием, по-прежнему верил, что где-то все-таки припрятан ларец с золотом и совсем близко таятся несметные богатства. Иной раз по ночам, закрывая глаза и уплывая в сон, она видела драгоценности, сверкающие вдали, точно светлячки над летней поляной.

Не то чтобы Лейла сильно интересовалась

деньгами в этом нежном возрасте. Куда важнее для нее было, что в кармане лежит шоколадная конфета с орехом или жвачка «Замбо», на обертке которой красовалась чернокожая женщина с огромными кольцами в ушах. Отец заказывал все эти вкусности в Стамбуле, и ей присылали их оттуда, издалека. Все новое и интересное происходит в Стамбуле, с завистью думала девочка, в городе чудес и редкостей. Однажды она непременно поедет туда, говорила себе Лейла. Но это обещание самой себе девочка хранила в тайне, словно устрица, скрывающая в своем сердце жемчужину.

Лейле нравилось устраивать куклам чаепития, наблюдать, как форель плещется в холодных речушках, и пристально-пристально вглядываться в узоры на коврах, пока они не «оживут». Однако больше всего Лейла любила танцевать. Она мечтала, что в один прекрасный день станет известной исполнительницей танца живота. Эта фантазия вызвала бы отвращение у ее отца, особенно если бы он знал, что она отчетливо представляла себе каждую деталь: переливающиеся пайетки, юбки из монеток, треск и лязганье напальчиковых тарелок, то, как она трясет и вращает бедрами под «тра-та-та» барабана-вазы

— *дарбуки*, как завораживает публику, как люди начинают аплодировать в такт, а она, вертясь и кружась, приближается к восхитительному финалу танца. От самой мысли об этом ее сердце начинало биться чаще. Однако *бабá* всегда говорил, что танцы — одна из множества уловок шайтана, проверенная временем тактика сбивать людей с пути истинного. Дурманящими ароматами и блестящими безделушками дьявол сначала соблазняет женщин, таких слабых и чувствительных, а затем, через женщин, заманивает в свою ловушку мужчин.

Как весьма востребованный портной, *бабá* делал модные наряды для дам в стиле *алла франга* — пышные платья, платья-футляры, юбки-солнце, блузы с воротником «Питер Пэн», топы с бретельками через шею, брюки капри. Его регулярными заказчицами были жены военных офицеров, чиновников, пограничников, железнодорожных инженеров и торговцев специями. Он также продавал большой ассортимент шляпок, перчаток и беретов — стильных и приятных на ощупь работ, которые ни за что бы не позволил надеть членам своей семьи.

Из-за того что отец был против танцев, мама тоже возражала, хотя, как заметила Лейла, она

могла изменить своим убеждениям, если никого рядом не было. Когда они оставались вдвоем, мама становилась совершенно иным человеком. Она позволяла Лейле расплетать, расчесывать и заплетать ее рыжие от хны волосы, толстым слоем намазывать исчезающий крем на ее морщинистое лицо, наносить вазелиновое масло, смешанное с угольным порошком, ей на ресницы, чтобы они стали чернее. С дочерью она была щедра на похвалу и объятия, делала яркие помпоны из целой радуги цветов, нанизывала каштаны на кусочки лески и играла в карты — все это она ни за что не стала бы делать в присутствии других. И особенно сдержанной была она при тете Бинназ.

— Если тетя увидит, как мы развлекаемся, ей станет не по себе, — говорила мама. — Не нужно целовать меня, когда она рядом.

— Но почему?

— Ну, у нее никогда не было детей. Мы же не хотим ее расстраивать.

— Ничего, мамочка. Я могу поцеловать вас обеих.

Мама затягивалась сигаретой.

— Не забывай, душа моя, тетя не в своем уме. Как и ее мать — так я слышала. У них это в роду. Сумасшествие передается по наследству. Говорят,

у них оно было в каждом поколении. Мы должны вести себя осторожно и не огорчать ее.

Когда тетя расстраивалась, она могла причинить вред самой себе. Она выдергивала пучки собственных волос, царапала себе лицо и щипала себя так, что текла кровь. Мама говорила, что в тот день, когда она родила Лейлу, тетя, которая ждала у двери, то ли от зависти, то ли еще по какой-то дурной причине ударила кулаком себе по лицу. Когда ее стали расспрашивать о мотивах, она заявила, что какой-то торговец абрикосами кидал в нее снежки через раскрытое окно. Абрикосы в январе! Полная бессмыслица. Все очень боялись за ее здравый ум. Эта история, как и многие другие, рассказывалась по нескольку раз и вызывала у ребенка одновременно интерес и ужас.

Но все же урон, который тетя наносила сама себе, не всегда казался намеренным. Во-первых, она была неуклюжей, словно малыш, делающий первые шаги. Обжигала пальцы о кастрюли, раскаленные докрасна, ударялась коленями о мебель, падала с кровати во сне, ранила руки о разбитое стекло. Все ее тело покрывали ужасные синяки, ожоги и красные шрамы.

Тетины эмоции болтались туда-сюда, словно

маятник на дедушкиных часах. В некоторые дни она была полна энергии и без устали занималась то одним делом, то другим. Выбивала ковры так, словно кому-то мстила, водила тряпкой по всем поверхностям, вытирая пыль, кипятила белье, которое выстирала за день до этого, часами скребла полы, распыляя по всему дому отвратительно пахнувший дезинфектор. Ее потрескавшиеся руки были в ссадинах и никогда не мягчели, даже несмотря на то, что она регулярно натирала их овечьим жиром. Конечно, они будут шершавыми, если их мыть, как делала тетя, по сто раз на дню — она была убеждена, что руки недостаточно чистые. Да и все остальное, в общем, тоже. Иной раз тетя казалась такой измотанной, что с трудом двигалась. Даже дышать ей было тяжело.

А еще случались дни, когда тетя казалась самой беззаботной на свете. Раскованная и веселая, она часами играла с Лейлой в саду. Вместе они подвешивали на ветви яблонь, усыпанных цветами, полоски ткани, которые называли балеринами, неторопливо и с удовольствием плели маленькие корзиночки из ивы или венки из ромашек, обвязывали ленты вокруг рогов барана, которого собирались принести в жертву на следующий Курбан-байрам. Один раз они тайно перерезали

веревку, что привязывала барана к сараю. Однако животное не пустилось бегом, как они планировали. Послонявшись туда-сюда в поисках свежей травы, баран вернулся на прежнее место, посчитав привычную неволю более надежной, чем странный зов свободы.

Тетя и Лейла любили превращать скатерти в платья и разглядывать женщин в журналах, повторяя их прямые позы и уверенные улыбки. Из всех моделей и актрис, которых они внимательно рассматривали, больше всех их восхищала Рита Хейворт. Ее ресницы напоминали стрелы, брови — луки, талия была тоньше чайного стакана, а кожа глаже шелковой пряжи. Эта женщина могла бы удовлетворить искания любого османского поэта, но здесь была допущена маленькая ошибка: она родилась не в то время, да и слишком далеко — в Америке.

Им, конечно, было интересно узнать о жизни Риты Хейворт, однако они только и могли, что смотреть на фотографии, потому что ни одна из них не умела читать. Лейле еще предстояло пойти в школу, а тетя так и не училась ни в одной. В деревеньке, где выросла тетя Бинназ, школы не было, а ее папа не позволял ей вместе с братьями ходить каждый день по раскатанной дороге до

города и обратно. У них не было обуви на всех, да и все равно ей нужно было следить за младшими братьями и сестрами.

В отличие от тети, мама была грамотна и очень этим гордилась. Она могла читать рецепты из поваренной книги, просматривать отрывной настенный календарь и даже читать заметки в газетах. Именно она сообщала им о событиях в мире: в Египте группа военных офицеров объявила государство республикой, в Америке казнили нескольких человек, обвиненных в шпионаже, в Восточной Германии тысячи людей вышли на марш протеста против политики правительства и были разбиты советскими оккупантами, а в Турции, в далеком Стамбуле, который казался совершенно иной страной, проводился конкурс красоты, и молодые женщины в купальниках ходили по подиуму. Религиозные группы вышли на улицы, объявляя передачу аморальной, однако организаторы не собирались сдаваться и продолжали конкурс. Нации становятся цивилизованными тремя основными путями — с помощью науки, образования и конкурсов красоты.

Стоило только Сюзан прочитать подобные новости вслух, Бинназ тут же отводила глаза. На

ее левом виске начинала пульсировать венка — безмолвный, но неизменный сигнал душевного смятения. Лейла сочувствовала тете, находя нечто очень понятное и даже успокоительное в ее ранимости. Однако она прекрасно понимала, что в этом смысле скоро не сможет оказывать тете поддержку. Она с нетерпением ждала поступления в школу.

Примерно три месяца назад на самой вершине лестницы, за шкафчиком из кедра, Лейла обнаружила расшатанную дверцу, ведущую на крышу. Видимо, кто-то оставил ее приоткрытой, приглашая в дом прохладный бодрящий бриз, который нес с собой аромат черемши, росшей чуть дальше по дороге.

Стоило только поглядеть на раскинувшийся внизу город и навострить слух, чтобы уловить крик орла-карлика, кружащего над огромным озером, что блестит вдалеке, или клекот фламинго, обыскивающих отмели на предмет еды, — и Лейла ощущала полную уверенность в том, что, если постараться, она тоже сможет летать. Можно ли и вправду отрастить крылья и заскользить легко и беззаботно по небесам? В округе жило множество цапель, белоголовых уток, черно-крылых ходулочников, алокрылых вьюрков,

тростниковых камышовок, белогорлых зимородков, султанок, которых местные так и называли «султанами». Аистиная пара завладела трубой и веточка за веточкой выстроила роскошное гнездо. Сейчас аисты улетели, но Лейла знала, что однажды они вернутся. Тетя говорила, что аисты не чета людям — они верны своим воспоминаниям. Раз уж выстроили где-то «дом», даже находясь за многие километры от него, все равно найдут дорогу и вернутся.

После каждого визита на крышу девочка на цыпочках спускалась вниз по лестнице, чтобы никто ее не увидел. Она не сомневалась: если мама поймает ее, быть беде.

Однако в тот июньский день 1953 года мама была слишком занята и не обращала на нее внимания. Дом был полон гостей, но только женщин. Это непременно случалось дважды в месяц — в день чтения Корана и в день удаления волос с ног. Если речь шла о первом, пожилой имам приходил в дом, чтобы произнести проповедь и прочитать отрывок из священной книги. В этом случае соседские женщины сидели тихо и с почтением слушали — их колени были прижаты друг к другу, головы покрыты и полны размышлений. Если слонявшиеся поблизости дети смели

лишь пикнуть, на них тут же шикали.

Когда приходил день удаления волос, все было ровно наоборот. Мужчин поблизости не было, так что женщины надевали самые откровенные наряды. Они разваливались на диване, раздвигали ноги, обнажали руки, и глаза их светились сдержанным озорством. Беспрестанно болтая друг с другом, они приправляли свои фразы ругательствами, заставлявшими самых юных среди них краснеть, словно дамасские розы. Лейла не могла поверить, что эти безумные создания — те же самые люди, что сосредоточенно слушали имама.

Сегодня снова был день удаления волос. Сидевшие на коврах, ножных скамейках и стульях женщины заполнили каждый сантиметр гостиной, в руках они держали блюда с выпечкой и чашки с чаем. С кухни доносился приторный запах — там на плите пузырился воск. Лимон, сахар и вода. Когда смесь была готова, женщины принимались за работу и делали ее проворно и серьезно — они морщились, отдирая от кожи липкие полоски. Однако сейчас справляться с болью было еще рано — они сплетничали и лакомились от души.

Наблюдая за женщинами из коридора, Лейла

тут же замерла, отыскивая в их движениях и общении некие намеки на собственное будущее. Тогда она была убеждена, что, когда вырастет, станет похожа на них. На ноге у нее будет висеть малыш, в руках лежать младенец, у нее будет муж, которого нужно слушаться, и дом, который придется содержать в порядке, — вот такой станет ее жизнь. Мама рассказывала ей, что, когда Лейла только родилась, повитуха закинула ее пуповину на крышу школы, чтобы девочка стала учительницей, однако *бабá* не слишком бы хотел для нее такой судьбы. Теперь уже не хотел. Некоторое время назад он познакомился с шейхом, который объяснил ему, что для женщины лучше оставаться дома, а если изредка и нужно выйти, она должна покрывать свое тело. Никто не хочет брать помидоры, которые щупали, сжимали или пачкали другие покупатели. Куда лучше, если все помидоры на рынке тщательно упакованы и их бережно хранят. То же и с женщинами, сказал шейх. Хиджаб — упаковка, доспехи, сберегающие от вызывающих взглядов и нежелательных прикосновений.

Поэтому мама и тетя начали покрывать голову — в отличие от других соседских женщин, которые изо всех сил старались следовать западной

моде: делали начесы, завивку или убирали в элегантный узел на затылке, как Одри Хепбёрн. Мама предпочитала носить на улицу черную чадру, тетя же выбирала яркие шифоновые платки, туго завязывая их под подбородком. Обе старательно покрывались, чтобы из-под платков не виднелось ни пряди волос. Лейла не сомневалась, что в очень скором времени последует их примеру. Мама сказала: когда этот момент придет, они вдвоем отправятся на базар и купят ей самый красивый хиджаб и подходящий к нему длинный халат.

— А под ним можно будет носить костюм для танца живота?

— Глупышка, — с улыбкой ответила мама.

В задумчивости Лейла на цыпочках прошла мимо гостиной и отправилась на кухню. С самого утра там вкалывала мама — пекла бурек, заваривала чай и готовила воск. Лейла, хоть убей, не понимала, зачем намазывать эту сласть на волосатые ноги, если ее можно съесть, как, например, сделала бы она сама.

Войдя на кухню, она с удивлением обнаружила там другого человека. У рабочей поверхности в полном одиночестве стояла тетя Бинназ, сомкнув пальцы на рукоятке длинного зубчатого ножа, от

лезвия которого отражался дневной солнечный свет. Лейла опасалась, что тетя порежется. А ей нужно было теперь соблюдать осторожность, поскольку она объявила, что снова ждет ребенка. Никто об этом не говорил, опасаясь *назара* — дурного глаза. Основываясь на прежнем опыте, Лейла предполагала, что в ближайшие месяцы тетина беременность станет более явной и окружающие ее взрослые будут делать вид, что растущий животик — результат чрезмерного аппетита или просто вздутие. Пока именно так и происходило каждый раз — чем больше полнела тетя, тем реже ее замечали. Словно она выцветала и блекла на глазах, как фотография, которую кто-то оставил на асфальте под злополучным солнцем.

Лейла сделала робкий шаг вперед и остановилась понаблюдать.

Тетя склонилась над чем-то похожим на пучок салата и, видимо, даже не замечала ее. Тетя пристально смотрела на газету, лежавшую на рабочей поверхности, и ее пронзительные глаза прямо-таки горели на фоне бледной кожи. Вздохнув, она схватила в руку зеленый салат и принялась ритмично шинковать его на разделочной доске, нож начал двигаться так быстро, что

превратился в расплывчатое пятно.

— Тетя?

Ее рука замерла.

— Мм?

— На что ты смотришь?

— На солдат. Я слышала, они возвращаются.

Она указала на фотографию в газете, и на миг обе они замерли, глядя на заголовок под иллюстрацией, пытаясь что-то разобрать в черных точках и завитках, которые выстроились в ряд, словно батальон пехотинцев.

— О, значит, твой брат скоро вернется домой.

У тети был брат, оказавшийся среди пяти тысяч пехотинцев, которых отправили в Корею. Они помогали американцам — поддерживали хороших корейцев в борьбе с плохими корейцами. Если иметь в виду, что турецкие солдаты не говорят ни по-английски, ни по-корейски, а американские солдаты тоже не имеют понятия ни о каком другом языке, кроме своего собственного, то как им вообще удается общаться, удивлялась девочка. Все эти люди с ружьями и пистолетами — как они понимают друг друга, если не могут общаться? Однако в тот момент задавать такой вопрос не стоило. Вместо этого Лейла расплылась в широкой улыбке.

— Наверное, ты очень рада?

— С чего бы это? — Тетино лицо помрачнело. — Кто знает, когда я смогу его увидеть — и смогу ли? Прошло так много времени. Родители, братья и сестры… я их давно не видела. У них нет денег на поездки. Да и я не смогу к ним съездить. А я так скучаю по родным.

Лейла понятия не имела, что ответить. Девочка всегда предполагала, что родными тети были как раз таки они. Будучи покладистым ребенком, Лейла решила, что лучше сменить тему.

— Ты готовишь для гостей?

Произнося эти слова, Лейла пристально рассматривала горку порубленного салата на разделочной доске. Среди обрывков зеленого она заметила то, что заставило ее ахнуть: розовые земляные черви, некоторые разрезаны на две части, а прочие все еще извиваются.

— Бе-е-е! Что это?

— Это малышам. Они их обожают.

— Малышам? — У Лейлы внутри все опустилось.

Все это время мама была права: тетя больна на голову. Глаза ребенка скользнули вниз, к полу. Она заметила, что на тете нет обуви, что ее пятки потрескались и загрубели, словно, чтобы до-

браться сюда, ей пришлось идти несколько миль. Лейла призадумалась: может, тетя бродит во сне — каждую ночь уходит в шуршащую тьму, а под утро торопится домой и ее дыхание клубами вырывается в прохладный воздух? Может быть, она прокрадывается через садовую калитку, взбирается вверх по водосточной трубе, перепрыгивает через перила балкона и проскальзывает в свою спальню — и все это время ее глаза закрыты? А вдруг однажды она возьмет и не найдет дорогу домой?

Если бы у тети была привычка бродить по улицам во сне, *бабá* знал бы об этом. Жаль, что Лейла не может у него спросить. Наверняка это одна из тем, которые нельзя затрагивать. Ребенка мучил вопрос: почему, если они с мамой спят в одной комнате, тетя с папой живут в другой, наверху? Когда она спрашивала, почему так, мама пояснила, что тетя боится оставаться одна, потому что во сне сражается со своими демонами.

— Ты хочешь съесть их? — спросила Лейла. — После них тебе будет плохо.

— Я? Нет! Это для малышей, я же сказала. — Взгляд, которым наградила ее Бинназ, был столь же неожиданным, сколь неожиданно приземление божьей коровки тебе на палец. И столь же неж-

ным. — Разве ты не видела их? Там, на крыше. Я думала, что ты постоянно ходишь туда.

Лейла с удивлением приподняла брови. Она даже и не подозревала, что тетя посещает ее тайное место. Но несмотря на это, беспокоиться не стала. В тете было нечто призрачное: она не обладала вещами, а просто проплывала сквозь них. Так или иначе, девочка была уверена, что на крыше нет никаких малышей.

— Ты мне не веришь? Считаешь меня сумасшедшей. Все считают меня сумасшедшей.

В голосе женщины было столько обиды, такая печаль заполонила ее глаза, что Лейла остолбенела. Устыдившись своих мыслей, она решила загладить вину:

— Это неправда. Я всегда верила тебе!

— Ты уверена? Верить кому-то — это очень серьезно. Если так, ты должна поддерживать этого человека, несмотря ни на что. Даже если другие говорят о нем плохое. Ты способна на такое?

Девочка кивнула, с удовольствием принимая вызов.

Тетя радостно улыбнулась:

— Тогда я расскажу тебе тайну, большую. Обещаешь никому не рассказывать?

— Обещаю! — тут же выпалила Лейла.

— Сюзан тебе не мать. — (Глаза у Лейлы округлились.) — Хочешь узнать, кто твоя настоящая мать? — (Молчание.) — Это я тебя родила. День был холодный, однако на улице один человек продавал сладкие абрикосы. Странно, да? Если узнают, что я рассказала тебе об этом, сразу отошлют меня назад в деревню, а может, запрут в сумасшедшем доме, и мы никогда больше не увидим друг друга. Понимаешь?

Девочка кивнула, лицо ее словно замерло.

— Хорошо. Значит, держи язык за зубами.

Тетя вернулась к работе, что-то напевая себе под нос. Пузырение в котле, болтовня женщин в гостиной, стук чайных ложек в бокалах… казалось, даже блеявший в саду баран стремился влиться в этот хор, выводя собственную мелодию.

— У меня идея, — вдруг произнесла тетя Бинназ. — Когда у нас тут в следующий раз будут гости, давай положим им в воск червей. Представь, как все эти женщины побегут прочь из дома — полуголые и с червями, приклеенными к ногам!

Тетя так сильно смеялась, что в глазах у нее стояли слезы. Ее качнуло назад, она споткнулась о корзину и перевернула ее, отчего лежавшие внутри картофелины покатились по полу влево

и вправо.

Сама того не желая, Лейла расплылась в улыбке. Она попыталась расслабиться. Наверняка все это шутка. А что же еще? Никто в их семье не воспринимал тетю всерьез, так почему она должна это делать? Высказывания тети имели не больше веса, чем вздохи бабочки или капли росы на прохладной траве.

Здесь и сейчас Лейла решила забыть о том, что слышала. Без сомнения, именно так и надо поступить. Однако зерно сомнения все же запало в ее сознание. Часть ее существа стремилась открыть правду, к которой она, в общем, пока не была готова, а может, никогда не будет. Лейла против собственной воли ощущала, что между ними с тетей осталось нечто недосказанное, словно путаное сообщение на далеких радиоволнах, вереница слов, которую хоть и доставили, но разобрать ее никто не в силах.

Спустя полчаса Лейла уже сидела на своем обычном месте на крыше, держа в руке ложку с небольшим количеством воска, ее ноги свисали с края крыши, словно пара крупных сережек. Несмотря на то что дождя не было вот уже несколько недель, камни казались скользкими, и двигаться приходилось аккуратно, ведь если упасть вниз,

можно сломать что-нибудь, а если и не сломаешь, мамина расправа неминуема.

Прикончив угощение, которым она была поглощена так же, как канатоходец своим выступлением, Лейла мелкими шажками устремилась к дальнему краю крыши, куда отваживалась ходить очень редко. Остановившись на полпути и уже собираясь повернуть назад, она вдруг услышала какой-то звук, тихий и приглушенный, словно удары крыльев мотыльков о стекло фонарика. Затем звук стал слышнее. Тысяча мотыльков. Заинтересовавшись, она пошла на звук. И там, за стопкой ящиков, внутри большой проволочной клетки сидели голуби. Много, много голубей. По обе стороны клетки стояли плошки со свежей водой и едой. Газеты, расстеленные внизу, были испачканы пометом, но в остальном голуби казались очень даже чистыми. Кто-то хорошо заботился о них.

Рассмеявшись, девочка захлопала в ладоши. В ней вдруг поднялась волна нежности, лаская ее горло, словно пузырьки любимого напитка под названием *газоз*. Ей хотелось оберегать тетю, несмотря на все ее слабости, а может, даже благодаря им. Однако вскоре это настроение сменилось замешательством. Если тетя Бинназ не обманула

с голубями, может, она и с другим не обманывает? А что, если она и вправду ее мама? У них ведь одинаковые прямые вздернутые носы, обе чихают, когда только просыпаются, словно страдают легкой аллергией на первые лучи дневного света. У них также есть общая странная привычка посвистывать, намазывая на тост джем или масло, и выплевывать виноградные косточки и кожицу помидора. Девочка попыталась припомнить, что еще у них есть общего, но мысли продолжали возвращаться к следующему: все эти годы она опасалась цыган, воровавших маленьких детей и превращавших их в пустоглазых попрошаек, но, возможно, следует куда больше опасаться того, что происходит в собственном доме. Возможно, именно домашние вырвали ее из маминых рук.

Впервые за все время Лейла сумела немного отступить и подумать о собственной семье как бы со стороны, однако от того, что она приметила, ей стало не по себе. Она всегда считала, что они нормальная семья, как и все прочие в этом мире. Теперь девочка начала сомневаться в этом. А вдруг они все же отличаются — в чем-то изначально не правы? Пока она еще не понимала, что детство заканчивается не переменами в организме и не пубертатом, а в тот момент, когда

человек способен увидеть собственную жизнь глазами постороннего.

Лейла всполошилась. Она любила маму и не хотела думать о ней плохо. Любила она и *бабá*, хотя и побаивалась порой. Она печально размышляла над ситуацией, пытаясь успокоиться, обхватив себя руками и то и дело втягивая полные легкие воздуха. Лейла и не знала даже, во что ей теперь верить, в каком направлении двигаться, она словно заблудилась в лесу: тропки впереди метались туда-сюда и множились на глазах. Кому в ее семье можно верить: папе, маме или тете? Лейла огляделась по сторонам, словно в поисках ответа. Вроде бы все было по-прежнему. И в то же время с этого момента по-прежнему уже не будет.

Привкус лимона и сахара таял у нее на языке, да и чувства все смешались и спутались. Спустя годы она станет думать об этом моменте как о мгновении, когда впервые поняла, что кажущееся не всегда соответствует действительности. Ведь может же кислое скрываться под сладким, и наоборот, в каждом здравом уме есть частичка безумия, а из глубины больной души поблескивает крупица здравого смысла.

До этого дня она старалась не показывать свою любовь к маме в присутствии тети. А теперь и

свою любовь к тете будет держать тайком от мамы. Лейла начала понимать, что нежные чувства всегда должны скрываться, что такое можно демонстрировать лишь при закрытых дверях, а после никогда не обсуждать. От взрослых она научилась только такой форме любви, и эта наука привела к печальным последствиям.

Три минуты

Прошло три минуты с того момента, как сердце Лейлы остановилось, и она припомнила кофе с кардамоном — крепкий, насыщенный и темный. Вкус, прочно связанный у нее с улицей борделей в Стамбуле. Довольно странно, что воспоминания о нем преследуют ее с самого детства. Впрочем, человеческая память напоминает ночного кутилу, который выпил лишнего: как ни старайся, она не может следовать по прямой. Ее болтает по беспорядочному лабиринту, и часто она движется головокружительными зигзагами, совершенно невосприимчивая к разуму и рискующая вовсе испариться.

И вот Лейла вспомнила сентябрь 1967 года. Тупиковая улочка у порта — до пристани в Каракёй рукой подать — поблизости от Золотого Рога, что раскинулся между рядами легальных борделей. Поблизости находилась армянская школа, греческая церковь, сефардская синагога, суфийская обитель, русская православная часовня — пережитки давно забытого прошлого. Когда-то этот район в прибрежной части города был процветающим, тут жили богатые левантские и еврейские

общины, затем он стал средоточием банковского и корабельного дела Османской империи, а теперь здесь произошли перемены иного рода. По ветру передавались приглушенные сообщения, и деньги переходили из рук в руки, как только их получали.

Район вокруг порта был настолько людным, что пешеходам приходилось передвигаться бочком, словно крабам. Молодые женщины в мини-юбках ходили под ручку, водители улюлюкали из окон автомобилей, подручные из кофеен носились туда-сюда с чайными подносами, уставленными маленькими чашечками, туристы сгибались под тяжестью рюкзаков и глазели по сторонам, словно только что проснулись, мальчики-чистильщики бряцали щетками по медным ящикам, украшенным фотографиями актрис — скромными спереди и обнаженными сзади. Торговцы очищали соленые огурцы, выжимали из них свежий сок, жарили нут и перекрикивали друг друга, а тем временем автомобилисты бибикали что есть мочи без всякой на то причины. Запахи табака, пота, духов, жареной еды, а порой и марихуаны, пусть и нелегальной, смешивались с соленым морским воздухом.

Переулочки и закоулочки напоминали бумаж-

ные реки. Социалисты, коммунисты и анархисты обклеивали своими плакатами все стены, зазывая пролетариев и крестьян присоединиться к предстоящей революции. Тут и там плакаты были разрезаны и размалеваны крайне правыми лозунгами и символами — воющим волком в полумесяце. Уличные дворники с видавшими виды швабрами и усталыми взглядами убирали мусор, их силы подрывались осознанием того, что стоит им повернуться спиной к этому месту, как на него снова обрушится дождь из листовок.

В нескольких минутах ходьбы от порта, неподалеку от круто спускавшегося с горки проспекта, тянулась улица борделей. Железная калитка, нуждавшаяся в свежем слое краски, отделяла это место от внешнего мира. Перед ней стояли несколько полицейских на посменных восьмичасовых дежурствах. Некоторые из них демонстративно ненавидели свою работу, презирая это место с дурной репутацией и всех тех, кто на него ступал, — и женщин, и мужчин. В их грубом поведении читался немой упрек, они внимательно и неуклонно наблюдали за толпившимися возле калитки мужчинами: те стремились попасть внутрь, но в очередь становиться не хотели. При этом были полицейские, которые воспринимали

эту работу как любую другую и день за днем просто делали то, что должны были, но встречались и такие, кто втайне завидовал клиентуре и мечтал поменяться с ними местами, пусть даже на несколько часов.

Бордель, в котором работала Лейла, был одним из самых старых в этом районе. У входа мигала одна-единственная флуоресцентная лампа. По мощности ее можно было сравнить с тысячей крохотных спичек, подхватывающих огонь и сгорающих одна за другой. В воздухе стоял запах дешевых духов, мебель была покрыта мощным известковым налетом, а потолки усыпаны липкими коричневыми пятнами никотина и смол от постоянно висевшего здесь табачного дыма. По всей длине фундаментных стен расползлись замысловатые кружева трещин, таких же тонких, как сосудики в покрасневшем глазу. Под свесами крыши, прямо под окном у Лейлы, прилепилось пустое осиное гнездо, круглое, бумагообразное и таинственное. Спрятанная вселенная. То и дело Лейла испытывала потребность дотронуться до гнезда, вскрыть его, обнажив идеальную архитектуру, однако каждый раз она говорила себе, что не имеет права ломать то, что природа хотела видеть в целости и сохранности.

Для Лейлы это был уже второй по счету бордель на одной и той же улице. Первый публичный дом оказался таким невыносимым, что еще до истечения первого года работы она сделала то, что не осмелился бы сделать никто до и даже после нее: она собрала свои немногочисленные вещички, надела единственное приличное пальто и ушла искать приют в соседнем борделе. Эта новость разделила сообщество на два лагеря. Некоторые говорили, что ее нужно немедленно вернуть на прежнее место, иначе все «дочурки» примутся поступать так же, нарушая неписаный кодекс профессии, а значит, весь бизнес полетит в тартарары. Другие считали, что, по совести, если человек впал в такое отчаяние, что стал искать убежища, значит ему нужно его предоставить. В конце концов хозяйка второго борделя, воодушевившись не столько отвагой Лейлы, сколько перспективой притока деньжат, которые придут вместе с ней, прониклась к девушке симпатией и приняла у себя как родную. Правда, перед этим хозяйке пришлось уплатить кругленькую сумму своей коллеге, принеся самые искренние извинения и пообещав, что больше такого не повторится.

Новая хозяйка обладала пышными формами,

решительной походкой и нарумяненными щеками, которые висели, словно куски растянутой телячьей кожи. Любого мужчину, входившего к ней в бордель, она стремилась назвать «мой паша», даже если этот клиент не был постоянным. Раз в несколько недель она посещала парикмахерскую под названием «Сеченые концы», где ее красили в разные блондинистые оттенки. Широко посаженные глаза навыкате придавали лицу хозяйки выражение постоянного удивления, хотя на самом деле удивлялась она редко. Паутинка лопнувших капилляров расходилась от самого кончика ее мощного носа, словно ручьи, спускавшиеся с вершины горы. Никто не знал ее настоящего имени. И проститутки, и клиенты в глаза называли ее Милая Ма, а за глаза — Гадкая Ма. Она была обычной хозяйкой борделя, однако всегда и все делала через край — много курила, часто сквернословила и кричала, да и просто ее было слишком много — прямо-таки максимальная доза.

— Нас основали давно, еще в девятнадцатом веке, — любила подчеркнуть Гадкая Ма с гордым переливом в голосе. — И не кто-то, а сам великий султан Абдул-Азиз.

Она даже держала портрет султана в рамке

над своим столом, пока в один прекрасный день клиент с ультранационалистическими наклонностями не устроил ей за это выволочку. Этот человек непрозрачно намекнул: мол, хватит молоть чепуху о наших благородных предках и славном прошлом.

— Зачем было бы султану, завоевателю трех континентов и пяти морей, давать позволение на открытие грязного притона в Стамбуле? — потребовал он ответа.

— Ну, я думаю, потому что… — стала заикаться Гадкая Ма, скручивая в руках носовой платок.

— Кому какое дело, что ты думаешь? Ты, что ли, историк или кто?!

Гадкая Ма приподняла свои свежевыщипанные брови.

— А может, вообще профессор! — усмехнулся мужчина.

Плечи Гадкой Ма поникли.

— Невежественная женщина не имеет права извращать историю, — уже без смеха произнес мужчина. — Давай-ка по порядку. В Османской империи не было легальных борделей. Если дамочки и хотели заниматься своим ремеслом втихую, это наверняка были христианки, или еврейки, или дикие цыганки. Потому что, поверь,

ни одна нормальная мусульманка не согласилась бы на такую безнравственность. Они скорее умерли бы с голоду, чем согласились бы торговать собой. До сегодняшнего дня, конечно. Современность — бесстыдные времена!

После этой лекции Гадкая Ма тихонько сняла портрет султана Абдул-Азиза и повесила вместо него натюрморт с желтыми нарциссами и цитрусовыми. Однако вторая картина оказалась меньше первой, а потому на стене остался след от рамы, в которую был вставлен портрет султана, — тонкий и бледный, словно карта, начерченная на песке.

Что же до клиента, когда он появился во второй раз, хозяйка борделя приняла его с распростертыми объятиями, поклонами и улыбками и предложила чудную цыпочку, которую ему чрезвычайно повезло не упустить.

— Она уходит от нас, мой паша. Завтра утром возвращается в свою деревню. Этой девушке удалось-таки покрыть свои долги. Что тут поделаешь? Говорит, она проведет всю оставшуюся жизнь в раскаянии. «Ты молодец, — сказала я ей. — Помолись тогда и за всех нас».

Это было ложью, причем весьма бесстыдной. Женщина, о которой шла речь, действительно

уходила, но по совершенно иной причине. В свой последний визит в клинику она сдала анализы на гонорею и сифилис — и оба оказались положительными. Работать ей запретили — она должна была находиться вне стен заведения, пока полностью не справится с инфекцией. Гадкая Ма не упомянула об этой небольшой детали, а просто взяла у мужчины деньги и положила их в ящик. Она не забыла, как грубо поступил с ней этот клиент. Никто не должен говорить с ней подобным образом, тем более при подчиненных. Ибо, в отличие от Стамбула, города умышленной амнезии, хозяйка запоминала любую обиду и мстила при первой же возможности.

Внутри борделя все краски были тусклыми: бездушный коричневый, затхлый желтый и невзрачный зеленый — цвет вчерашнего супа. Гадкая Ма включала огни — вереницу голых лампочек в оттенках индиго, малинового, сиреневого и рубинового — с того момента, когда вечерний *азан* начинал разноситься над свинцовыми сводами и перегибистыми крышами; вся округа принималась купаться в очень странном свете, словно свой поцелуй тут оставила слабоумная пикси.

Рядом с входом красовалась большая, напи-

санная от руки табличка — первое, что видел посетитель, переступая порог. Она гласила:

ГРАЖДАНИН!

Если вы желаете защитить себя от сифилиса и других болезней, распространяющихся половым путем, вам нужно сделать следующее:

1. Прежде чем отправиться в комнату с женщиной, попросите у нее карту здоровья. Проверьте, здорова ли она.

2. Используйте защиту. Она должна быть новая каждый раз. Защита у нас недорогая: спросите у хозяйки, и она предложит ее вам по справедливой цене.

3. Если вы подозреваете, что подхватили какую-то болезнь, не медлите — сразу отправляйтесь к врачу.

4. Болезни, передающиеся половым путем, можно предотвратить, если тщательно защищать себя и СВОЮ НАЦИЮ!

Рабочие часы длились с десяти утра до одиннадцати ночи. Дважды в день у Лейлы был перерыв на кофе — полчаса днем и пятнадцать минут вечером. Гадкая Ма не одобряла простои по вечерам, но Лейла не сдавалась, объясняя, что, не получая своей ежедневной дозы кофе с кардамоном, она страдает от ужасной мигрени.

Каждое утро после открытия дверей женщины занимали свои места на деревянных стульях и низких табуретах за стеклянными панелями у входа. Недавно попавших на работу в бордель от всех прочих отличала манера держаться. Новенькие часто сидели, положив руки на колени, и взгляд у них был отсутствующий, в никуда, словно у лунатика, который только что проснулся неизвестно где. Те, кто уже проработал некоторое время, передвигались из одного конца комнаты в другой, вычищали грязь из-под ногтей, чесали там, где чесалось, обмахивались чем-нибудь, рассматривали себя в зеркальце, плели друг другу косы. Не испытывая ни малейшего страха, они безразлично наблюдали за проходящими мимо мужчинами, которые сбивались группками, парами или двигались поодиночке.

Несколько женщин предложили вышивать или учиться вязать, чтобы скоротать долгие часы ожидания, но Гадкая Ма ни о чем таком и слушать не желала.

— Вязание! Что за дурацкая идея! Вы хотите напомнить этим мужчинам об их скучных женах? Или еще хуже — о матерях? Разумеется, нет. Мы предлагаем то, чего дома они не видели, а не то же самое.

Поскольку в этом тупичке бордель был одним из четырнадцати выстроившихся в линейку заведений, у клиентов имелся большой выбор. Они бродили туда-сюда, останавливались и с вожделением разглядывали, курили и размышляли, взвешивали свои возможности. Если им нужно было поразмышлять еще, они навещали уличных торговцев — выпивали по стаканчику рассольного сока или съедали *керхане татлысы*, выпечку, известную под названием «сладость публичного дома». По опыту Лейла уже знала: если мужчина не принял решение в течение первых трех минут, он его уже и не примет. Через три минуты его внимание переключится на кого-то еще.

Большинство проституток никогда не зазывали клиентов, считая, что вполне достаточно время от времени посылать воздушные поцелуи, подмигивать, демонстрировать глубокий вырез или снимать одну ногу с другой. Гадкая Ма не одобряла, если ее девушки слишком явно демонстрировали стремление заполучить клиента. Она говорила, что это понижает их ценность. Но и слишком холодными они быть не должны, чтобы не создавалось впечатление неуверенности в собственном качестве. Нужен был «изысканный и тонкий баланс». Сама Гадкая Ма вряд ли обла-

дала способностью к балансу, однако от своих подчиненных всегда требовала того, чего самой ей чрезвычайно не хватало.

Комната Лейлы находилась на втором этаже — первая справа. «Лучшее место в доме», — говорили все. Не из-за какой-то там роскоши и вида на Босфор, а потому, что в неприятной ситуации внизу было все слышно. Хуже всего были комнаты в другом конце коридора. Даже если орать во всю глотку, на помощь никто не прибежит.

Перед своей дверью Лейла положила коврик в форме полумесяца, о который мужчины вытирали ноги. Обставлена комната была скудно: ее бóльшую часть занимала двуспальная кровать, застеленная покрывалом с цветочным рисунком и с таким же оборчатым балдахином. Рядом стоял комод с запертым ящичком, где Лейла хранила письма и различные вещички, которые пусть и не были дорогими, но представляли для нее особую ценность. Занавески, ветхие и выцветшие на солнце, были цвета разрезанного арбуза, а те черные точки, что напоминали косточки, на самом деле были следами от сигарет. В одном углу находилась треснутая мойка и газовая плитка, на ней не слишком прочно стояла *джезва*, а рядом с плиткой — тапочки из синего бархата с

атласными розочками и мысками, отделанными бисером. Эти тапочки были самой красивой ее вещью. К противоположной стене жался платяной шкаф орехового дерева, который как следует не закрывался. Внутри, под висевшей на плечиках одеждой, лежали стопка журналов, коробка из-под печенья, наполненная презервативами, и пропахшее плесенью одеяло, давным-давно не употреблявшееся. На противоположной стене висело зеркало, под его раму были подсунуты открытки: Брижит Бардо, курящая тонкую сигарету, Ракель Уэлч в бикини с анималистическим принтом, «Битлз» и их белокурые подружки, сидящие на ковре вместе с индийским йогом, и пейзажи — какая-то река в центре большого города, сверкающая в лучах утреннего солнца, чуть присыпанная снежком площадь в стиле барокко, бульвар, украшенный ночными огнями. Лейла ни разу в жизни там не бывала, но очень хотела посетить однажды Берлин, Лондон, Париж, Амстердам, Рим, Токио…

Комната была удачной во многих смыслах и отражала статус Лейлы. Большинству девушек досталось еще меньше комфорта. Гадкая Ма любила Лейлу — отчасти за ее честность и трудолюбие, отчасти из-за того, что поразительно

напоминала сестру хозяйки, которую та оставила на Балканах несколько десятков лет назад.

Лейла попала на эту улицу, когда ей было семнадцать. В первый бордель ее продали мужчина и женщина, пара прохиндеев, хорошо известная полиции. Прошло всего три года, однако казалось, что она уже в другой жизни. Лейла никогда не вспоминала те дни, да и причину своего бегства из дома, а также то, как она приехала в Стамбул, не имея понятия, где остановиться, и всего с пятью лирами и двадцатью курушами. Память ее была своего рода кладбищем — там были похоронены отрезки ее жизни, они лежали в отдельных могилах, и у Лейлы не было ни малейшего желания оживлять их.

Первые месяцы на улице были невероятно мрачными, эти дни, словно веревка, тянули ее к отчаянию, и несколько раз она всерьез подумывала о самоубийстве. Быстрая и тихая смерть — почему бы и нет? Тогда ее нервировала каждая мелочь, каждый звук был для ее ушей словно раскат грома. Даже после переезда в немного более безопасный дом Гадкой Ма Лейла не была уверена, что сможет продолжать в том же духе. Вонь из туалетов, мышиный помет на кухне, тараканы в подвале, язвы во рту клиента, бородавки

на руках других проституток, пятна от еды на блузке хозяйки, мухи, носящиеся туда-сюда, — от всего этого у нее постоянно возникал зуд. Ночью, положив голову на подушку, она улавливала в воздухе слабый медянистый запах, который, как догадалась позднее, был запахом разлагающейся плоти. Лейла опасалась, что он задерживается у нее под ногтями, проникает ей в кровь. Она была уверена, что заразилась какой-то ужасной болезнью. Невидимые паразиты ползали по ней и внутри ее. В местном хамаме, который проститутки посещали раз в неделю, она мылась и терлась до красноты, а по возвращении кипятила постельное белье. Но толку не было. Паразиты возвращались снова и снова.

— Возможно, это «сихология», — предположила Гадкая Ма. — Я с таким уже сталкивалась. Слушай, у меня тут чисто. Если не нравится, возвращайся к прежней хозяйке. Но говорю тебе, это все у тебя в голове. Скажи, твоя мама тоже была помешана на гигиене?

От этих слов Лейла замерла. И перестала чесаться. О чем она совершенно не хотела вспоминать, так это о тете Бинназ и огромном одиноком доме в Ване.

Единственное окно в комнате Лейлы выходило

на маленький дворик с одинокой березой, позади которого стояло полуразрушенное здание; в доме не было ничего, кроме мебельной мастерской на первом этаже. В ней по тринадцать часов в день как проклятые вкалывали человек пятьдесят мужчин, вдыхая пыль, лак и другие химикаты. Половина были нелегальными иммигрантами. И страховки ни у кого из них не было. Большинство не достигло и двадцати пяти лет. На такой работе долго не протянешь. Испарения от смол разрушали их легкие.

За рабочими присматривал бородатый бригадир, который редко разговаривал и никогда не улыбался. По пятницам, когда он уходил в мечеть с *такке* на голове и четками в руке, рабочие открывали окна и высовывались в надежде приметить проституток. Увидеть им удавалось немного, так как занавески в борделе почти все время были задернуты. Но они не сдавались, стремясь хоть краем глаза ухватить изгиб бедра или обнаженную ляжку. Они усмехались, хвастаясь друг перед другом тем или иным соблазнительным наблюдением, пыль, покрывавшая их с ног до головы, наделяла их морщинами и серебрила волосы, отчего они не то чтобы выглядели стариками, но становились какими-то призраками,

застрявшими между двумя мирами. Женщины из дома напротив в основном оставались равнодушны, но порой кто-нибудь из них, то ли из любопытства, то ли от жалости, внезапно возникал у окна, опирался на подоконник так, чтобы видна была грудь, и тихо курил, пока сигарета не прогорала совсем.

Несколько рабочих были с хорошими голосами и с удовольствием пели, постоянно меняя солиста. В мире, который они не очень понимали и в котором не могли найти своего места, только музыкой можно было наслаждаться совершенно бесплатно. Так что пели они много и страстно. На курдском, турецком, арабском, фарси, пушту, грузинском, черкесском и белуджском они выводили серенады женщинам, чьи фигуры виднелись в окнах, чьи силуэты скрывались в тайне — скорее тени, чем тела.

Как-то раз, тронутая красотой одного из голосов, Лейла, всегда державшая занавески плотно задернутыми, раздвинула их и поглядела на мебельную мастерскую. Она увидела молодого человека, который, выводя самую грустную балладу, какую ей доводилось слышать, о сбежавших возлюбленных, что потерялись во время наводнения, пристально смотрел прямо на нее. У певца

были миндалевидные глаза цвета вороненого железа, выступающий и явно расщепленный подбородок. Лейлу особенно поразила нежность его взгляда. И в этом взгляде не было ни тени похоти. Он улыбнулся ей, обнажив ряд идеальных белых зубов, и она, сама того не желая, улыбнулась в ответ. Город не уставал удивлять ее — самые невинные моменты подкарауливали в невероятно мрачных местах, моменты настолько призрачные, что едва она успевала отметить их чистоту, как они уже пролетали мимо.

— Как тебя зовут? — спросил он, пытаясь перекричать ветер.

Она ответила.

— А тебя?

— Меня? У меня пока нет имени.

— Имя есть у всех.

— Что ж, верно… но свое я не люблю. Так что пока называй меня Хич — Ничто.

Когда в следующую пятницу Лейла снова выглянула в окно, молодого человека уже не было в мастерской. Не было его и спустя неделю. И она предположила, что он ушел навсегда, этот незнакомец, состоявший из головы и половины торса в обрамлении окна, словно картина из другого века или продукт чужого воображения.

Впрочем, Стамбул не уставал поражать Лейлу. Ровно через год она снова встретила незнакомца — совершенно случайно. Правда, на этот раз Ничто оказался женщиной.

К тому моменту Гадкая Ма начала отправлять ее к своим самым уважаемым клиентам. Хотя бордель был разрешен государством и все операции, производимые в нем, были легальными, то, что происходило за его стенами, под лицензию не подпадало, а потому не облагалось никакими налогами. Ввязываясь в такие дела, Гадкая Ма серьезно рисковала, но прибыль была значительной. Если бы ее поймали, ей грозило бы уголовное преследование и, возможно, тюремный срок. Однако она доверяла Лейле, зная, что, даже если ее схватят, она не расскажет полиции, на кого работает.

— Ты ведь молчунья, верно? Умничка!

Однажды полиция устроила рейд в нескольких десятках ночных клубов, баров и кафе по обе стороны Босфора, где разрешена продажа выпивки навынос, и арестовала множество несовершеннолетних, наркоманов и работников секс-индустрии. Лейла оказалась в камере вместе с высокой, хорошо сложенной женщиной, которая, представившись именем Налан, уселась в

углу и принялась рассеянно напевать себе под нос и выстукивать по стене какой-то ритм своими длинными ногтями.

Наверное, Лейла ни за что не узнала бы ее, если бы не эта знакомая песня — та самая баллада. Ей стало очень любопытно, и она принялась присматриваться к женщине — отметила ее яркие и добрые карие глаза, квадратный расщепленный подбородок.

— Ничто? — пораженно ахнув, спросила Лейла. — Ты помнишь меня?

Женщина склонила голову набок, и на мгновение выражение ее лица стало совершенно нечитаемым. Затем ее лицо озарила обворожительная улыбка, она подскочила, чуть было не ударившись головой о низкий потолок:

— Ты та девушка из борделя! Что ты здесь делаешь?

Той ночью в участке ни одна из них не смогла заснуть на матрасе с грязными пятнами — они говорили сначала во тьме, а потом в предрассветных сумерках, не давая друг другу скучать. Налан объяснила, что тогда, в момент их первой встречи, она лишь временно работала в мебельной мастерской, копила деньги на операцию по перемене пола, которая оказалась намного тяжелее

и дороже, чем она ожидала, а ее пластический хирург — полным козлом. Но она старалась не жаловаться или хотя бы жаловаться не так сильно, потому что — черт возьми! — она стремилась пройти через все это. Всю жизнь ей приходилось мучиться в теле, которое было столь же незнакомым, как слово из чужого языка. Она родилась в зажиточной семье фермеров и овцеводов в Центральной Анатолии, однако ей пришлось приехать в этот город, чтобы исправить ошибку, так беззастенчиво совершенную Всемогущим Богом.

Утром, несмотря на боль в спине от сидения ночь напролет и тяжесть в ногах — они теперь казались прямо-таки бревнами, — Лейла чувствовала себя так, словно с души свалился какой-то груз, — она совершенно забыла ощущение легкости, которое теперь наполняло все ее существо.

Как только их выпустили, женщины отправились в буречную — обеим срочно требовался чай. Одна чашка чая превратилась в целую вереницу. С тех пор они все время держали связь, регулярно встречаясь в этой буречной. Даже будучи порознь, они понимали, что им всегда есть о чем поговорить, поэтому начали переписываться. Налан часто отправляла Лейле открытки

с корявыми надписями, сделанными шариковой ручкой, со множеством орфографических ошибок, зато Лейла предпочитала бумагу для записей и перьевую ручку — ее почерк всегда оставался четким и аккуратным, как много лет назад ее научили в ванской школе.

Порой она откладывала ручку и вспоминала о тете Бинназ, о том, какой ужас та испытывала перед алфавитом. Несколько раз Лейла писала домой, но ни разу не получила ответа. Она задавалась вопросом, что они делают с ее письмами: держат в каком-нибудь ящике, подальше от любопытных глаз или сразу же рвут? Может, почтальон отсылает их назад? И если да, то куда? Наверняка есть какое-то место, некий загадочный адрес для писем, которые никто не ждет и даже не читает.

Налан жила в сырой квартире в цокольном этаже на Казанджи-Йокушу, неподалеку от площади Таксим, там были косые половицы, кривые оконные рамы и неровные стены. Квартира была обустроена до того странно, что, видимо, автором ее был какой-то обколотый архитектор. Жила она там с четырьмя другими женщинами-транссексуалками и двумя черепашками — Тутти и Фрутти, — различать которых удавалось только

ей самой. Во время сильного дождя каждый раз создавалось ощущение, что трубы лопнут, а туалеты затопит, но, к счастью, как отмечала Налан, Тутти и Фрутти прекрасно плавали.

Ничто вряд ли было подходящим прозвищем для такой напористой женщины, как Налан, а потому вместо этого Лейла решила звать ее Ностальгией — не из-за того, что Налан тосковала по прошлому, которое она так явно не любила, а потому, что в этом городе она страшно скучала по дому. Она скучала по природе и ее изобильным ароматам, мечтала заснуть прямо на улице под бескрайним небом. Там бы ей не пришлось все время оборачиваться и кого-то остерегаться.

Пылкая и смелая, беспощадная к врагам и верная близким — это Ностальгия Налан, самая бесстрашная подруга Лейлы.

Ностальгия Налан — первая из пяти.

История Налан

Когда-то — и это продолжалось довольно долго — Налан звался Османом, младшим сыном фермерской семьи из Анатолии. Дни его были полны пьянящим ароматом свежевспаханной земли и диких трав, а также тяжелым трудом: он пахал поля, растил цыплят, заботился о дойных коровах, помогал пчелам пережить зиму… Пчеле нужно работать всю свою короткую жизнь, чтобы сделать мед, который уместится на краешке чайной ложки. Осман часто задумывался, чтó ему удастся сделать за свою жизнь, — этот вопрос одновременно восхищал и пугал его до глубины души. За городом ночь наступает рано. Во тьме, как только его братья и сестры засыпали, Осман садился на кровати возле керосиновой лампы. Медленно сгибая кисти рук то так, то этак под мелодию, которую слышал лишь он один, мальчик заставлял тени плясать по противоположной стене. В историях, им придуманных, Осману всегда доставалась главная роль — персидской поэтессы, китайской принцессы или русской императрицы, герои разительно менялись, но неизменным было одно: в собственном сознании

он всегда был девочкой, а не мальчиком.

В школе все было совершенно иначе. В классе не оставалось места для сказок. Там царили правила и повторение. Осман с трудом писал некоторые слова, тяжело запоминал стихи и читал молитвы на арабском, ему приходилось нагонять других детей. Учитель, суровый и мрачный человек, шагавший туда-сюда с деревянной линейкой, которую пускал в ход, если кто-то из учеников плохо себя вел, раздражался на Османа.

Каждый семестр, когда разыгрывали патриотические пьесы, отличники дрались за роли героических турецких военных, всем же остальным приходилось быть греческой армией. Впрочем, Осман не возражал против роли греческого солдата, ведь нужно было всего-навсего быстро «погибнуть» и лежать себе на полу всю оставшуюся пьесу. Однако против ежедневных издевательств он возражал еще как. Началось все с того, что один парнишка увидел его босым и заметил накрашенные ногти на ногах. «Осман — тютя!» Стоит лишь раз заработать такой ярлык, и каждое утро будешь входить в класс, словно с мишенью на лбу.

Имея деньги и недвижимость, его родители могли бы послать своих детей в школу получше,

однако отец не доверял большим городам и тамошним жителям, а потому предпочитал, чтобы дети учились обрабатывать землю. Осман знал названия трав и растений так, как его ровесники в городах знали имена поп-исполнителей и звезд кино. Жизнь была предсказуемой и размеренной, надежной цепью причин и следствий: расположение духа зависело от количества заработанных денег, деньги зависели от урожая, урожаи зависели от сезона, а сезоны — от воли Аллаха, а уж Он ни от кого не зависел. Вырваться из этого круга Осману удалось, только когда он уехал на обязательную службу в армии. Там он научился чистить ружье, заряжать пистолет, рыть траншеи, бросать гранаты с крыши дома и очень надеялся, что эти умения больше ему не пригодятся. Каждую ночь в спальном помещении, которое он делил с сорока тремя другими солдатами, ему ужасно хотелось снова поиграть с тенями, однако там не было не только свободной стены, но и чарующей масляной лампы.

Вернувшись, Осман обнаружил, что его семья живет по-прежнему. Только вот он прежним уже не был. Он всегда знал, что в душе он женского рода, но — странное дело — армейские испытания сплющили его душу настолько, что он осмелел и

решил жить по-своему. По иронии судьбы, в этот самый момент его мама решила, что ему пора жениться и подарить ей внуков, коих у нее было уже множество. И, несмотря на возражения Османа, она принялась искать ему подходящую жену.

В ночь свадьбы, пока гости аплодировали в такт барабанам, а юная невеста в полурасстегнутом платье ждала его наверху, Осман просто-напросто улизнул. Над головой у него раздавались уханье филина и вопли авдотки — звуки, знакомые ему чуть ли не лучше звуков собственного дыхания. Он отшагал двенадцать миль до ближайшей станции и запрыгнул в первый же поезд до Стамбула; возвращаться он не планировал. Сначала он спал на улице и работал массажистом в хамаме с дурной репутацией и без всякой гигиены. Вскоре после этого начал мыть туалеты на вокзале Хайдарпаша. Именно на этой работе Осман по большей части сформировал свои взгляды в отношении собратьев. Никто не имеет права рассуждать о природе человечества, не проработав нескольких недель в общественном туалете и не увидев то, что люди делают лишь потому, что могут: ломают водяной шланг на стене, отрывают дверные ручки, рисуют повсюду разные гадости, мочатся на полотенца для рук,

разбрасывают по кабинкам грязь и всякую пакость. Все это они делают, прекрасно понимая, что кому-то придется это убирать.

Он не таким представлял себе этот город, и не с такими людьми ему хотелось бы делить все его улицы и переулки. Но только здесь, в Стамбуле, он мог открыто превратиться в человека, которым чувствовал себя внутри, так что он твердо решил удержаться.

Османа больше не было. Осталась лишь Налан, и уже ничего нельзя было вернуть.

Четыре минуты

Спустя четыре минуты после того, как ее сердце перестало биться, в сознании Лейлы всплыло мимолетное воспоминание, принесшее с собой запах и вкус арбуза.

Август 1953 года. Самое жаркое лето за несколько десятилетий, как говорила мама. Лейла размышляла о том, что такое десятилетие: долго ли это? Понимание времени ускользало, словно шелковые ленты сквозь пальцы. За месяц до этого завершилась корейская война, и брат тети невредимым вернулся в свою деревню. Теперь у тети были другие причины для волнения. В отличие от предыдущей, эта беременность, казалось, протекала нормально, если не считать, что ее тошнило и днем и ночью. Охваченная жуткими приступами рвоты, тетя с трудом удерживала пищу в своем желудке. Жара радости не прибавляла. *Баба́* предложил всем отправиться в отпуск. Куда-нибудь к Средиземному морю, на свежий воздух. Еще он пригласил своих брата и сестру вместе с их семействами.

Набившись в микроавтобус, они поехали в рыбацкий городок на юго-восточном побережье.

Всего набралось двенадцать человек. Дядя, сидевший рядом с водителем, рассказывал смешные истории из своей студенческой жизни, а по его лицу радостно мелькали солнечные блики; когда истории закончились, он принялся петь патриотические гимны, заставляя всех подпевать. Даже *баба́* присоединился к нему.

Дядя был подтянутым высоким человеком с очень короткими волосами и сине-серыми глазами, обрамленными длинными, загнутыми на концах ресницами. Он был красавцем — так говорили все. Этот комплимент дядя слышал всю свою жизнь, что отразилось на его поведении. В нем была легкость, которой явно недоставало другим членам семьи.

— Смотрите же, великое семейство Акарсу пустилось в путь! Из нас получилась бы футбольная команда, — говорил дядя.

Лейла, сидевшая вместе с мамой на заднем сиденье, воскликнула:

— В команде одиннадцать человек, а не двенадцать!

— Разве? — удивился дядя, поглядев на нее через плечо. — Тогда мы будем игроками, а ты менеджером. Командуй нами, заставляй нас выполнять твои желания. Мы к вашим услугам,

мадам.

Лейла просияла, радуясь возможности немножко побыть боссом. На протяжении всей поездки дядя с радостью подыгрывал ей. На каждой остановке он открывал ей дверцу, приносил питье, печенье, а после вечернего дождя перенес ее через лужу на дороге, чтобы она не намочила и не испачкала ноги.

— Она футбольный менеджер или царица Савская? — спросил *бабá*, наблюдая за ними со стороны.

— Она менеджер футбольной команды и царица моего сердца, — ответил дядя.

И все улыбнулись.

Ехали они долго и медленно. Водитель курил самокрутку, и его обволакивал тонкий дымок, выводя нечитаемые прописные сообщения у него над головой. На улице шпарило солнце. В автобусе воздух казался спертым и затхлым. Лейла подложила руки себе под ляжки, чтобы раскаленный винил не прожег ей ноги, но спустя некоторое время устала и убрала руки. Она жалела, что вместо коротких шортиков не надела длинное платье или просторные шаровары. К счастью, она не забыла соломенную шляпку с ярко-красными вишенками на боку, они выглядели

чрезвычайно аппетитно.

— Давай поменяемся шляпами, — предложил дядя.

На нем была узкополая белая шляпа с продольной вмятиной, которая очень шла ему, хотя носить ее было не так удобно.

— Да, давай!

Когда спустилась тьма, Лейла в своей новой шляпе через окно вглядывалась в размытое пятно шоссе, в огни проезжавших мимо машин, напоминавшие серебристые вязковатые следы, которые оставляют в саду улитки. За пределами шоссе светились фонари маленьких городков, скоплений домиков тут и там, силуэты мечетей и минаретов. Она раздумывала о том, какие семьи населяют эти домики и какие дети, если они не спят, могут смотреть на их автобусик и думать о том, куда они едут. К тому моменту, когда они достигли места назначения, очень поздним вечером, она заснула, прижимая к груди дядину шляпу, ее маленькое бледное отражение в окне машины проплывало мимо зданий.

Увидев, где они будут жить, Лейла удивилась и слегка расстроилась. Все окна были закрыты старыми сломанными москитными сетками, пятна плесени поднимались вверх по стенам, крапива

и сорные травы проросли между камнями на садовых дорожках. Однако, к ее радости, во дворе стояла деревянная ванна, в которую можно было накачать воды. Чуть подальше, в поле, возвышалось тутовое дерево. Когда с гор слетал, кружась, ветерок и ударялся о дерево, с него, словно дождь, срывались тутовые ягоды, оставляя пятна на руках и одежде. Дом не был удобным, зато был совсем иным — это было приключение.

Ее старшие кузены и кузины, подростки разной степени мрачности, объявили, что Лейла, мол, слишком мала, чтобы жить с ними. Да и с мамой она поселиться не могла — ей дали такую маленькую комнату, что там с трудом помещались ее чемоданы. И пришлось Лейле спать с малышами, некоторые из них писались в кровать, кричали или смеялись по ночам — в зависимости от содержания снов.

Как-то поздно ночью Лейла лежала без сна с открытыми глазами и совершенно неподвижно, вслушиваясь в каждый скрип, всматриваясь в каждую пролетевшую тень. Судя по гудению комаров, они наверняка просочились сквозь дырки в сетке. Комары сгрудились у нее над головой и зудели прямо в ушах. Они ждали, пока тьма не сгустится, и пробрались в комнату одновременно

— комары и дядя.

— Ты спишь? — спросил он, когда впервые вошел и уселся на край ее кровати.

Он говорил тихо, чуть громче, чем обычно шепчут, стараясь не разбудить малышей.

— Да… нет, не совсем.

— Жарко, правда? Я тоже не могу заснуть.

Лейле показалось странным, что он не пошел на кухню, где мог бы выпить стакан холодной воды. В холодильнике стояла миска с нарезанным арбузом, им можно было бы прекрасно перекусить среди ночи. И освежиться. Лейла знала, что некоторые арбузы вырастают такими огромными, что, если положить в них младенца, там все равно еще останется место. Но этой информацией она предпочла не делиться.

Дядя кивнул, словно прочитал ее мысли.

— Я ненадолго, всего на минутку, если ваше высочество позволит, конечно.

Лейла попыталась улыбнуться, но ничего не получилось.

— Э-э-э… хорошо.

Он быстро откинул простыню и лег рядом с ней. Она услышала, как бьется его сердце — громко и часто.

— Ты пришел проведать Толгу? — спросила

Лейла после минуты неловкого молчания.

Толгой звали младшего сына дяди — он спал в кроватке возле окна.

— Я хотел проверить, все ли у всех хорошо. Только давай не будем говорить. Не нужно их будить.

Лейла кивнула. Правильно.

Из живота дяди раздалось урчание. Он смущенно улыбнулся:

— Ох, видимо, я слишком много съел.

— Я тоже, — ответила Лейла, хотя ела она мало.

— Неужели? Можно я пощупаю, какой у тебя животик? — Он приподнял ее ночную рубашку. — Можно я положу руку сюда?

Лейла ничего не ответила.

Он стал рисовать круги вокруг ее пупка.

— Мм… Ты боишься щекотки?

Лейла покачала головой. Большинству людей щекотно, когда дотрагиваются до их ступней или подмышек. Ей было щекотно, когда прикасались к ее шее, но этого она ему не скажет. Ей казалось, стоит только сообщить людям о своем слабом месте, они непременно дотронутся до него. Она молчала.

Поначалу круги были маленькие и едва за-

метные, но потом они стали расти, достигая интимных мест. Лейла смущенно отстранилась. Дядя придвинулся чуть ближе. От него пахло тем, что ей не нравилось, — жевательным табаком, алкоголем и жареным баклажаном.

— Ты всегда была моей любимицей, — сказал он. — Уверен, что ты знаешь об этом.

Его любимицей? Он сделал ее менеджером футбольной команды — и что? Заметив ее смущение, дядя другой рукой погладил ее по щеке.

— Хочешь знать, почему я люблю тебя больше всех?

Лейла ждала — ей было интересно услышать ответ.

— Потому что ты не такая эгоистка, как другие. Умная, милая девочка. Никогда не меняйся. Пообещай мне, что не изменишься.

Лейла кивнула, представляя, какое раздражение этот комплимент вызвал бы у ее старших кузенов и кузин. Жаль, что их тут нет.

— Ты доверяешь мне?

В темноте его глаза казались прозрачными топазами.

И вот она снова кивнула. Спустя многие годы Лейла станет ненавидеть этот свой жест — безоговорочное послушание возрасту и авторитету.

— Когда ты станешь старше, я буду защищать тебя от мальчиков, — продолжал дядя. — Ты даже не представляешь, какие они. Я не позволю им к тебе приближаться.

Он поцеловал ее в лоб, как это бывало каждый Курбан-байрам, когда они всей семьей приезжали в гости и дядя дарил ей леденцы и карманные деньги. Он поцеловал ее точно так же. А потом ушел. Так было в ту первую ночь.

На следующий вечер он не пришел, и Лейла уже готова была забыть всю эту историю. Однако на третью ночь он вернулся. На этот раз он улыбался куда шире. В воздухе повис аромат каких-то специй. Неужели он намазался средством после бритья? Увидев, что он идет, Лейла тут же закрыла глаза, прикидываясь спящей.

Дядя тихо приподнял простыню и устроился рядом. Он снова положил руку ей на живот, и на этот раз круги были больше и настойчивее. Он искал и требовал того, что, как он считал, уже принадлежит ему.

— Вчера я не смог прийти, твоя *йенге* плохо себя чувствовала, — сообщил он, словно извиняясь за пропущенное свидание.

Лейла слышала, как чуть дальше по коридору храпела мама. Тете и *бабá* отвели просторную

комнату на втором этаже, неподалеку от ванной. Лейла слышала разговоры, что тетя продолжает то и дело просыпаться по ночам и что лучше, если она будет спать отдельно. Значит ли это, что она больше не сражается со своими демонами? А возможно, это означает, что демоны в итоге выиграли войну.

— Толга писается в кровать, — открыв глаза, ляпнула Лейла.

Она и сама не знала, зачем сказала это. Она никогда не видела, что мальчик делает такое.

Если дядя и удивился, то не показал этого.

— Знаю, дорогая. Я позабочусь об этом, не стоит волноваться.

Его дыхание согревало ей шею. У него отросла щетина, которая колола ей кожу. Лейла вспомнила наждачную бумагу, которую *баба́* использовал для полировки люльки малыша, который вот-вот должен был родиться.

— Дядя…

— Тсс! Нам нельзя разбудить остальных.

Нам. Они, значит, команда.

— Держи, — сказал он и прижал ее руку к передней части своих шортов, где-то между ног; Лейла поморщилась и отняла руку. Схватив ее за запястье, он снова притянул ее руку вниз и сказал

раздраженно и зло: — Я сказал, держи!

Ладонью Лейла ощущала отвердение. Он извивался, стонал и сжимал зубы. Он двигался вперед-назад, его дыхание участилось. Лейла лежала неподвижно, ни жива ни мертва. Она даже уже не касалась его, но, видимо, он этого не замечал. Он простонал последний раз и перестал двигаться. Дышал он тяжело. В воздухе повис какой-то резкий запах, и простыня была влажной.

— Смотри, что ты сделала со мной, — сказал он, когда снова обрел дар речи.

Лейла была смущена и обескуражена. Инстинктивно она ощущала, что все это неправильно и не должно было случиться. Она во всем виновата.

— Ты дурная девчонка, — сказал дядя; он казался серьезным, почти грустным. — Ты казалась такой милой и невинной, но это ведь просто маска. Глубоко внутри ты такая же гадкая, как и все остальные. Невоспитанная. Как же ты меня провела!

Лейлу пронзило чувство вины, такое сильное, что она не могла пошевельнуться. В глазах стояли слезы. Она старалась не заплакать, но не смогла. Она зарыдала.

Некоторое время дядя смотрел на нее.

— Ладно, хорошо. Я не могу смотреть, как ты

плачешь.

Почти сразу же Лейла стала плакать тише, хотя чувствовала она себя вовсе не лучше, скорее хуже.

— Я по-прежнему люблю тебя. — Он прижался губами к ее рту.

Никто еще не целовал ее в губы. Все ее тело словно бы онемело.

— Не волнуйся, я никому не скажу, — шепнул он, принимая ее молчание за согласие. — Но ты должна доказать свою благонадежность.

Какое же длинное слово! *Благонадежность.* Лейла понятия не имела, что это значит.

— Это означает, что ты не должна никому ничего рассказывать, — проговорил дядя, опережая ее мысли. — Это означает, что это наша тайна. Об этом должны знать только два человека — ты и я. Третьего быть не должно. А теперь скажи: ты умеешь хранить секреты?

Разумеется, она умела. Она и без того хранила в своем сердце слишком много тайн, эта — очередная.

Спустя время, становясь старше, Лейла снова и снова задавалась вопросом, почему он выбрал именно ее. У них была большая семья. Были и другие девочки. Самой красивой она не была. Да и

самой умной тоже. Она продолжала размышлять об этом, пока однажды не поняла, насколько ужасен этот вопрос. Задаваясь вопросом: «Почему я?», она словно спрашивала: «Почему не кто-то другой?», а за этот вопрос она сама себя ненавидела.

Загородный дом со ставнями, зелеными ото мха, и невысокой деревянной оградой, которая заканчивалась там, где начинался галечный пляж. Женщины готовили еду, мели полы, мыли посуду, мужчины играли в карты, триктрак, домино, а дети бегали поблизости и кидались друг в друга репейником, который приставал ко всему, к чему они прикасались. Землю усеивали раздавленные тутовые ягоды, а на обивке мебели виднелись пятна от арбуза.

Загородный дом у моря.

Лейле было шесть лет, а ее дяде — сорок три.

В тот же день, когда они вернулись в Ван, Лейла слегла с лихорадкой. Во рту у нее появился металлический привкус, болезненный узел залег глубоко в животе. У нее была такая высокая температура, что Бинназ и Сюзан подхватили ее на руки и отнесли в ванную, где опустили в холодную воду, но это не помогло. Ее держали в лежачем положении с пропитанным уксусом полотенцем на лбу, на груди у нее был горячий

луковый компресс, на спине — листы вареной капусты, а на животе — ломтики картошки. Каждые несколько минут в ее ступни втирали яичные белки. Весь дом провонял так, словно это был рыбный базар под конец дня. Но ничего не помогало. Девочка бормотала что-то бессвязное, скрежетала зубами, вспышки света плясали перед ее глазами, она то приходила в сознание, то снова теряла его.

Харун хотел позвать местного цирюльника — человека, который, помимо своих основных обязанностей, также производил обрезание, вырывал зубы и делал клизмы, но оказалось, что он уехал по срочному делу. Пришлось Харуну вызвать Даму Фармацевта, для него это было тяжелое решение, так как не только он не любил ее, но и она его недолюбливала.

Никто точно не знал ее настоящего имени. Для всех она была Дама Фармацевт, женщина странная во всех смыслах, но не лишенная авторитета. Полная вдова с ясными глазами, носившая пучок, такой же тугой и натянутый, как ее улыбка, одевалась она в сшитые на заказ костюмы и дерзкие шляпки и говорила с уверенностью человека, к которому всегда прислушиваются. Она пропагандировала светское образование и все со-

временное, пришедшее с Запада. Непоколебимый враг полигамии, она не прятала свою неприязнь к человеку, имеющему две жены, ее коробило от одной мысли об этом. В ее глазах Харун и все его семейство с их суевериями и упорным отказом принять новые научные открытия были полной противоположностью будущему этой раздираемой противоречиями страны — будущему, на которое она искренне надеялась.

Но тем не менее Дама Фармацевт пришла на помощь. Она явилась со своим сыном Синаном. Мальчик был примерно того же возраста, что и Лейла. Единственный ребенок, воспитанный одинокой работающей матерью, — настоящая дикость. Люди из города часто сплетничали о них, порой с презрением, порой с насмешкой, но делали это осторожно. Несмотря на все эти шепоты, к Даме Фармацевту все равно относились с большим уважением и в самые трудные моменты обращались за помощью. В итоге мать и сын жили на задворках общества, их терпели, но по-настоящему не принимали.

— Как долго это продолжается? — прибыв на место, спросила Дама Фармацевт.

— С прошлой ночи… Мы сделали все, что только могли, — ответила Сюзан.

Стоявшая рядом с ней Бинназ кивнула.

— Да, я вижу, что вы сделали, — весь этот лук и картошка, — усмехнулась Дама Фармацевт.

Вздохнув, она открыла черную кожаную сумку, похожую на ту, что местный цирюльник носил на праздники обрезания мальчиков. Она вынула несколько серебристых ящичков, шприц, стеклянные пузырьки и мерные ложки.

А тем временем, прячась за мамину юбку, мальчик изгибал шею и смотрел на дрожащую и потеющую девочку на кровати.

— Мама, она умрет?

— Тсс… не говори глупостей. Она поправится, — ответила Дама Фармацевт.

И только теперь, склонив голову набок и пытаясь разобрать звуки, Лейла посмотрела на женщину и увидела иглу, которую та устремила вверх; капелька на кончике сияла, словно обломанный бриллиант. Девочка начала плакать.

— Не волнуйся, я не причиню тебе вреда, — принялась успокаивать Дама Фармацевт.

Лейла очень хотела что-то ответить, но сил у нее не хватило. Ее веки задрожали, а сознание вновь ускользнуло.

— Хорошо, можно попросить кого-то из вас помочь мне? Нужно повернуть ее на бок, — сказала

Дама Фармацевт.

Помочь тут же вызвалась Бинназ. Сюзан тоже стремилась быть полезной, а потому принялась искать нужное занятие и стала переливать уксус в плошку, стоявшую на тумбочке у кровати. В воздухе разлился резкий запах.

— Уходи, — обратилась Лейла к силуэту возле ее кровати. — Уходи, дядя.

— Что она говорит? — удивленно нахмурилась Сюзан.

Дама Фармацевт покачала головой:

— Ничего, у бедняжки галлюцинации. После укола ей станет лучше.

Рыдания Лейлы усилились — теперь это были глубокие резкие звуки.

— Мама, подожди, — сказал мальчик, чье лицо исказилось от тревоги.

Он подошел к кровати, низко наклонился к Лейле и тихо прошептал ей на ухо:

— Когда тебе делают укол, нужно обнять кого-то. У меня дома есть плюшевая сова и обезьянка, но сову я люблю больше.

Пока он говорил, рыдания Лейлы слились в длинный медленный вздох, и она умолкла.

— Если у тебя нет игрушки, можешь сжать мою руку. Я не против.

Он ласково взял девочку за руку — расслабленную и почти безжизненную. Но к его удивлению, стоило только иголке проткнуть ее кожу, Лейла сцепила пальцы на его руке и долго не отпускала.

После этого Лейла сразу же заснула. Забылась тяжелым мутным сном. Она очутилась в соляном болоте и вброд пробиралась по зарослям камыша, позади которых раскинулся огромный океан, и волны, грубые и переменчивые, разбивались одна о другую. Она видела, как откуда-то издалека дядя кричит ей из рыбацкой лодки, с легкостью гребет в ее сторону и, несмотря на непогоду, довольно быстро приближается. Она с тревогой пытается повернуть назад, но с трудом двигается в липкой грязи. Именно в этот момент она ощутила чью-то успокоительную близость — сына Дамы Фармацевта. Видимо, он стоял тут все это время со спортивной сумкой в руке.

— Вот, возьми, — сказал он и вынул из сумки шоколадный батончик, обернутый тонкой блестящей фольгой.

Приняв угощение, Лейла начала расслабляться, пусть даже все еще чувствовала себя неловко.

Когда температура упала и девочка наконец-то смогла поесть немного йогуртового супа, она

тут же начала расспрашивать о мальчике, не представляя даже, что встретятся они довольно скоро и что этот молчаливый и умный, немножко неловкий, добродушный и до боли робкий мальчик станет ее первым в жизни настоящим другом.

Синан, ее укрытие и приют, свидетель всех ее перипетий, того, к чему она стремилась и чего в итоге так и не достигла.

Синан — один из пяти.

История Синана

Их дом находился над аптекой. Крохотная квартирка, окна которой с одной стороны выходили на пастбище с довольным и безропотным скотом, а с другой — на старое запустелое кладбище. По утрам его комнату заливал солнечный свет, зато после вечерней зари она погружалась во мрак — так было, когда Синан возвращался из школы. Каждый день он открывал дверь ключом, висевшим у него на шее, и ждал, пока мама не придет с работы. На кухонном рабочем столике всегда стояла готовая еда — легкие перекусы, ведь маме не хватало времени ни на что более основательное. Еще она укладывала небольшие закуски в его школьный портфель — сыр, хлеб и очень часто яйца, несмотря на протесты сына. Мальчишки из класса посмеивались над его коробочками с обедом и жаловались на неприятный запах. Они дразнили его Яичным Пирогом. Сами они приносили как следует приготовленные домашние блюда — *сарму* из виноградных листьев, фаршированные перцы, *буреки* с мясом… Их мамы были домохозяйками. У всех мамы были домохозяйками, как казалось Синану. У всех, кроме него.

Другие дети были из больших семей и постоянно говорили о двоюродных братьях и сестрах, тетях, родных братьях и сестрах, бабушках и дедушках, а в его квартирке обитали только он и мама. Только они с мамой — с тех пор, как его папа скончался прошлой весной. Внезапный сердечный приступ. Мама по-прежнему спала в той же комнате — их с папой спальне. Однажды Синан видел, как одной рукой она гладит постельное белье на другой половине кровати, словно пытаясь нащупать тело, к которому льнула раньше, а другой рукой касается своей шеи и груди, ведомая жаждой и тоской, о которых Синан не имел ни малейшего понятия. Лицо матери было сморщено, и мальчик не сразу понял, что она плачет. Его нутро обожгло болью — он дрожал от беспомощности. Так он впервые увидел ее слезы.

Папа был солдатом, служил в турецкой армии. Он верил в прогресс, разум, сближение с Западом и просвещение — значение всех этих слов было малопонятно мальчику, однако вполне привычно, поскольку он много раз их слышал. Папа всегда говорил, что его страна однажды станет цивилизованной и просвещенной — на одном уровне с европейскими народами. «Нельзя изменить географию, — говаривал он. — Но

можно перехитрить судьбу». Пусть большинство жителей этого восточного городка были невежественны, придавлены религией и жесткими условностями, правильное образование способно спасти их от печати прошлого. Папа верил в это. Верила и мама. И вместе они — идеальная пара из новой республики — вкалывали в надежде построить светлое будущее. Солдат и фармацевт — оба волевые и мужественные. А он — их отпрыск, единственный ребенок, наделенный их лучшими качествами, их прогрессивным духом. Впрочем, Синан опасался, что не очень-то похож на родителей как по характеру, так и внешне.

Папа был высоким и подтянутым, с гладкими, словно стекло, волосами. Сколько раз, стоя перед зеркалом с расческой и лосьоном для ухода за волосами, мальчик пытался повторить его прическу. Он пробовал оливковое масло, лимонный сок, крем для обуви, а однажды даже кусочек сливочного масла, что закончилось полным безобразием. Ничего не помогало. Кто же поверит, что он, с его полнотой и неуклюжестью, — сын солдата с идеальной улыбкой и безупречной осанкой? Пусть папы уже нет, однако он присутствовал во всем. Мальчик считал: если бы его самого не стало, вряд ли после него осталась бы

такая пустота. То и дело Синан замечал, как печально и утомленно смотрит на него мать, и ему казалось, будто она думает: почему он не умер вместо отца? Именно в такие моменты Синан чувствовал себя таким одиноким и уродливым, что не мог даже пошевелиться. А потом, в самый одинокий момент, мама подходила и обнимала его, полная нежности и любви, и он смущался собственных мыслей, смущался и немножко радовался. Но его все равно не переставало мучить опасение, что, как ни старайся и как ни меняйся, все равно потерпишь крах и чем-нибудь разочаруешь ее.

Синан смотрел в окно — вскользь и украдкой. Кладбище внушало ему страх. Оно пахло странно и неотвязно, особенно осенью, когда мир приобретал рыжевато-коричневый оттенок. Мужчины в их семье поколениями умирали слишком рано. Папа, дед, прадед… Как бы сильно ни старался мальчик справиться со своими эмоциями, он никак не мог отвязаться от дурного предчувствия, что скоро придет и его черед лечь там. Когда мама ходила на кладбище убраться на могиле мужа, посадить цветы, а иногда просто посидеть у надгробия, а она делала это часто, сын подглядывал за ней в окно. Синан ни разу не видел маму

ненакрашенной или растрепанной, и, глядя на то, как она сидит на земле с опавшими листьями, он морщился и даже начинал ее побаиваться, словно от этого она становилась чужой.

Все, кто жил по соседству, приходили в аптеку — и стар и млад. Порой приходили женщины в черных чадрах, вместе с детьми. Однажды он слышал, как одна женщина просила у мамы лекарство, чтобы больше не рожать. Она сказала, что у нее уже одиннадцать детей. Мама дала ей маленький квадратный пакетик и отослала прочь. Через неделю эта женщина вернулась, жалуясь на страшную боль в животе.

— Вы что, проглотили их?! — воскликнула мама. — Презервативы?!

Сидевший наверху мальчик замер, прислушиваясь.

— Они же не для вас, а для вашего мужа!

— Я знаю, — устало ответила женщина. — Но я не смогла уговорить его использовать их и решила: лучше уж я сама их приму. Я подумала: а вдруг помогут?

Мама пришла в такую ярость, что продолжала бормотать себе под нос, даже когда женщина уже ушла:

— Невежественные, неотесанные крестьяне!

Размножаются, точно кролики! Как можно модернизировать эту несчастную страну, если необразованных по-прежнему больше, чем образованных? Мы рожаем одного ребенка и заботливо растим его. Тем временем эти производят на свет десять маленьких сорванцов и не успевают смотреть за ними — и что? Детям приходится самим о себе заботиться!

Мама была нежна с мертвыми и куда строже с живыми. Однако мальчик считал, что с живыми как раз и надо обращаться нежнее, потому что, в конце концов, именно они изо всех сил стараются понять смысл этого мира. Он с кусочками масла в волосах, эта крестьянка с презервативами в желудке… Все люди чувствуют себя немного потерянными, уязвимыми и неуверенными — образованные или нет, современные или нет, повернутые в сторону Европы или нет, взрослые или дети. Вот так думал этот мальчик Синан. Лично он всегда чувствовал себя уютнее с теми, кто был неидеален в том или ином отношении.

Пять минут

Спустя пять минут после того, как ее сердце перестало биться, Лейла припомнила рождение брата. Вместе с этим воспоминанием она ощутила вкус и аромат жаркóго из козьего мяса со специями — кумин, семена фенхеля, гвоздика, репчатый лук, томаты, курдючный жир и козье мясо.

Ей было семь лет, когда малыш появился на свет. Таркан, долгожданный сын. *Баба́* был на седьмом небе от счастья. Долгие годы он ждал именно этого момента. Как только у его второй жены начались роды, он опрокинул бокал *ракы* и заперся в комнате, где несколько часов лежал распростертым на софе, пожевывая нижнюю губу и перебирая четки, как это было в день рождения Лейлы.

Хотя роды проходили среди неожиданно мягкого мартовского дня 1954 года, Лейле позволили увидеть малыша только к вечеру.

Проведя рукой по своим волосам, Лейла осторожно приблизилась к колыбельке с выражением лица, которое она заготовила заранее. Как же она была уверена, что не полюбит мальчика,

который ворвался в ее жизнь! Однако в ту самую секунду, когда ее взгляд упал на его личико цвета розового бутона, пышные щечки и коленочки с ямочками, словно слепленные из мягкой глины, она поняла: не любить братика невозможно. Она стояла без движения и ждала, словно он вот-вот должен был ее поприветствовать. В его чертах было нечто сверхъестественное. Путник, зачарованный прекрасной мелодией, остановился и прислушался к ее источнику — так же и Лейла пыталась осмыслить появление малыша. Она с удивлением заметила, что, в отличие от других членов семьи, нос братика был приплюснутым, а глазки — слегка выпученными. Создавалось ощущение, что он прибыл сюда издалека. От этого Лейла полюбила его еще больше.

— Тетя, можно я его потрогаю?

Бинназ, сидевшая на кованой кровати с четырьмя столбиками, улыбнулась. Под ее глазами залегли темные круги, и, казалось, нежная кожа на скулах сильно натянулась. Почти весь день она провела в обществе повитухи и соседок. Теперь, когда они ушли, женщина наслаждалась покоем вместе с сыном и Лейлой.

— Конечно можно, дорогая.

Колыбелька, которую *бабá* вырезал из виш-

невого дерева и выкрасил в сапфирно-голубой, была украшена бусинами от сглаза, что свисали с ее ручки. Каждый раз, когда по улице проезжал грузовик и окна начинали сотрясаться, в бусинах отражался свет фар, и они принимались медленно, сами по себе вращаться, словно планеты Солнечной системы.

Лейла продемонстрировала младенцу свой указательный палец, тот тут же схватил его и потащил в свой бархатистый ротик.

— Тетя, смотри! Он не хочет меня отпускать.

— Потому что он тебя любит.

— Любит? Да он же меня совсем не знает.

— Наверное, он видел твою фотографию в небесной школе, — подмигнула Бинназ.

— Что?

— Разве ты не знаешь, что на седьмом небе есть огромная школа с сотней классов?

Лейла улыбнулась. Для тети, которая постоянно сожалела, что так и не получила школьного образования, рай, видимо, выглядел именно так. Теперь, когда Лейла сама пошла в школу и узнала, каково там, ее мнение об этом учреждении сильно изменилось.

— Тамошние ученики — нерожденные младенцы, — продолжала Бинназ, не догадываясь о

мыслях девочки. — Вместо парт там возле доски стоят колыбельки. И знаешь почему?

Пытаясь сдуть прядку волос, упавшую ей на глаза, Лейла покачала головой.

— Потому что на доске висят фотографии мужчин, женщин, детей… много-много. Каждый малыш выбирает семью, где он хочет жить. Как только братик увидел твое лицо, то сразу же сказал дежурному ангелу: «Вот! Я хочу, чтобы она была моей сестрой! Пожалуйста, отправь меня в Ван».

Лейла улыбнулась еще шире. Краешком глаза она ухватила улетающее прочь перышко — вероятно, из тайного голубиного убежища, а может, его обронил пролетевший мимо ангел. Несмотря на все сомнения касательно школы, девочка решила, что ей нравятся тетины представления о рае.

— Теперь мы станем неразлучны — ты, я и малыш, — сказала Бинназ. — Помнишь о нашей тайне?

Лейла резко втянула воздух. Со дня удаления волос в прошлом году эту тему никто из них больше не поднимал.

— Мы расскажем твоему братику, что это я твоя мама, а не Сюзан. И тогда у нас троих будет один

большой секрет.

Лейла задумалась об этом. Ее опыт показывал, что тайну могут хранить только два человека. Когда по всему дому разнесся звук дверного звонка, она продолжала размышлять об этом. По коридору приближались голоса. Знакомые голоса. Дядя, его жена и три сына прибыли их поздравить.

Как только в комнату вошли гости, по лицу Лейлы мелькнула тень. Она отступила назад, высвобождаясь от мягкой хватки братика. Его бровки сморщились. Она уперлась взглядом в ряды ланей, которые выстроились по краю персидского ковра в идеальной симметрии и, видимо, ходили вокруг него по часовой стрелке. Так же и она вместе с другими детьми в черной форме и с ранцами каждое утро стройными рядами маршировали в класс.

Лейла безмолвно опустилась на ковер, поджав под себя ноги, и продолжила изучать узор. Приглядевшись повнимательнее, она поняла, что не все лани подчиняются общему правилу. Вон одна из них стоит, приподняв передние копыта, и с тоской смотрит назад, возможно стремясь рвануть в противоположную сторону, к лесной долине, где полным-полно ивовых деревьев. Прищурившись, девочка продолжала рассматривать

непокорное животное, пока картинки не слились в одно пятно, а лань, словно по волшебству задвигавшись, не устремилась к ней навстречу и из ее волшебных рогов не пролился солнечный свет. Вдыхая аромат лугов, девочка протянула руку к животному — вот бы вскочить на спину к этой лани и помчаться прочь из комнаты!

Тем временем никто не обращал внимания на Лейлу. Все столпились возле младенца.

— Он пухленький, верно? — сказал дядя, осторожно вынул Таркана из колыбельки и поднял вверх.

На вид малыш был очень вялым, и, казалось, у него очень короткая шея. Что-то в нем было не так. Но дядя сделал вид, что не заметил этого.

— Он будет тяжелоатлетом, мой племянник.

Баба́ провел пальцами по своей богатой шевелюре:

— О, я бы не хотел, чтобы он становился тяжелоатлетом. Мой сын станет министром!

— Пожалуйста, только не политиком! — возразила мама.

Все засмеялись.

— Ну, я попросил повитуху отнести его пуповину в контору мэра. Если ей не удастся попасть внутрь, она обещала спрятать ее в саду. Не удив-

люсь, если в один прекрасный день мой сын станет мэром нашего города.

— Смотрите, он улыбается. Думаю, он согласен, — произнесла жена дяди; ее губы покрывал слой ярко-розовой помады.

Все восхищались Тарканом, передавая его из рук в руки, сюсюкая и произнося разнообразные приятности, которые порой вовсе и не были словами.

Взгляд *бабá* упал на Лейлу.

— А почему ты молчишь?

Дядя повернулся к Лейле с пытливым выражением лица:

— Да, почему моя любимая племянница нынче не разговаривает?

Она ничего не ответила.

— Ну иди к нам.

Дядя дотронулся до своего подбородка — обычно после этого жеста следовала какая-нибудь его острота или смешной рассказ.

— Мне и тут хорошо… — Девочка осеклась.

Взгляд дяди переменился — из любопытного он превратился в подозрительный.

Заметив, как изучающе он на нее смотрит, Лейла вдруг окунулась в волну мучительного беспокойства. Ей даже стало дурно. Она медленно

поднялась. Переступив с одной ноги на другую, девочка немного успокоилась. Ее руки выпрямились и легли на юбку спереди, а потом замерли.

— Можно я пойду, *бабá*? Мне надо делать уроки.

Взрослые с пониманием улыбнулись.

— Хорошо, дорогая, — сказал *бабá*. — Иди занимайся.

Вот так Лейла вышла из комнаты, звук ее шагов приглушал ковер, на котором стояла покинутая лань, а дядя шепнул ей в спину:

— О, помилуй Бог! Она ревнует к малышу, бедняжка.

На следующее утро *бабá* отправился к стекольщику и заказал бусину от сглаза — синée, чем небо, и больше, чем коврик для молитвы. На сороковой день с рождения Таркана он принес в жертву трех коз и раздал их мясо бедным. И некоторое время он был счастлив и страшно горд.

Спустя несколько месяцев во рту у Таркана появились два зернышка риса. Теперь, когда у него прорезался первый зуб, пора было определить будущую профессию мальчика. Пригласили всех женщин, живших по соседству. И они пришли, одевшись не настолько консервативно, как на день чтения Корана, но и не настолько дерзко,

как на день удаления волос. На этот раз наряды были чем-то средним — подобающими для материнства и семейной жизни.

Над головой Таркана раскрыли огромный белый зонт, на который вылили целую кастрюлю вареного булгура. На вид малыш, наблюдавший за тем, как на него сползают пшеничные зерна, был несколько обескуражен, однако, ко всеобщей радости, не заплакал. Первое испытание он прошел. Он станет сильным мужчиной.

Затем его усадили на ковер, а вокруг выложили целый ряд предметов: стопку денег, стетоскоп, галстук, зеркало, четки, книгу и ножницы. Если бы он выбрал деньги, стал бы банкиром, если стетоскоп — врачом, если галстук — членом правительства, зеркало — парикмахером, четки — имамом, книгу — учителем, а если уж он предпочел бы всему ножницы, значит пошел бы по стопам отца и стал бы портным.

Образовав полукруг и едва заметно приблизившись к ребенку, женщины затаили дыхание и ждали. Лицо тети выражало абсолютную сосредоточенность — глаза слегка остекленели и замерли на одном-единственном объекте, словно у человека, который решил прибить муху. Лейла с трудом сдерживала смех. Она посмотрела на

брата, сосавшего свой большой палец и совершенно не подозревавшего, что ему предстоит сделать серьезный выбор — определить ход своей дальнейшей жизни.

— Иди сюда, дорогой, — сказала тетя, указывая в сторону книги.

Вот было бы здорово, если бы ее сын стал учителем или даже директором школы! Она бы еженедельно навещала его, неспешно и гордо проходя за ворота школы, и наконец-то смогла бы уютно чувствовать себя там, куда мечтала попасть в детстве, но так и не смогла.

— Нет, сюда, — возражала мама, указывая на четки.

По ее мнению, не было ничего престижнее, чем иметь среди родных имама. Это наверняка приблизит их всех к Богу.

— Вы что, с ума сошли? — заговорила соседка в годах. — Всем нам нужен врач. — Наблюдая за мальчиком, она кивком указала на стетоскоп и добавила елейным голосом: — Сюда, дорогой малыш.

— Ну а я скажу, что юристы получают куда больше денег, чем остальные, — высказалась сидевшая рядом с ней женщина. — Вы явно забываете об этом. Что-то я не вижу тут экземпляра

конституции.

Тем временем Таркан задумчиво осматривал разложенные вокруг него предметы. Они не вызвали у него интереса, и он повернулся спиной к гостям. И тут он увидел Лейлу, которая тихо стояла позади него. И в тот же момент выражение его лица смягчилось. Он потянулся к сестре, стащил с ее руки кожаный браслет, украшенный синим атласным шнуром, и поднял его в воздух.

— Ха! Он не хочет быть учителем… не хочет быть имамом, — усмехнулась Лейла. — Он хочет быть как я!

Радость девочки была настолько чистой и внезапной, что взрослые, несмотря на собственное разочарование, засмеялись вместе с ней.

Хрупкий ребенок со слабым мышечным тонусом и самоконтролем, Таркан часто болел. Казалось, малейшее физическое усилие утомляет его. Для своего возраста он был мал, а его тело росло явно непропорционально. С течением времени всем стало ясно, что он отличается от других, хотя никто не говорил об этом открыто. И только в два с половиной года *баба́* согласился отвезти его в больницу. Лейла настояла на том, чтобы ее взяли с собой.

Когда они добрались до врачебного кабинета,

дождь лил как из ведра. *Баба́* положил Таркана на кровать, которая была накрыта простыней. Глаза малыша двигались от него к Лейле и обратно, он оттопырил нижнюю губу с намерением заплакать, и Лейла в тысячный раз ощутила такой сильный приступ любви к брату и такую беспомощность, что испытала почти физическую боль. Она нежно положила руку на теплую округлость его животика и улыбнулась.

— Я вижу, какая у вас проблема. Мне очень жаль, что у вашего сына это заболевание, но такое случается, — сказал врач, осмотрев Таркана. — Такие дети необучаемы, даже пытаться не стоит. Все равно они не живут долго.

— Я не понимаю. — *Баба́* старался говорить очень сдержанно.

— Этот малыш «монголоид». Вы никогда не слышали о таком?

Баба́ безмолвно и смирно смотрел в пустоту, словно это он задал вопрос и теперь ожидает ответа.

Врач снял очки и поднес их к свету. Видимо, он счел их вполне чистыми, поскольку тут же снова посадил себе на нос.

— Ваш сын ненормален. Вы наверняка уже поняли это. Ну то есть это заметно. Я не очень

понимаю, почему вы так удивляетесь. И можно спросить: где ваша жена?

Баба́ откашлялся. Он не собирался сообщать этому высокомерному человеку, что он не позволяет своей молодой жене выходить из дому, если в этом нет строгой необходимости.

— Она дома.

— Что ж, ей стоит прийти вместе с вами. Важно, чтобы она имела четкое представление о ситуации. Вам нужно поговорить с ней. На Западе для таких детей есть специальные учреждения. Они живут там всю свою жизнь и никому не мешают. Но здесь у нас такой поддержки нет. Вашей жене придется заботиться о нем. Будет непросто. Скажите, чтобы она не привязывалась к нему слишком сильно. Обычно они умирают, не достигнув половой зрелости.

Лейла ловила каждое слово, и сердце у нее билось все быстрее и быстрее, она волком посмотрела на врача:

— Замолчите, глупый, дурной человек! Зачем вы говорите все эти ужасные вещи?

— Лэйла… уймись, — сказал *баба́*, хотя голос его прозвучал не так строго, как мог бы в других обстоятельствах.

Врач обратил на девочку недоуменный взгляд,

будто бы и забыл, что она находится в комнате.

— Не волнуйся, дитя, твой брат не понимает ни слова.

— Понимает! — крикнула Лейла, и голос ее треснул, словно битое стекло. — Он все понимает!

Пораженный ее выпадом, врач поднял руку, чтобы погладить девочку по голове, но, видимо, передумал, потому что очень быстро опустил руку.

Баба́ принял заболевание Таркана слишком близко к сердцу: он посчитал, что совершил нечто ужасное и навлек на себя Божий гнев. Теперь он наказан за грехи — прошлые и настоящие. Аллах ясно и четко предупреждает его: если он по-прежнему не будет замечать Его знамения, последует нечто еще более ужасное. Все это время он прожил напрасно, думая лишь о том, что он сам хотел бы получить от Всевышнего, и совершенно не осознавая, чего Всевышний хочет от него. Ведь поклялся же он, что бросит пить в тот день, когда родилась Лейла, а потом снова нарушил свое слово. Его жизнь была полна нарушенных обещаний и незавершенных задач. Теперь же он заглушил голос *нафс*, своего внутреннего «я», и готов искупить грехи. Проконсультировавшись со своим шейхом и следуя его совету,

баба́ решил больше не шить наряды *алла франга* для женщин. Больше никаких узких платьев и коротких юбок. Он станет пользоваться своими умениями в благих целях. Все те годы, что ему еще отпущены, он будет распространять весть о страхе Господнем, потому что испытал на себе удары, какие Он обрушивает на людей, если они перестают Его бояться.

А две его жены позаботятся о двух его детях. *Баба́* завязал с браком, завязал с сексом, которые, как он осознал, часто все усложняют, точно так же как деньги. Он перебрался в малоосвоенную спальню в задней части дома, откуда приказал убрать всю мебель, за исключением единственного матраса, одеяла, масляной лампы, деревянного сундука и нескольких книг, тщательно отобранных шейхом. Свою одежду, четки и полотенца для омовения тела он хранил в сундуке. Всё, создающее удобства, включая подушку, было отвергнуто. Как и многие другие запоздалые верующие, *баба́* стремился восполнить все то, что упустил за утраченные годы. Он жаждал обратить всех к Богу — своему Богу, — а потому хотел иметь последователей, пусть не десяток, а хотя бы одного. Иными словами — одного-единственного, но преданного ученика. А кому лучше иных

подошла бы эта роль, если не дочери, которая быстро становилась непокорной малолеткой, все более грубой и непочтительной?

Если бы Таркан не родился с таким тяжелым синдромом Дауна, как это заболевание было названо спустя несколько лет, наверное, *бабá* справедливее разделил бы на обоих детей свои ожидания и разочарования, однако в нынешней ситуации все досталось Лейле. А с годами ожидания и разочарования только множились.

13 апреля 1963 года. В возрасте шестнадцати лет у Лейлы вошло в привычку внимательно следить за мировыми новостями — и потому, что ей было интересно, что происходит в других странах, и потому, что это помогало ей отвлекаться от собственной слишком ограниченной жизни. В тот день, глядя на газету, развернутую на столе, она вслух читала новости тете. Далеко-далеко, в Америке, какой-то смелый черный был арестован за протест против жестокого обращения с его собратьями. Его обвиняли в проведении неразрешенного марша. В газете поместили его фотографию с крупной подписью: «Мартин Лютер Кинг отправлен в тюрьму!» На мужчине был аккуратный костюм и темный галстук, лицо он наклонил в объектив. Но больше всего внима-

ния Лейла обратила на его руки. Он держал их в воздухе изящно — ладони изогнулись навстречу друг другу, словно он нес в них невидимый хрустальный шар. Пусть этот шар не покажет ему будущее, тем не менее человек этот сам себе пообещал не бросать его.

Лейла медленно перевела взгляд на страницу местных новостей. Сотни крестьян в Анатолии организовали марш против бедности и отсутствия работы. Многих арестовали. Если верить газете, правительство в Анкаре намеревается подавить мятеж и не повторять ошибок ближайшего соседа — иранского шаха. Шах Пехлеви раздавал земли безземельным крестьянам в надежде завоевать их преданность, однако план не сработал. В стране гранатов и туранских тигров зрело недовольство.

— Так-так, мир бежит быстрее афганской борзой, — сказала тетя, после того как Лейла закончила читать новости. — Повсюду так много страданий и насилия.

Тетя посмотрела в окно, напуганная огромным миром. Даже по прошествии долгого времени и после рождения двоих детей одна из бесконечных бед ее жизни — страх, что ее выкинут из этого дома, — так и не исчезла. Тетя по-прежнему

не чувствовала себя в безопасности. Таркан, которому уже было девять, но общаться он умел не лучше трехлетки, сидел на полу у ее ног и играл с клубком шерсти. Для него это была лучшая игрушка — ни острых краев, ни мелких деталей. Весь месяц он чувствовал себя неважно и жаловался на боли в груди, простуда, которая, казалось, никогда его не покидала, ослабила ребенка. За последнее время он набрал вес, однако кожа его по оттенку и бледности напоминала кожу истощенного. С тревожной улыбкой наблюдая за братом, Лейла размышляла: понимает ли он, что никогда не будет таким, как другие дети? Она надеялась, что не понимает. Ради его же собственного блага. Должно быть, это очень больно — быть другим и в глубине души понимать это.

В тот день никто из них еще не знал, что это последний раз, когда Лейла или иной член семьи сможет читать газеты вслух. Мир менялся, а с ним и *бабá*. После ухода шейха в мир иной *бабá* искал себе нового духовного наставника. Ранней весной он начал посещать *зикры тариката*, находящегося на окраине Вана. Тамошний наставник был суровым человеком с глазами цвета сушеной травы, да к тому же на несколько десятков лет моложе. Несмотря на то что *тарикат* корнями

уходил в освященный веками суфизм и мистические учения о любви, мире и самоуничижении, в наши дни он стал средоточием жестокости, фанатизма и высокомерия. Джихад, который когда-то считали пожизненной борьбой с собственным «я», теперь означал лишь борьбу с неверными, а неверные были повсюду.

«Как можно разделить государство и религию, когда это один и тот же ислам?» — вопрошал наставник.

Возможно, этот искусственный дуализм подходит западникам, аморальным и пьющим, но только не жителям Востока, ведь они любят, когда Бог ведет их, что бы они ни делали. Секуляризм — еще одно название для царства шайтана. Члены *тариката* будут биться с ним каждой частичкой своего существа и в итоге положат конец этому созданному людьми режиму и снова введут богоданное право.

С этой целью каждый член должен открыть дорогу божьему труду, начав со своей собственной семьи, посоветовал наставник. Они должны были убедиться, что их семьи — жены и дети — живут в соответствии со святыми учениями.

Вот так и начал *баба́* вести священную войну в собственном доме. Сначала он учредил новые

правила. Теперь Лейле нельзя было ходить в дом к Даме Фармацевту и смотреть там телевизор. С этих пор ей велено было воздерживаться от чтения любых статей, особенно избегать тем *алла франга*, включая популярный журнал «Хаят», на обложке которого каждый месяц публиковали новые фотографии актрис. Конкурсы песни и красоты, а также спортивные соревнования были объявлены аморальными. Фигуристки в тонких юбчонках все поголовно оказались грешницами. Пловчихи и гимнастки в облегающей форме провоцировали похотливые мысли у набожных мужчин.

— Все эти девицы дергаются туда-сюда, и они совсем голые!

— Но тебе же нравился спорт, — напомнила ему Лейла.

— Я сбился с пути истинного, — ответил *бабá*. — Но теперь у меня открылись глаза. Аллах не хотел, чтобы я заблудился в глуши.

Лейла знать не знала, о какой глуши все время толкует ее отец. Они жили в городе. Пусть не в огромном, но все же в городе.

— Я оказываю тебе услугу. В один прекрасный день ты будешь мне благодарна, — говаривал *бабá*, когда они вдвоем сидели за кухонным

столом со стопкой религиозных брошюр посередине.

Каждые несколько дней тихим горестным голосом, которым она обычно произносила молитвы, мама напоминала Лейле, что пришла пора покрывать волосы. Время уже пришло. Им нужно вместе сходить на базар и выбрать лучшую ткань, как они однажды уже решили, правда Лейла теперь не была согласна с этим уговором. Она не только отказывалась носить платок на голове, но и обращалась со своим телом как с манекеном, который можно одевать и раскрашивать, как ее душе угодно. Она осветляла свои волосы и брови лимоном и ромашковым чаем, а когда все лимоны и чай с кухни таинственно испарились, принялась за мамину хну. Если нельзя стать блондинкой, почему бы не превратиться в рыжую? Мама втайне избавилась и от всей хны, что была в доме.

Как-то раз по пути в школу Лейла увидела курдскую женщину с традиционной татуировкой на подбородке и, вдохновившись, на следующей неделе изобразила себе черную розу прямо над правой щиколоткой. Чернила для татуировок делали по формуле, которую местные народы знали несколько веков: сажа из костра, жидкость

из желчного пузыря горной козы, олений жир и несколько капель грудного молока. От каждого укола иголки она немного морщилась, однако боль пережила и даже почувствовала себя до странности живой с сотней заноз под кожей.

Лейла украшала свои тетради изображениями известных певиц, пусть даже *бабá* сказал, что музыка, особенно западная, — это *харам*, то есть нечто запрещенное исламскими законами. Из-за того, что он это сказал, не оставляя простора для компромисса, Лейла стала слушать одну лишь западную музыку. Следить за чартами европейских и американских синглов было чрезвычайно сложно в таком удаленном и глухом мире, но она отлавливала все, что могла. Особенно ей нравился Элвис Пресли, который со своей печальной красотой больше походил на турка, ласкового и знакомого, чем на американца.

Ее тело быстро менялось. Волосы под мышками, темный участочек между ног, новая кожа, новые запахи, новые эмоции. Груди стали чужачками — две выскочки, задравшие носы. Каждый день Лейла рассматривала в зеркале свое лицо с любопытством, которое нервировало ее саму: будто бы ожидая, что в нем она увидит кого-то другого. При любой возможности она пользовалась

косметикой, оставляла волосы распущенными, вместо того чтобы плести аккуратные косички, носила узкие юбки, когда могла, и совсем недавно втихаря начала курить, воруя у мамы мешочки с табаком. В классе друзей у нее не было. Соученики считали ее либо странной, либо пугающей — так сразу и не скажешь. Они сплетничали о ней тихими, но вполне слышными ей голосами, называя паршивой овцой. Лейлу это не тревожило: она так и так избегала их, особенно броских девочек с их осуждающими взглядами и резкими замечаниями. Оценки у нее были плохими. Казалось, *бабá* это не трогает. Вскоре дочка выйдет замуж и обзаведется семьей. Он не ожидал, что Лейла станет образцовой ученицей, а хотел лишь, чтобы она была хорошей девочкой, скромницей.

По сию пору единственным школьным другом Лейлы был сын Дамы Фармацевта. Их дружба прошла проверку временем, словно оливковое дерево, которое становится крепче с годами. Робкий и молчаливый по натуре, Синан умел обходиться с числами и всегда получал по математике самые высокие баллы. У него тоже не было друзей — в самоуверенности он никогда не смог бы догнать своих однокашников. В присутствии доминирующих личностей — классного руководителя,

директора и тем более собственной мамы — он обычно хранил молчание и уходил в себя. А вот с Лейлой все было иначе. Когда они оставались вдвоем, Синан говорил без умолку полным оживления голосом. В школе они всегда отыскивали друг друга в обед и во время перемен. Вдвоем они сидели в уголке, пока другие девочки собирались в группы и прыгали через веревочку, а мальчики играли в футбол или шарики. Они говорили до бесконечности, не обращая внимания на неодобрительные взгляды, ведь в этом городе представители разных полов строго держались отведенных им мест.

Синан прочитал все, что мог, о Первой и Второй мировых войнах: названия сражений, даты бомбардировок, герои партизанского движения… Он удерживал в памяти огромное количество сведений о цеппелинах и немецком графе, именем которого назвали эти дирижабли. Лейле нравилось слушать, когда он рассказывал о них с такой страстью, что она почти представляла плывущий над головой дирижабль — его мощная цилиндрическая тень словно касалась минаретов и куполов, направляя свой путь к великому озеру.

— Когда-нибудь и ты что-то изобретешь, — сказала Лейла.

— Я?

— Да, и даже получше, чем немецкий граф, потому что его изобретение убивало людей. Твое же будет помогать им. Я уверена, ты сделаешь что-нибудь по-настоящему удивительное.

Только она и считала, что он способен на нечто экстраординарное.

Синан особенно интересовался кодами и их взломом. Его глаза сияли от восторга, когда он говорил о секретных радиопередачах партизан во время войны, их он называл саботажными трансляциями. Содержание не особенно его волновало — он восхищался могуществом радио, непоколебимым оптимизмом чьего-то безвестного голоса, вещавшего в пустоту, надеясь, что где-то есть заинтересованные слушатели.

Баба́ знать не знал, что именно этот мальчик продолжает снабжать Лейлу книгами, журналами и газетами, которые ей теперь не позволялось читать дома. Из них она узнала, что в Англии был сильный мороз, что женщины в Иране получили право голоса и что американцам во Вьетнаме приходится туго.

— Эти подпольные радиопередачи, о которых ты все время рассказываешь мне… — начала Лейла, когда они с Синаном сидели под един-

ственным деревом на игровой площадке. — Я тут подумала: ведь ты как они. Благодаря тебе я знаю, что происходит в мире.

Лицо мальчика радостно вспыхнуло.

— Я твое саботажное радио!

Зазвенел звонок, оповещающий о том, что пора возвращаться в класс. Вставая и отряхиваясь, Лейла объявила:

— Возможно, тебя следует называть Саботаж Синан.

— Серьезно? Мне нравится!

Вот так единственный сын единственной женщины-фармацевта в городе заработал прозвище Саботаж. Мальчик, который однажды, спустя недолгое время после побега Лейлы из дома, последует за ней из Вана в Стамбул, в город, где в итоге оказываются все недовольные и все мечтатели.

Шесть минут

Спустя шесть минут после того, как ее сердце перестало биться, Лейла достала из своего архива запах дровяной печи. 2 июня 1963 года. Женился старший сын дяди. Его невеста происходила из семьи, разбогатевшей торговлей на Шелковом пути. Эта торговля, как многие в этом регионе знали, но предпочитали при чужаках не рассказывать, включала не только шелк и специи, но еще и опиум. От Анатолии до Пакистана, от Афганистана до Бирмы опийный мак рос в огромных количествах, покачиваясь на легком ветерке, его яркие цветы строптиво выделялись на фоне засушливого пейзажа. Молочного цвета жидкость выделялась из семянок — одна магическая капля за другой, — и пока фермеры продолжали прозябать в бедности, другие сколачивали состояния.

Никто не касался этой темы на пышном празднестве, устроенном в самой роскошной гостинице Вана. Гости пировали до самого утра. Курили так много, что казалось, в помещении начался пожар. *Баба́* провожал неодобрительным взглядом всякого, кто осмеливался ступить на танцпол, но самое сильное его негодование вызывали те

мужчины и женщины, которые, сцепив руки в традиционном танце под названием *халай*, трясли бедрами так, будто и слыхом не слыхивали о скромности. Но даже после этого *баба́* не отпустил ни одного замечания — ради брата. Он любил его.

На следующий день родственники с обеих сторон встретились в фотостудии. На фоне сменяющихся пейзажей на виниле — Эйфелевой башни, Биг-Бена, Пизанской падающей башни и стаи фламинго, поднимающейся вверх и направляющейся в сторону заката, — новобрачные позировали для потомков, томясь от жары в новых дорогих нарядах.

Лейла со стороны рассматривала счастливую пару. Невеста, темноволосая молодая женщина с изящными чертами лица, в идеально подогнанном жемчужном платье, с букетом гардений в руке и с красным поясом на талии — символом и декларацией целомудрия. В ее присутствии Лейла чувствовала такое тяжкое уныние, будто носила камень на груди. К ней пришла непрошеная мысль: она никогда не сможет надеть вот такое платье. Лейла слышала множество историй о невестах, которые в первую брачную ночь оказывались не девственницами, о том,

как мужья отводили их в больницы на обследования и их шаги гулким эхом отзывались на темных улицах. А соседи подглядывали из-за кружевных занавесок, как девушек привозили назад в отцовские дома и там наказывали так, как родственники считали нужным, и больше они уже не могли стать нормальными членами общества, униженные и посрамленные, с поблекшими юными лицами… Она ухватила заусенец на безымянном пальце и тянула за него, пока не показалась кровь. Привычный толчок где-то в животе успокоил ее. Иногда она так делала. Резала себе бедра и плечи в тех местах, где отметины были никому не видны, для этого она использовала тот же самый нож, которым резала яблоко или апельсин, и кожа нежно изгибалась под сверкающим лезвием.

Как же горд был дядя в тот день! На нем был серый костюм, белый шелковый жилет и галстук с узором. Когда пришло время для общей семейной фотографии, он положил одну руку на плечо сыну, а другой обхватил Лейлу за талию. Никто этого не заметил.

По пути из студии домой семья Акарсу зашла в пекарню с красивым внутренним двором и стоящими в тени столиками. Из окна доносился

дразнящий аромат только что вынутых из печи *буреков*.

Дядя сделал заказ на всех: самовар чая для взрослых, ледяной лимонад для детей. Теперь, когда его сын женился на девушке из богатой семьи, дядя использовал любую возможность продемонстрировать собственную состоятельность. На прошлой неделе он подарил семье брата телефон, чтобы они чаще могли общаться друг с другом.

— Принесите нам и что-нибудь перекусить, — сказал дядя официанту.

Через несколько минут тот появился с напитками и огромным блюдом коричных булочек. Если бы тут был Таркан, подумала Лейла, он тут же схватил бы одну, его глаза вспыхнули бы радостью, и счастье было бы чистым и неприкрытым. Почему его не брали с собой на семейные праздники? Таркан никогда никуда не ездил, даже к ненастоящей Эйфелевой башне, если не считать единственного визита к врачу, который состоялся, когда он был совсем еще малышом; ему оставалось смотреть на мир лишь сквозь ограду их сада. Когда в гости приходили соседи, мальчика уводили в комнату, подальше от любопытных глаз. Таркан все время был дома, а с ним сидела тетя. Они уже не были близки, Лейла и

тетя, казалось, с каждым годом они расходились все дальше и дальше.

Дядя налил чая и поднял свою чашку к свету. Сделав глоток, он покачал головой. Потом жестом подозвал официанта, подался вперед и заговорил так медленно, словно каждое слово давалось ему с трудом:

— Посмотри на этот цвет, видишь? Он недостаточно темный. Что вы в него положили? Листья банана? На вкус как помои.

Поспешно извинившись, официант забрал самовар, пролив несколько капель на скатерть.

— Неуклюжий, — произнес дядя. — Не знает, где у него правая рука, а где левая. — Он повернулся к Лейле, и его голос внезапно обрел примирительную интонацию. — Как школа? Какой у тебя любимый предмет?

— Никакой, — пожав плечами, ответила Лейла.

Она не сводила глаз с чайных пятен.

Баба́ нахмурил брови:

— Разве так нужно говорить со старшими? Ты совершенно невоспитанна.

— Не волнуйся, — возразил дядя. — Она молода.

— Молода? В этом возрасте ее мать уже была

замужем и пальцы стирала от тяжелой работы.

Мама выпрямилась.

— Новое поколение, — вздохнул дядя.

— Ну, мой шейх говорит, что есть сорок признаков приближения Судного дня. Во-первых, молодежь, которая выходит из-под контроля. Ведь именно это сейчас и происходит. Все эти мальчишки с пышными прическами. Что будет дальше — длинные волосы, как у девочек? Я всегда говорю дочери: будь осторожна. В этом мире столько морального разложения.

— А каковы другие признаки? — спросила дядина жена.

— Прямо сейчас я всё не вспомню. Но разумеется, есть еще тридцать девять. Во-первых, будут серьезные оползни. Океаны приподнимутся. А в мире станет больше женщин, чем мужчин. Я дам тебе книгу, в которой все это объясняется.

Краешком глаза Лейла заметила, что дядя внимательно наблюдает за ней. Она отвернулась, может быть немного резковато, и тут увидела, что к ним приближается какое-то семейство. Казалось, это счастливая семья. Женщина с улыбкой шире реки Евфрат, мужчина с добрыми глазами и две девочки с атласными бантами в волосах. Они поискали столик и согласились на тот, что

стоял возле семейства Акарсу. Лейла заметила, как мать погладила по щеке младшую девочку и шепнула ей что-то смешное, та хихикнула. Тем временем старшая девочка вместе с папой изучала меню. Казалось, мнение каждого имеет значение. Они были близки и неразделимы, словно камни, скрепленные известкой. Наблюдая за ними, Лейла испытала такую внезапную и резкую боль, что ей пришлось опустить глаза в страхе, что ее зависть отразится на лице.

Тут снова появился официант, с новым самоваром и чистыми чашками.

Дядя схватил чашку, глотнул и с отвращением сморщил губы.

— И вы называете это чаем? Он и не горячий вовсе! — проревел дядя, наслаждаясь новообретенной властью над этим порядочным, скромным человеком.

Проседая от раздражения дяди, словно гвоздь под молотком, официант принес щедрые извинения и помчался назад. После достаточно продолжительного времени он явился с новым самоваром — на этот раз настолько горячим, что от него расходились бесконечные завитки дыма.

Пока он разливал чай по чашкам, Лейла заметила, что кровь отлила от лица мужчины

— настолько усталым он казался. Усталым, но при этом до отвращения покорным. Именно в этот момент в его поведении Лейла распознала такое знакомое чувство беспомощности, безоговорочную покорность перед властью и авторитетом дяди, в которых, больше чем кого-либо, можно было уличить именно ее. Внезапно она вскочила и схватила чашку:

— Я хочу чая!

Прежде чем кто-нибудь успел что-то сказать, Лейла сделала глоток, обварив себе язык и нёбо так сильно, что в глазах проступили слезы. Однако она все-таки проглотила жидкость и криво улыбнулась официанту:

— Великолепно!

Мужчина нервно поглядел на дядю, а потом снова на Лейлу. Он быстро пробормотал «спасибо» и исчез.

— Чего это ты творишь? — спросил дядя скорее с удивлением, чем с раздражением.

Мама попыталась сгладить углы:

— Ну, она просто…

— Не защищай ее, — вмешался *баба́*. — Она ведет себя как сумасшедшая.

У Лейлы сдавило сердце. Вот она, действительность, у нее прямо перед глазами, она все время

чувствовала это, но убеждала себя, что все по-другому. *Баба́* встал на сторону дяди, а не дочери. И так будет всегда, поняла она. Первое побуждение отца — помочь своему брату. Лейла прикусила нижнюю губу, которая потрескалась от этой привычки. И только позднее, намного позднее, она по-настоящему задумается об этом моменте — вроде бы краткий и незначительный, он предвещал все то, что ждало ее впереди. Ни разу в жизни она еще не чувствовала себя настолько одинокой, как теперь.

С тех пор как *баба́* перестал шить одежду для любителей западной культуры, денег стало мало. Прошлой зимой они смогли позволить себе отапливать лишь несколько комнат в большом доме, однако на кухне всегда было тепло. Круглый год они проводили в ней много времени: мама отсеивала рис, вымачивала фасоль и готовила на дровяной печи, а тетя постоянно присматривала за Тарканом, который, если оставался без присмотра, рвал одежду, больно падал, глотал разные предметы и часто давился.

— Я хочу пояснить тебе, Лэйла, — сказал *баба́* тем августом, когда девушка сидела со своими книгами за кухонным столом. — Когда мы умрем и останемся одни в своих могилах, нас посетят

два ангела — синий и черный. Их зовут Мункар и Накир, Отрицаемый и Отрицатель. Они попросят нас процитировать суры Корана — от буквы до буквы. Если трижды не сумеешь — тебя ждет ад.

Баба́ указал на чулан, будто бы ад находился там, между банками соленых огурцов, которые стояли на полках.

Экзамены нервировали Лейлу. В школе она проваливала почти все. Слушая отца, она, вопреки собственной воле, задумывалась: как черный и синий ангелы станут проверять ее религиозные знания, когда придет время? Будет ли этот экзамен письменным или устным, в виде диалога или с выбором одного ответа из нескольких? Будут ли снижать баллы за неправильный ответ? Узнает она о результате сразу же или придется ждать подсчета баллов? И если так, как все будет происходить, будет ли высший орган — Верховный совет возмездия и вечных мук — что-то объявлять?

— А как же люди в Канаде, Корее и во Франции? — спросила Лейла.

— А что они?

— Ну, понимаешь… они в основном не мусульмане. Что происходит с ними после смерти? Ангелы не могут попросить их произнести наши

молитвы.

— Почему не могут? — удивился *бабá*. — Всем задают одни и те же вопросы.

— Но люди в других странах не могут процитировать Коран.

— Совершенно верно. Тот, кто не верит в ислам, провалит экзамен ангелов. И сразу в ад. Именно поэтому мы должны нести слова Аллаха всем вокруг. Так мы спасем их души.

Некоторое время они сидели молча, прислушиваясь к шипению и треску горящих в печи дров, словно те говорили им о чем-то важном на своем языке.

– *Бабá*… — Лейла села очень прямо. — Что в аду самое страшное?

Она ожидала, что отец расскажет о ямах со скорпионами и змеями, или о кипящих водах, от которых пахнет серой, или о пронзительном холоде *Замхарира*. Он мог бы сказать, что самое страшное — когда тебя принуждают пить расплавленный свинец или питаться плодами *дерева Заккум*, чьи ветви вместо фруктов усеяны головами дьяволов. Однако после небольшой паузы *бабá* произнес:

— Голос Бога… Этот голос никогда не прекращает кричать, угрожать — звучит день за днем,

день за днем. Он говорит грешникам, что у них был шанс, но они подвели Его и теперь должны заплатить за это.

Мысли носились в голове у Лейлы, хотя она сама сидела неподвижно.

— Бог не прощает?

— Нет, — покачал головой *бабá*. — Даже если в один прекрасный день Он и решит простить, это случится лишь после того, как грешник перенесет свои самые страшные муки.

Лейла посмотрела в окно. Небо приобретало мраморно-серый оттенок. К озеру до странности беззвучно летел одинокий гусь.

— А если… — Лейла вдохнула полные легкие воздуха, а потом очень медленно выдохнула его. — Если получилось, что ты поступил неправильно и знаешь, что это так, но на самом деле вовсе не хотел так поступать?

— Это не поможет. Все равно Бог накажет тебя, но, если это произошло всего один раз, Он проявит больше сострадания.

Лейла ухватилась за свой заусенец, и у нее на большом пальце выступила бусинка крови.

— А если больше чем один раз?

Бабá снова покачал головой, и его лоб сморщился.

— Тогда вечное проклятие, пощады не будет. Из ада не выберешься. Наверное, я говорю слишком жестко, но однажды ты будешь мне благодарна. Я обязан научить тебя отличать хорошее от дурного. Тебе нужно усвоить все это, пока ты еще юная и безгрешная. Завтра может оказаться поздно. Что посеешь, то и пожнешь.

Лейла закрыла глаза, а в груди у нее собиралась тяжесть. Она юная, но безгрешной себя не считала. Она сделала нечто дурное — и не один раз, и даже не два, а много раз. Дядя продолжал трогать ее. Каждый раз, когда их семьи собирались вместе, дядя находил возможность приблизиться к ней, а то, что случилось несколько месяцев назад, когда *бабá* делали операцию по удалению камней из почек и маме пришлось пробыть с ним в больнице примерно неделю, было просто неприлично: даже при воспоминании об этом Лейле становилось дурно. Тетя с Тарканом были в ее комнате и ничего не слышали. Всю ту неделю дядя приходил к ней еженощно. После первого раза крови не было, но болело все время. Когда она попыталась отделаться от него, дядя напомнил ей, что именно она начала этот роман тогда, в отпуске, в доме с запахом разрезанного арбуза.

Я тогда еще думал: она ведь невинная девочка,

но, оказывается, умеет играть в игры с мужским разумом… Помнишь, как ты вела себя в автобусе в тот день, как хихикала каждый раз, чтобы привлечь мое внимание? Зачем ты надела те коротенькие шортики? Зачем позволила мне лечь в твою постель ночью? Ты могла бы прогнать меня, и я бы ушел, но ты не сделала этого. Ты могла бы спать в одной комнате с родителями, но не спала. Ты ждала меня каждую ночь. Ты когда-нибудь задумывалась почему? Что ж, я знаю. И ты знаешь.

В ней была безнравственность, грязь. В этом Лейла не сомневалась. И эту грязь невозможно смыть, это ведь не линия на ладони. И вот теперь *баба́* сказал ей, что Аллах, который все знает и все видит, не простит ее.

Стыд и угрызения совести — тени-близнецы, которые преследовали ее, куда бы она ни пошла, — слишком долго пробыли с Лейлой. Но в этот раз она впервые пережила такой гнев, какого не испытывала еще ни разу. Разум весь горел, каждая мышца была напряжена пылающей яростью, сдерживать которую девушка не умела. Она не желала иметь ничего общего с Богом, который изобрел столько способов судить и наказывать людей, однако не сделал почти ничего, чтобы

защитить их, когда они в том нуждаются.

Она поднялась, и ее стул громко проскрипел ножками по плитке на полу.

— Куда ты пошла? — *Баба́* округлил глаза.

— Мне нужно проверить, как там Таркан.

— Мы еще не закончили. Мы занимаемся.

— Да, но я не хочу больше заниматься, — пожала плечами Лейла. — Мне надоело.

Баба́ вздрогнул:

— Что ты сказала?

— Сказала, что мне надоело. — Она тянула слова, словно жвачку. — Бог, Бог, Бог! Хватит с меня этой чуши!

Подняв правую руку, *баба́* бросился к ней. А потом так же внезапно, дрожа, отстранился, в его глазах отразилось разочарование. Его лицо сморщилось как-то по-новому, словно треснувшая маска из сухой глины. Он знал и она знала, что отец чуть было не ударил ее.

Баба́ никогда не бил Лейлу. Ни разу до этого и ни разу после. Пусть у него были недостатки, однако он никогда не проявлял ни физическую агрессию, ни бесконтрольную ярость. И он всегда будет винить дочку за то, что она вызвала в нем этот импульс, разбудила нечто мрачное и несвойственное его характеру.

Лейла тоже винила себя и продолжала делать это на протяжении долгих лет. Тогда она привыкла к этому — все, что она делала и думала, заканчивалось всепоглощающим чувством вины.

Воспоминания об этом дне настолько глубоко засели в ее памяти, что даже теперь, спустя годы, в металлическом контейнере для мусора на окраине Стамбула, когда ее мозг постепенно прекращал работу, она все еще помнила запах горячей дровяной печи и глубокой, всепроникающей грусти.

Семь минут

Мозг Лейлы продолжал бороться: она вспомнила вкус земли — сухой, мучнистый, горький.

В старом выпуске журнала «Хаят», который она украдкой взяла у Саботажа Синана, она увидела блондинку, обтянутую черным купальником, в черных туфлях на высоком каблуке; та радостно крутила пластиковое кольцо. Подпись под фотографией гласила: «В Денвере американская модель Фэй Шотт крутит хулахуп на своей тонкой талии».

Картинка заинтересовала обоих детей, хотя и по разным причинам. Саботаж удивлялся, зачем нужно надевать туфли на каблуке и купальник, чтобы просто постоять на кусочке земли с зеленой травой. А Лейлу привлекало само кольцо.

Ее сознание вернулось к той весне, когда ей было десять лет. Направляясь вместе с мамой на базар, она заметила нескольких мальчишек, гнавшихся за стариком. Поравнявшись с ним, парнишки с криками и со смехом мелом нарисовали вокруг старика какой-то круг.

— Он езид, — пояснила мама, заметив удивление Лейлы. — Он не сможет сам выбраться

оттуда. Кто-то должен стереть этот круг.

— Ой, давай же поможем ему.

Выражение маминого лица свидетельствовало скорее о недоумении, чем о раздражении.

— Зачем? Езиды гадкие.

— Откуда ты знаешь?

— Откуда я знаю — что?

— Что они гадкие?

Мама потянула ее за руку:

— Потому что они поклоняются Сатане.

— С чего ты взяла?

— Все это знают. Они прокляты.

— Кто их проклял?

— Бог, Лэйла.

— Но разве не Бог их создал?

— Разумеется, Он.

— Он создал их езидами, а потом разозлился, что они езиды… Ерунда какая-то!

— Хватит! Идем!

На обратном пути с базара Лейла настояла на том, чтобы пойти через ту же улицу, — ей хотелось посмотреть, там ли старик. К ее величайшей радости, его там уже не было, а круг был частично стерт. Возможно, все это просто выдумка и он запросто вышел сам. А может быть, ему пришлось ждать, чтобы кто-то положил конец его

заточению. Спустя несколько лет, увидев кольцо на талии блондинки, она вдруг вспомнила о том случае. Как один и тот же символ может отделять и изолировать одного человека и воплощать абсолютную свободу и блаженство для другого?

— Прекрати называть это кругом, — сказал Саботаж Синан, когда Лейла поделилась с ним своими мыслями. — Это хулахуп! И я попросил маму достать мне такой в Стамбуле. Я так умолял ее, что в итоге она заказала два — один нам, другой для тебя. Их только что привезли.

— Для меня?

— Ну, в общем, для меня, но я хочу отдать его тебе! Он ярко-оранжевый.

— Ой, спасибо! Но я не смогу его принять…

Саботаж был непреклонен:

— Прошу тебя… это ведь подарок…

— Но что ты скажешь маме?

— Ничего страшного. Она знает, как много ты для меня значишь. — И он густо покраснел.

Лейла сдалась, хотя прекрасно знала, что отец будет недоволен.

Принести хулахуп домой так, чтобы этого никто не заметил, — задача не из легких. Он не поместился бы ни в сумке, ни под одеждой. Лейла думала зарыть его под листьями в саду на

несколько дней, но этот план был не слишком надежным. В конце концов она вкатила его через кухонную дверь, когда там никого не было, и быстро промчалась с ним в ванную. Там, перед зеркалом, она попробовала покрутить пластиковое кольцо так же, как американская модель. Это оказалось сложнее, чем она думала. Придется потренироваться.

Из музыкальной шкатулки собственного сознания Лейла выбрала песню Элвиса Пресли, певшего о любви на языке, которого девочка совершенно не понимала. *«Tritme-nayz. Don-kiz-me-wans-kiz-me-twayz».* Поначалу она не собиралась танцевать, но разве можно было воспротивиться Элвису в розовом пиджаке и желтых брюках? Эти цвета, такие необычные в их городе, особенно применительно к мужчинам, казались вызывающими, словно флаг бунтующей армии.

Лейла открыла шкафчик, где мама и тетя хранили свои туалетные принадлежности. Там среди пузырьков с таблетками и тюбиков с кремом покоилось сокровище — помада. Ярко-вишневая. Она щедро намазала ею губы и щеки. Девочка в зеркале выглядела совершенно чужой, словно смотрела сквозь замерзшее окно. В этом отражении Лейла на мгновение узрела некое по-

добие будущей себя. Она попыталась разглядеть, счастлива ли эта женщина, такая знакомая и невероятно далекая, однако образ испарился без следа, словно утренняя роса с зеленого листа.

Лейлу никто бы и не увидел, если бы не тетя, которая пылесосила ковровую дорожку в коридоре. Иначе Лейла услышала бы тяжелые шаги *бабá*.

Отец орал на нее — его рот стянуло, словно верхнюю часть мешка для обуви. Эхо его крика отлетало от пола, где всего несколько секунд назад Элвис демонстрировал свои характерные танцевальные движения. *Бабá* сердито глядел на дочь с разочарованным выражением, которое стало таким привычным в последнее время.

— Чем это ты тут занимаешься? Скажи мне, откуда у тебя это кольцо?

— Это подарок.

— От кого?

— От друга, *бабá*. Ничего такого.

— Правда? Посмотри на себя — разве это моя дочь? Я тебя не узнаю́. Мы старались воспитать тебя приличным человеком. Поверить не могу, что ты ведешь себя как… шлюха! Ты что, такой хочешь вырасти? Чертовой шлюхой?

Грубое и резкое слово, которое он словно выплюнул в воздух, дрожью прошло по телу Лейлы.

Она раньше его не слышала.

С того момента девочка больше никогда не видела хулахупа — ей было интересно узнать, что с ним сделал *бабá*, но спросить не решалась. Неужели он выбросил его вместе с мусором? А может, подарил кому-то? Или зарыл его где-то, превратив в очередной призрак, которых, как все чаще подозревала Лейла, в этом доме и без того было много?

Вот так круг — фигура, обозначавшая заточение для старого езида и свободу для американской модели, — стал печальным символом для девочки из восточного города.

Сентябрь 1963 года. Посоветовавшись со своим шейхом, *бабá* решил так: если Лейла перестала слушаться, лучше оставить ее дома, пока она не выйдет замуж. Это решение было принято, несмотря на ее протесты. Пусть начинался новый учебный год и окончание школы не за горами, Лейлу оторвали от учебы.

В четверг днем Лейла и Саботаж в последний раз шли из школы домой. Мальчик плелся чуть позади нее с убитым видом, перекосившись от отчаяния, сунув руки в карманы. Ногой он то и дело пинал по дороге камушки, на его плечах болтался рюкзак.

Дойдя до дома Лейлы, они остановились у калитки. Некоторое время оба молчали.

— Нам пора прощаться, — сказала Лейла.

За лето она немножко прибавила в весе, и ее щеки слегка округлились.

Саботаж потер лоб:

— Я попрошу маму, чтобы она поговорила с твоим отцом.

— Пожалуйста, не надо. *Бабá* это не понравится.

— Мне все равно. Он поступает с тобой несправедливо. — Голос Синана дрогнул.

Лейла отвернулась, потому что не могла видеть его слезы.

— Если ты больше не пойдешь в школу, я тоже не пойду, — сказал Саботаж.

— Не говори глупостей. И пожалуйста, не рассказывай об этом маме. *Бабá* не будет ей рад. Ты ведь знаешь, они не ладят.

— А если я сам поговорю с твоими родителями?

Лейла улыбнулась, представив себе, сколько сил понадобится на это ее неразговорчивому другу и как непросто было ему предложить это.

— Поверь мне, от этого ничего не изменится. Хотя я очень тебе благодарна… правда.

У нее вдруг скрутило живот, и на мгновение она ощутила настоящие дурноту и дрожь, словно решимость, которая вела ее вперед с самого утра, вдруг улетучилась. Чувствуя себя в эмоциональной западне, Лейла всегда начинала действовать быстро, не желая продлевать муки.

— Ладно, мне надо идти. Еще увидимся.

Синан покачал головой. Юные неженатые люди противоположных полов могли видеться только в школе. И больше нигде.

— Мы найдем способ, — произнесла она, почувствовав его сомнения. Она слегка чмокнула его в щеку. — Ну же, улыбнись. Удачи!

Не оглядываясь, она помчалась прочь. Саботаж, который резко вытянулся вверх за последние месяцы и с трудом привыкал к новому росту, простоял без движения целую бесконечную минуту. Затем, сам не зная зачем, начал запихивать себе в карманы камушки, а потом и камни — все крупнее и крупнее, — ощущая, как усиливается тяжесть.

А Лейла тем временем отправилась прямиком в сад и уселась там под яблоней, которую они с тетей украшали полосками шелка и атласа. Балеринами. На верхних ветках до сих пор были видны полоски ткани, полощущиеся на легком

ветерке. Она положила руку на теплую почву и попыталась ни о чем не думать. Потом сгребла в ладонь земли, сунула в рот и медленно пожевала. В горле стало кисло. Она загребла еще земли и на этот раз проглотила ее быстрее.

Через несколько минут Лейла вошла в дом. Она бросила свой рюкзак на кухонный стул, не обратив внимания на то, что за ней внимательно наблюдает тетя, кипятившая молоко для приготовления йогурта.

— Что ты ела? — спросила тетя.

Наклонив голову, Лейла облизнула уголки рта. Кончиком языка она дотронулась до крупинок почвы, застрявших между зубами.

— Пойди сюда. Открой рот. Я посмотрю.

Лейла послушалась.

Глаза тети сначала сузились, а затем округлились.

— Это… земля? — (Лейла не ответила.) — Ты ешь землю? Боже мой, зачем ты это делаешь?

Лейла не знала, что ответить. Сама она не задавалась этим вопросом. Она задумалась, и у нее родилась идея.

— Помнишь, однажды ты рассказывала о женщине из своей деревни? Ты говорила, что она ела песок, колотое стекло… даже гравий.

— Да, но эта бедная крестьянка была беременна… — запинаясь, произнесла тетя.

Прищурившись, она поглядела на Лейлу, так же она разглядывала рубашки, которые гладила, разыскивая пропущенные складки.

Лейла пожала плечами. Ее охватила новая разновидность равнодушия — прежде неведомое ей онемение, ей казалось, что теперь вряд ли что-то имеет большое значение, да и вряд ли имело раньше.

— Возможно, я тоже.

В действительности она понятия не имела, как поначалу проявляется беременность. Одна из отрицательных сторон отсутствия подруг или старших сестер. Спросить было не у кого. Она подумывала проконсультироваться у Дамы Фармацевта и даже несколько раз пыталась поднять этот вопрос, но, когда наступал подходящий момент, смелости не хватало.

Тетино лицо побелело. Однако она все равно решила не придавать большого значения этим словам.

— Дорогая, я тебя уверяю: чтобы такое случилось, нужно узнать мужское тело. Нельзя забеременеть, просто прикоснувшись к дереву.

Лейла небрежно кивнула. Она налила себе

стакан воды и, прежде чем пить, прополоскала рот. Отставив стакан в сторону, она произнесла тихим бесстрастным голосом:

— Но я… я прекрасно знаю мужское тело.

Тетины брови поползли вверх.

— О чем это ты?

— Ну то есть дядю можно считать мужчиной? — спросила Лейла, словно обращаясь к стакану.

Тетя замерла. Молоко медленно поднималось в медной кастрюльке. Лейла подошла к плите и выключила конфорку.

На следующий день *бабá* выразил желание поговорить с ней. Они сели на кухне, у того самого стола, где он учил ее молитвам на арабском и рассказывал о черном и синем ангелах, которые придут навестить ее в могиле.

— Твоя тетя рассказала мне кое-что очень неприятное… — *Бабá* запнулся.

Лейла хранила молчание, пряча трясущиеся руки под столом.

— Ты ела землю. Никогда больше так не делай. У тебя заведутся червяки, слышишь? — Подбородок *бабá* скосился чуть в сторону, зубы сжались так, словно он решил разгрызть нечто невидимое. — И нельзя ничего придумывать.

— Я ничего не придумываю.

В пепельном свете, падавшем из окна, *баба́* казался старше и как-то меньше, чем обычно. Он пристально и мрачно разглядывал дочь.

— Иногда разум шутит с нами.

— Если не веришь, отведи меня к врачу.

Отчаяние мелькнуло на его лице, а затем снова сменилось жесткостью — еще более явной.

— К врачу? Чтобы об этом узнал весь город? Ни за что! Разве ты не понимаешь? Об этом нельзя говорить с чужими людьми. Предоставь это мне. — Затем он добавил, слишком быстро, словно оглашая заученный ранее ответ: — Это семейная проблема, и мы найдем решение внутри семьи.

Спустя два дня они снова оказались у кухонного стола, на этот раз с ними сидели мама и тетя, сжимая в руках платки, глаза у них покраснели и опухли от слез. Тем утром обе женщины расспрашивали Лейлу о месячных. Лейла, которая последние два месяца не замечала крови, усталым и убитым тоном рассказала им, что кровь у нее пошла накануне утром, но на этот раз как-то странно: чересчур сильно и болезненно, с каждым движением в нее словно изнутри вонзалась иголка, она даже не могла дышать.

Мама, похоже, втайне обрадовалась, услышав

это, и быстро сменила тему, а тетя пристально и очень печально посмотрела на Лейлу, понимая, что это выкидыш, похожий на ее собственный.

— Это пройдет, — тихо пробормотала она. — Это скоро закончится.

Так с Лейлой впервые за долгие годы поговорили о тайнах женского тела.

Затем, стараясь говорить как можно короче, мама сказала, что больше ей не нужно бояться беременности и что так гораздо лучше, нет худа без добра, все забудут об этом и больше не станут упоминать, разве что в молитвах, когда станут благодарить Аллаха за Его милосердное вмешательство в эту историю в последнюю минуту.

— Я поговорил с братом, — сказал *бабá* на следующий день. — Он понимает, что ты еще юная… и запуталась.

— Я не запуталась. — Лейла разглядывала скатерть, водила пальцем по сложно перевитой вышивке.

— Он рассказал мне о мальчике, с которым ты виделась в школе. Мы были в полном неведении, но, оказывается, об этом все говорили. Боже мой, сын фармацевта! Я никогда не любил эту подлую и холодную женщину. Мне следовало бы знать. Какова мать, таков и сынок.

Лейла ощутила, как горят ее щеки.

— Ты имеешь в виду Саботажа… Синана? Оставь его в покое. Он мой друг. Мой единственный друг. Он добрый мальчик. А дядя врет!

— Прекрати. Ты должна уважать старших.

— Почему ты не веришь мне — своей дочери? — Силы покинули ее.

Баба́ откашлялся.

— Давайте успокоимся. Мы должны по-умному справиться с этой ситуацией. У нас был семейный совет. Твой кузен Толга — хороший мальчик. Он согласился жениться на тебе. У вас будет помолвка…

— Что?

Толга — ребенок, ночевавший тем летом в той же комнате. Пока он спал в своей колыбельке, его отец ночами рисовал круги на ее животе. Теперь этого мальчика семейные старейшины выбрали ей в мужья.

— Мы знаем, он моложе тебя, — сказала мама, — но в этом нет ничего страшного. Мы объявим о помолвке, чтобы все знали, что вы предназначены друг для друга.

— Да, так мы заткнем все злобные рты, — продолжил *баба́,* — а потом у вас будет религиозная свадьба. Через несколько лет ты сможешь выйти

замуж официально. В глазах Аллаха достаточно и религиозной свадьбы.

— Как тебе удается смотреть глазами Аллаха? — спросила Лейла куда спокойнее, чем было у нее на душе. — Мне всегда было интересно.

Баба́ положил ей руку на плечо:

— Я знаю, что ты встревожена. Но теперь тревожиться не о чем.

— Я если я откажусь выходить за Толгу?

— Ты этого не сделаешь, — сказал *баба́*, и его лицо напряглось.

— А ты? — С широко раскрытыми глазами Лейла повернулась к тете. — Ты веришь мне? Потому что я поверила тебе тогда, помнишь?

В то мгновение Лейла думала, что тетя кивнет — достаточно было бы и самого слабого движения, — но Бинназ не сделала этого.

— Все мы любим тебя, Лэйлочка, — вместо этого сказала она. — Мы хотим, чтобы наша жизнь вернулась в нормальное русло. Твой отец все наладит.

— Все наладит?

— Не груби тете! — одернул ее *баба́*.

— Какой еще тете? Я думала, она моя мать. Да или нет? — (Никто не ответил.) — В этом доме все лгут и притворяются. Наша жизнь никогда

не была нормальной. Мы не нормальная семья. Почему вы все время играете роли?

— Хватит, Лэйла! — нахмурившись, сказала мама. — Мы все пытаемся помочь тебе.

— Я так не думаю, — медленно произнесла Лейла. — Я думаю, вы пытаетесь спасти дядю.

Ее сердце рвалось из груди. Все эти годы она страшилась того, что может случиться, если она расскажет отцу о происходившем за закрытыми дверями. Она была убеждена, что он никогда не поверит ей, ведь он так любит своего брата. Но теперь внутри щемило. На самом деле *бабá* поверил ей. Именно поэтому он не ворвался в дом к Даме Фармацевту, дрожа от ярости и негодования, и не потребовал, чтобы ее сын женился на его поруганной дочери. Именно поэтому он действовал тихо, в семейных рамках. *Бабá* знал, кто говорил правду, а кто врал.

Ноябрь 1963 года. Ближе к концу месяца Таркан серьезно заболел. Его грипп превратился в пневмонию, однако врач сказал, что в действительности у него слабое сердце. Свадебные хлопоты отложили. Тетя была вне себя от волнения. Как и Лейла, хотя охватившее ее онемение лишь только усугубилось с течением времени и ей было невероятно тяжело показывать свои

эмоции.

Часто приходила жена дяди, предлагая помощь, принося домашнюю еду — жаркое и подносы с пахлавой, словно в дом скорби. Порой Лейла ловила на себе пристальные взгляды женщины, которые выражали нечто вроде жалости. Сам дядя не показывался. Лейла так и не узнала, кто так решил — он сам или *бабá*.

В день, когда умер Таркан, они широко распахнули все окна в доме, чтобы его душа поменялась местами со светом, а его дыхание стало воздухом, а то, что осталось от него, улетело с миром. Словно пойманная бабочка, подумала Лейла. Именно так жил ее брат среди них. Она опасалась, что все они бросили этого чудесного ребенка — один за другим, включая ее саму, особенно ее саму.

В тот же вечер, когда еще было совсем светло, Лейла ушла из дома. Она уже давно собиралась это сделать, поэтому, когда наступил удобный момент, она сделала это быстро, мысли беспорядочно крутились у нее в голове, и она опасалась: если задержаться даже на секунду, храбрость покинет ее. Поэтому она ушла, даже не задумавшись, даже не моргнув. Только не через кухонную дверь. В кухне сидели все: родственники и соседи, мужчины и женщины, представители

противоположных полов могли безнаказанно общаться только во время свадеб или похорон. Голоса гостей стихли, когда имам начал читать суру Аль-Фатиха: «Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших».

Лейла прошла в переднюю часть дома и открыла главную дверь, тяжелую и прочную, с литыми засовами и железными цепями, которые были до странности легкими на ощупь. В ее сумке лежало четыре крутых яйца и десяток зимних яблок. Она направилась прямиком к дому Дамы Фармацевта, но войти в него не решилась. Она немного побродила вокруг, неторопливо прошлась по старому кладбищу за аптекой, читая имена умерших на могильных камнях и задумываясь о том, какую жизнь они прожили, и ждала, когда ее друг вернется из школы.

Деньги, которые ей нужно было потратить на автобусный билет, Синан украл у мамы.

— Ты уверена? — то и дело спрашивал парнишка, провожая ее на автобусную станцию. — Стамбул огромный. Ты там никого не знаешь. Оставайся в Ване.

— Зачем? Мне тут больше нечего делать.

На его лице вспыхнула боль, которую Лейла

заметила слишком поздно.

— Я не имею в виду тебя. Тебя мне будет ужасно не хватать.

— Мне тебя тоже, — сказал он; его верхнюю губу уже затемнял легкий пушок.

Бутуз испарился. В последнее время Синан похудел, его круглое лицо как-то осунулось, а скулы стали более заметны. В какой-то момент он собрался было сказать что-то еще, но смелость прошла, и он отвел взгляд.

— Слушай, я буду писать тебе каждую неделю, — пообещала Лейла. — Мы увидимся снова.

— Может, здесь тебе будет безопаснее?

Лейла не произнесла этого вслух, но где-то в глубине ее души отозвались слова, которые, как ей казалось, она уже где-то слышала: «Даже несмотря на то, что здесь безопасно, как ты считаешь, это не значит, что место подходящее».

В автобусе пахло дизелем, лимонным одеколоном и усталостью. Сидевший перед ней пассажир читал газету. Когда Лейла увидела новости на первой полосе, ее глаза округлились: совершено покушение на президента Америки, человека с лучезарной улыбкой. В газете были фотографии его самого и его красавицы-жены в шляпке-таблетке — всего за минуту до первого выстрела

они ехали в автоколонне и махали толпе. Лейле хотелось прочитать побольше, но свет вскоре выключили. Она вынула из сумки яйцо, очистила его и потихоньку съела. Потом время замедлилось, и ее веки сомкнулись.

Лейла настолько ни о чем тогда не знала и не подозревала, что и впрямь считала: она справится со Стамбулом и победит мегаполис в игре, где действуют лишь его собственные правила. Однако она не была Давидом, а Стамбул — Голиафом. Никто не молился о том, чтобы она выиграла, и ей не к кому было обратиться в случае поражения. Там все мгновенно и запросто исчезало. Это она поняла в момент прибытия. Пока она умывалась в туалете на автобусной станции, кто-то украл ее сумку. В одну секунду Лейла лишилась половины своих денег, оставшихся яблок и браслета — того самого, который поднял вверх ее младший брат на церемонии в честь прорезывания зубов.

Пока она сидела на ящике возле туалета, собираясь с мыслями, к ней подошел техник с мочалкой и ведром моющего средства. Он показался ей вежливым и отзывчивым и, узнав о ее обстоятельствах, предложил помощь. Лейла может несколько месяцев пожить у его тети. Она недавно ушла на пенсию и больше не работает

кассиршей в магазине, к тому же она стара, одинока и нуждается в компании.

— Я не сомневаюсь, что она хорошая, но мне нужно найти собственный угол, — ответила Лейла.

— Конечно, я понимаю, — улыбнулся молодой человек.

Он дал ей название ближайшего хостела, где было чисто и безопасно, и пожелал удачи.

Когда начала сгущаться тьма и, казалось, небо решило сомкнуться вокруг нее, Лейла все-таки добралась до хостела, ветхого здания в переулочке, которое давным-давно не красили и не мыли, а может, и вовсе никогда этого не делали. Она не поняла, что молодой человек последовал за ней.

Оказавшись внутри, Лейла двинулась в угол помещения мимо нескольких заляпанных и облупившихся стульев и доски с объявлениями, обклеенной устаревшими сообщениями, и подошла к сухопарому немногословному человеку, сидевшему за шатким столом на козлах, который заменял стойку администратора, позади него на плесневелой стене с нумерованных крючков свисали ключи.

Уже в комнате, вся на нервах, Лейла задвинула дверь шкафом. Постельное белье, желтое, словно

старая газета, пахло затхлостью. Она расстелила на кровати свою куртку и легла прямо в одежде. Лейла так утомилась, что заснула куда раньше, чем думала. Уже поздней ночью она проснулась от какого-то звука. Кто-то крутил ручку ее двери со стороны коридора, пытаясь проникнуть внутрь.

— Кто там? — закричала Лейла.

В коридоре послышались шаги. Размеренные, неторопливые. После этого она уже не смогла заснуть, прислушиваясь к каждому звуку. Утром она вернулась на автобусную станцию, единственное знакомое место в городе. Молодой человек был там — он разносил водителям воду с грациозностью спортсмена.

На этот раз она приняла его предложение.

Тетя, женщина средних лет с пронзительным голосом и такой бледной кожей, что под ней были видны вены, накормила ее и дала ей хорошую одежду, даже слишком красивую, настаивая, что девушка должна «усовершенствовать свои активы», раз уж на следующей неделе она решила ходить по собеседованиям в поисках работы.

Первые дни прошли легко и радостно. Открытое и ищущее, сердце Лейлы было крайне уязвимым, а потому, пусть даже она отказыва-

лась признаться в этом самой себе, она попала под обаяние молодого человека и его заученной привлекательности. Ее охватило нечто напоминавшее облегчение — наконец-то она может поговорить хоть с кем-то! — иначе ни за что не рассказала бы ему о том, что случилось в Ване.

— Тебе нельзя возвращаться домой, это понятно, — сказал он. — Видишь ли, я знал девушек вроде тебя в основном из поганых городишек. Некоторым тут повезло — они нашли где жить, а некоторым нет. Оставайся со мной, если хватает ума, не то Стамбул задавит тебя.

В его интонации сквозило нечто пугающее, сдерживаемая злость, которая, как она теперь понимала, глубоко засела у него внутри, тяжелая и жесткая, словно камень. Втайне Лейла решила тут же покинуть этот дом.

Молодой человек чувствовал ее неловкость. Он прекрасно это умел — замечать чужие тревоги.

— Мы поговорим потом, — сказал он. — Не стоит слишком уж беспокоиться.

Именно эти мужчина и женщина, которая была ему вовсе не тетя, а деловой партнер, в ту же ночь продали Лейлу какому-то незнакомцу, а потом, на той же неделе, — еще нескольким. В ее крови, во всех ее напитках был алкоголь,

бесконечный алкоголь, от нее пахло спиртным. Лейлу заставляли много пить, чтобы она мало помнила. Теперь она видела то, чего не замечала раньше: на дверях здесь висели замки, окна были плотно закрыты, Стамбул же, как оказалось, вовсе не город возможностей, а город шрамов. Едва начавшись, падение все ускорялось, словно это была вода, которую засасывало в слив. Мужчины, приходившие в этот дом, были разных возрастов, занимались малооплачиваемым неквалифицированным трудом, и почти у каждого была семья. Они были отцами, мужьями, братьями… У некоторых были дочери ее возраста.

Когда ей впервые удалось позвонить домой, она с трудом сдерживала дрожь в руках. Теперь новая жизнь так поглотила Лейлу, что ей даже позволяли гулять неподалеку от дома, — никто не сомневался, что идти ей больше некуда. Накануне ночью шел дождь, и на тротуарах появились улитки, впитывавшие тот же влажный воздух, от которого она задыхалась. Лейла стояла перед зданием почты, стараясь отыскать в карманах сигарету, и зажигалка тряслась в ее кулаке.

В конце концов решившись войти, она сказала оператору, что хочет сделать звонок за счет абонента, и понадеялась, что ее родные согласятся

заплатить. Они согласились. Ожидая, пока мама или тетя возьмет трубку, Лейла даже не знала, с кем из них ей бы хотелось поговорить сначала, она попыталась представить, что сейчас делает каждая из них. Ответили обе. Они расплакались, услышав ее голос. Она тоже заплакала. Где-то на заднем плане слышалось тиканье часов в коридоре — непоколебимый ритм стабильности, резко контрастирующий с окружающей неопределенностью. А потом настала тишина — глубокая, пронзительная, капающая. Они все глубже и глубже погружались в эту клейкую жидкость. Было ясно, что мама и тетя хотят, чтобы она чувствовала себя виноватой, и Лейла ощущала свою вину острее, чем они могли представить. А еще она понимала, что после ее отъезда мамино сердце сжалось, как кулак, да и тетя после смерти Таркана снова чувствовала себя плохо. Когда Лейла с тяжелым чувством поражения на душе повесила трубку, она прекрасно понимала: дороги назад нет и медленная смерть, которую она сейчас переживает, теперь и есть ее жизнь.

И все равно она продолжала звонить домой при малейшей возможности.

Однажды ответил *бабá*, который рано вернулся домой. Услышав ее голос, он резко ахнул и умолк.

Лейла, остро ощутив, что впервые по-настоящему поймала его врасплох, лихорадочно искала нужные слова.

– *Бабá*, — произнесла она, не скрывая напряжения в голосе.

— Не зови меня так.

– *Бабá*… — повторила она.

— Ты осрамила нас, — тяжело дыша, произнес он. — Все судачат об этом за нашими спинами. Я больше не могу ходить в чайную. Я не могу зайти на почту. Даже в мечети со мной больше не разговаривают. На улице со мной не здороваются. Я словно призрак — меня никто не замечает. Я всегда считал: пусть у меня нет богатства, пусть я никогда не найду сокровищ и у меня даже нет сыновей, но по крайней мере у меня есть доброе имя. А теперь и его нет. Я изгой. Мой шейх сказал, что Аллах проклянет тебя и что я доживу до этого дня. Так я буду отомщен.

На окне замерли капли влаги. Она дотронулась до одной кончиком пальца, подержала секунду и отпустила, наблюдая за тем, как капля покатилась вниз. Где-то внутри пульсировала боль, но в какой части тела, определить было сложно.

— Не звони нам больше, — сказал он. — А если позвонишь, мы скажем оператору, что не станем

принимать звонок. У нас нет дочери по имени Лэйла. Ты не заслужила этого имени — Лэйла Афифа Камила.

Когда Лейлу впервые арестовали и засунули в фургончик к нескольким другим женщинам, она сжала ладони вместе и сосредоточилась на кусочке неба, видневшемся между прутьями оконной решетки. Еще хуже, чем с ними обращались в полицейском участке, обычно оказывался последующий осмотр в венерологической больнице Стамбула — месте, которое она посещала регулярно в течение многих лет. Ей выдали новое удостоверение, на котором аккуратными колонками были написаны даты ее осмотров. Если бы она пропустила хотя бы один, ее тут же задержали бы. И тогда пришлось бы провести остаток ночи в тюрьме, а затем вернуться во все ту же больницу и снова сдать анализ на те же заболевания.

Туда-сюда — из полицейского участка в больницу, а потом обратно.

Шлюшкин пинг-понг — так называли это проститутки.

Во время вот такого визита в больницу Лейла познакомилась с женщиной, которая стала ее первым лучшим другом в Стамбуле. Юная

и тонкая африканка по имени Джамиля. У нее были круглые и до невероятности яркие глаза с полупрозрачными веками и волосы, стянутые в кукурузные рядки, ее запястья казались до ужаса тонкими, к тому же они были испещрены красными отметинами, которые она пыталась скрыть с помощью многочисленных браслетов. Джамиля была иностранкой и, как все иностранки, носила с собой ауру далеких земель. До этого они виделись много раз, но никогда не говорили друг другу ничего, кроме приветствий. Однако к тому времени Лейла уже выучила, что женщины, пойманные в разных уголках города — и местные, и не местные, — принадлежали к племенам невидимок. Членам различных племен общаться было не положено.

Каждый раз, когда они обе попадали на осмотр, девушки садились на скамьи, стоявшие по всей длине коридора, в котором так разило антисептиком, что привкус его ощущался даже во рту. Турецкие проститутки сидели по одну сторону коридора, а иностранки — по другую. Поскольку женщин вызывали в кабинет для осмотра по одной, ждать приходилось невыносимо долго. Зимой они засовывали ладони под мышки и разговаривали вполголоса — берегли энергию

на предстоящий день. Это отделение больницы, которого старались избегать другие пациенты и персонал, никогда нормально не отапливалось. Летом женщины могли лениво разваливаться, ковырять болячки, убивать комаров, жаловаться на жару. Они снимали туфли, массировали усталые ноги, и в воздух проникал слабый характерный запах, становившийся все интенсивнее. Иногда кто-нибудь из турецких проституток отпускал резкое замечание в адрес врачей, сестер или кого-нибудь на противоположной скамье, в адрес иностранок, захватчиц, и поднимался хохот — правда, совсем недобрый. В таком тесном помещении враждебность возникала и начинала перемещаться со скоростью электрического разряда, но и исчезала она тоже мгновенно. Местные особенно недолюбливали африканок, которых обвиняли в том, что они отнимают у турчанок работу.

В тот вечер Лейла посмотрела на юную чернокожую женщину, сидевшую напротив нее, и ничего чуждого в ней не заметила. Вместо этого она увидела ее плетеный браслет и вспомнила свой — тот, что потеряла. Женщина пришила этот талисман к внутренней стороне своего кардигана. Вспомнив обо всех талисманах, которые

ничуть ей не помогли, Лейла отметила про себя, как чернокожая прижимает к груди рюкзачок — словно ее вот-вот выкинут отсюда, пусть даже и не из страны, а в ее манере поведения она узнала себя и уже привычное одиночество.

У Лейлы возникло странное чувство, что с таким же успехом она могла бы смотреть на свое собственное отражение.

— У тебя красивый браслет. — Лейла указала на него подбородком.

Медленно, почти незаметно другая женщина подняла голову и направила на Лейлу свой прямой взгляд. Пусть она ничего не ответила, однако выражение ее лица осталось спокойным, что заставило Лейлу продолжить разговор.

— У меня был почти такой же, — подавшись вперед, произнесла Лейла. — Я потеряла его, когда приехала в Стамбул.

В коридоре повисла тишина, и одна из местных проституток выдала непристойный комментарий, другие захихикали. Лейла, уже начавшая жалеть, что заговорила с темнокожей, опустила глаза и погрузилась в собственные мысли.

— Я сама делаю… — проговорила женщина, когда уже все решили, что она никогда не откроет рта. Она говорила протяжным вымученным

шепотом, немного хрипловатым, и на ломаном турецком. — Для всех разные.

— Ты выбираешь цвет для каждого в отдельности? — заинтересовавшись, спросила Лейла. — Здорово! А как ты понимаешь, какой надо выбрать?

— Смотрю.

С тех пор во время каждой новой встречи они перебрасывались всего несколькими словами, делились какой-нибудь мелочью, когда слов не хватало, пустоты заполняли жесты. А потом, как-то днем, спустя месяцы после их первого разговора, Джамиля потянулась к соседке с противоположной скамьи, словно ломая невидимую стену, и опустила что-то очень легкое Лейле в ладонь.

Это был плетеный браслет — сиренево-голубой, вересковый и темно-вишневый в оттенках пурпурного.

— Это мне? — тихо спросила Лейла.

— Да, твои цвета, — кивнула темнокожая.

Джамиля, женщина, способная заглядывать в человеческие души, замечая в них то, что ей было нужно, так открывала людям свое сердце.

Джамиля — одна из пяти.

История Джамили

Джамиля родилась в Сомали в семье отца-мусульманина и матери-христианки. Раннее детство она провела в блаженной свободе, хотя осознала это лишь спустя много лет, когда уже повзрослела. Как-то мама сказала ей, что детство — большая синяя волна, поднимающая тебя вверх, несущая вперед, но исчезающая из виду, как только ты начинаешь думать, что так будет всегда. За ней нельзя побежать, и вернуть ее тоже нельзя. Однако, прежде чем исчезнуть, волна оставляет тебе подарок на берегу — раковину рапаны. У нее внутри хранятся звуки детства. И даже теперь, если закрыть глаза и внимательно прислушаться, Джамиля могла уловить эти звуки: хохот младших братьев и сестер, папины слова, когда он нарушил пост и съел три финика, пение мамы, которая готовила еду, треск вечернего костра, шорох листов акации, стоявшей неподалеку от дома…

Могадишо, Белая жемчужина Индийского океана. Под ясным небом приходилось прикрывать рукой глаза, чтобы увидеть чуть в стороне ветхие жилища, их присутствие столь же случайно,

сколь наличие земли и коряг, из которых их выстроили. Тогда бедность ее не беспокоила. Целыми днями ничего не происходило, а мечты были столь же легкими и сладкими, как мед, который она намазывала на свою лепешку. А потом мама, ее обожаемая мама умерла от рака после долгого мучительного увядания — оно, правда, ни разу, до самого конца, не затуманило ее улыбки. Ее отец, теперь превратившийся в тень человека, что был раньше, остался один с пятью детьми и был не готов к этому грузу. Его лицо потемнело, а потом то же случилось и с его сердцем. Старейшины семейства заставили его жениться снова — в этот раз на представительнице их религии.

Мачеха Джамили, тоже вдова, ревновала к призраку, упорно уничтожая все следы женщины, которую, как она считала, ей нужно заместить. Вскоре Джамиля, самая старшая дочь, стала ссориться с мачехой практически по любому поводу — начиная с того, какую одежду она носила или что ела, и заканчивая тем, как она говорила. Стремясь сохранить хоть какой-то покой в своей смущенной душе, девушка начала проводить больше времени на улице.

Однажды ноги сами понесли ее к старой маминой церкви — той, которую она почти перестала

посещать, но не могла забыть окончательно. Особенно не раздумывая, Джамиля отворила высокую деревянную дверь и вошла внутрь, сразу ощутив аромат свечного воска и полированного дерева. У алтаря стоял священник в годах, рассказавший ей, какой мама была в детстве, задолго до того, как стала женой и матерью, и истории эти словно были из другой жизни.

Джамиля не собиралась снова идти в эту церковь, однако спустя неделю все же пришла. К семнадцати годам она стала частью паствы, приведя в ярость отца и сильно огорчив братьев и сестер. По ее личному мнению, она вовсе не делала выбор между двумя религиями Авраама, а просто-напросто пыталась удержать тонкую нить, соединявшую ее с мамой. Но никто больше не относился к этому так. Никто не простил ее.

Священник сказал, что ей не стоит грустить, так как теперь она обрела семью куда большую, семью верующих, однако, как Джамиля ни старалась, мир и покой, который ей обещали, так и не пришли. И снова она оказалась одна — без семьи и церкви.

Ей нужна была работа. Но работы не было, кроме нескольких мест, для которых у нее не хватало умений. Трущобы она раньше видела

лишь издалека, но теперь они стали ее домом. Тем временем положение в стране менялось. Все ее друзья, отзываясь на слова Мохаммеда Сиада Барре — Большого Рта, — рассуждали об освобождении сомалийцев, живших под игом других народов. Великая страна Сомали. Они говорили, что готовы сражаться — и даже умереть — за нее. Джамиле казалось, что все, да и она сама, пытались убежать от настоящего, — она стремилась вернуться в детство, а ее друзья рвались к будущему, ненадежному, словно ползучие пески приморской пустыни.

Потом все изменилось в худшую сторону, и теперь на улицах стало небезопасно. Пахло горящими шинами, порохом. Противников режима арестовывали, используя оружие, сделанное в Советском Союзе. Тюрьмы — пережитки господства британцев и итальянцев — заполнялись мгновенно. Школы, правительственные здания и военные казармы на время превратили в застенки. Но всех арестованных разместить по-прежнему было негде. Даже части президентского дворца теперь отдали под тюрьмы.

Примерно в это время знакомая рассказала ей о каких-то фаренджи — иностранцах, которые разыскивают здоровых, трудолюбивых

африканок, чтобы увезти в Стамбул. На неквалифицированную работу — домработниц, нянь, кухарок и так далее. Знакомая пояснила, что турецким семьям нравится сомалийская прислуга. Джамиля сочла это хорошей возможностью. Ее жизнь закрылась, словно дверь, и теперь она стремилась отыскать новую дверь и открыть ее. Тот, кто не объездил мир, слеп, подумала она.

В компании еще сорока с лишним человек, в основном женщин, она отправилась в Стамбул. После прибытия их выставили шеренгой и разделили на две группы. Джамиля заметила, что девушки помоложе, вроде нее, остались в стороне. Остальных вскоре увезли. Больше она не видела никого из них. Когда она поняла, что это сплошное надувательство — предлог привезти людей в качестве дешевой рабочей силы и для сексуальной эксплуатации, — бежать было уже поздно.

Африканцы приезжали в Стамбул со всех концов старого континента — из Танганьики, Судана, Уганды, Нигерии, Кении, Верхней Вольты, Эфиопии — все бежали от гражданской войны, религиозного насилия, политических беспорядков. За последние годы резко возросло количество беженцев. Среди них были студенты, различные

специалисты, художники, журналисты, ученые… Но в газетах писали лишь о тех африканцах, которых, как и ее саму, незаконно ввезли в страну.

Дом в Тарлабаши. Диваны с истертой обивкой, обтрепанное постельное белье, превращенное в занавески, воздух, наполненный запахом подгоревшей картошки и жареного лука и чего-то терпкого, вроде незрелых грецких орехов. Ночами вызывали по нескольку женщин — заранее было неизвестно, каких именно. Каждые несколько недель в двери рвалась полиция, собирала их всех и везла в венерологическую больницу на осмотр.

Тех, кто оказывал сопротивление поработителям, запирали в подвале дома, таком темном и тесном, что помещаться в нем можно было, только присев на корточки. Хуже голода и боли в ногах был противоречивый страх за собственных мучителей: а вдруг с этими людьми что-то случится, ведь только они знают об их местонахождении? И как следствие, ужас за самих себя — что они могут остаться в этом месте навсегда.

— Так лошадей объезжают, — говорила одна из женщин. — Именно это делают с нами. Стоит только покорить нас, можно не сомневаться, что мы никуда не уйдем.

Однако Джамиля не переставала планировать побег. Как раз о нем она раздумывала, когда они с Лейлой встретились в больнице. Джамиля размышляла: а может, она все-таки не до конца объезженная лошадь — слишком напуганная, чтобы рвануть прочь, слишком измученная, чтобы решиться на что-то, но все еще помнящая сладкий вкус свободы и стремящаяся к ней всей душой?

Восемь минут

Прошло восемь минут — и Лейла вынула из своего архива следующее воспоминание: запах серной кислоты.

Март 1966 года. Лейла лежала на своей кровати на верхнем этаже здания, стоявшего на улице борделей, и листала глянцевый журнал, на обложке которого красовалась Софи Лорен. Она, в общем, не читала, потому что была занята собственными мыслями, но тут Гадкая Ма окликнула ее.

Лейла выронила журнал. Затем медленно поднялась с кровати и потянулась. Словно в трансе, она прошла по коридору и начала спускаться по лестнице, щеки у нее горели. Возле Гадкой Ма стоял клиент средних лет — он стоял вполоборота, изучая картину с желтыми нарциссами и цитрусовыми. Лейла узнала его сигару еще до того, как узнала лицо. Этого человека старались избегать все проститутки. Жестокий, подлый и постоянно сквернословивший, он несколько раз демонстрировал такую агрессию, что ему даже запретили посещать это заведение. Однако сегодня Гадкая Ма, похоже, простила его — в очередной раз. Лицо Лейлы превратилось в маску.

На мужчине был жилет цвета хаки с несколькими карманами. Именно эта деталь привлекла внимание Лейлы раньше остальных. Она подумала, что такая вещь может пригодиться разве что фотожурналисту или человеку, которому есть что скрывать. Что-то в его поведении напомнило Лейле о медузе, но не той, что плавает в море, а той, что сидит под стеклянным колпаком, — прозрачные щупальца теснятся в ограниченном пространстве. Казалось, его ничто не держит и его тело — пассивная масса, подчиняющаяся каким-то иным законам прочности, масса, способная в любой момент принять текучую форму.

Положив ладони на стол и подавшись вперед всем своим неимоверным корпусом, Гадкая Ма подмигнула посетителю:

— Вот она, мой паша, — Текила Лейла! Одна из самых лучших у меня.

— Ее так зовут? Почему вы ее так называете?

Он окинул Лейлу взглядом с головы до ног.

— Потому что она беспокойная, вот почему. Она спешит жить. А еще она жизнерадостная — жадно закусывает кислым или горьким, опрокидывая рюмки с текилой. Я сама ее так назвала.

Мужчина невесело рассмеялся:

— Тогда она прекрасно подойдет мне.

Наверху, в той же самой комнате, где всего несколько минут назад она рассматривала идеальную фигуру Софи Лорен в белом кружевном платье, Лейла сняла с себя одежду. Цветастую юбку и топик от бикини — розовую штуковину в рюшках, которую она ненавидела. Потом стянула чулки, но бархатные тапочки снимать не стала, словно в них она чувствовала себя безопаснее.

— Как ты думаешь, эта сучка следит за нами? — тихо пробормотал мужчина.

— Что? — Лейла удивленно посмотрела на него.

— Хозяйка снизу. Она наверняка следит за нами.

— Разумеется, нет.

— Посмотри, вон! — Он указал на щель в стене. — Видишь ее глаз? Видишь, как он двигается? Дьяволица!

— Там ничего нет.

Он прищурился — его взгляд заволокли ненависть и злость.

— Ты работаешь на нее, с чего я должен тебе верить? Ты служанка дьявола.

Внезапно Лейле стало страшно. Она сделала шаг назад, откуда-то из живота поднималась дурнота. Лейла понимала, что в этой комнате

она осталась один на один с душевнобольным человеком.

— Шпионы следят за нами.

— Поверь, тут никого нет, — успокаивающим тоном произнесла Лейла.

— Заткнись! Глупая сучка, ты ничего не знаешь! — проревел он, а потом снова понизил голос: — Наш разговор записывают. Они повсюду развесили камеры.

Он принялся постукивать по своим карманам, а речь его превратилась в неразличимое бормотание. Он вынул небольшой пузырек. Когда мужчина вытащил пробку, она прозвучала словно сдерживаемый стон.

Лейла испугалась. В замешательстве она двинулась к нему, чтобы разглядеть содержимое бутылки, а потом передумала и попятилась назад, в сторону двери. Если бы не изящные тапочки, которые она так обожала, ей бы удалось сбежать быстрее. Она споткнулась, потеряла равновесие, и жидкость, которой он плеснул на нее всего секунду назад, угодила в спину.

Серная кислота. Он собирался вылить остаток ей в лицо, но Лейле удалось выскочить в коридор, пусть даже кислота сжигала ее плоть. Боль была ни с чем не сравнимая. Не в силах дышать, она

прислонилась к стене, точно брошенная швабра. Голова кружилась, но все равно она из последних сил потащилась в сторону лестницы и там вцепилась в перила, чтобы не упасть. Когда наконец у нее получилось издать звук, яростный и одичалый, ее голос словно надломился, оглашая все комнаты борделя.

Там, куда пролилась серная кислота, на полу осталась дыра. После того как ее выпустили из больницы — рана так никогда и не зажила полностью, — Лейла часто посиживала возле этой дырки. Она водила пальцем по ее краям, ощупывая неопределенную форму и неровные границы, словно у них был какой-то общий секрет — у нее и половицы. Если долго смотреть на темную дырку, она начинает кружиться, словно вихрики на поверхности кофе с кардамоном. Это как тогда, когда ребенком она видела движущегося оленя на ковре, теперь она видела вращения кислотной дырки.

— Он мог бы попасть тебе в лицо, — сказала Гадкая Ма. — Ты в рубашке родилась.

Клиенты соглашались с этим мнением. Они говорили, мол, Лейле страшно повезло, что не пришлось прекратить работу из-за увечья. Теперь ее популярность увеличилась — спрос на

нее значительно возрос. Она была проституткой с историей, и, похоже, мужчинам это нравилось.

После этого нападения количество полицейских на улице борделей возросло — примерно на две недели. Всю весну 1966 года насилие лишь усиливалось во всех уголках города: сталкивались политические группировки, кровь смывалась кровью, студентов убивали в университетских кампусах, плакаты на улицах становились все яростнее, их тон — более настойчивым, и вскоре дополнительных полицейских перевели куда-то еще.

Довольно долго после этого нападения Лейла изо всех сил старалась избегать других женщин, бóльшая часть которых была старше. Они постоянно раздражали ее своими колючими словами и сардоническим юмором. Она давала сдачи, когда это было необходимо, обычно же предпочитала помалкивать. На этой улице женщины частенько страдали депрессией, разрушавшей их души так же, как огонь — древесину. Хотя никто никогда не употреблял этого слова. «Убогая» — так они говорили. Не о себе, а обо всем остальном. «Еда убогая. Сумма убогая. Ноги болят, это убогие туфли».

Только с одной женщиной Лейла любила поговорить. С арабкой неопределенного возраста,

такой коротышкой, что ей приходилось покупать одежду в детских отделах. Ее звали Зейнаб-122, в зависимости от настроения она писала свое имя как Зайнаб, Зейнаб, Зайнеб, Зейнеп. Она заявляла, что способна написать свое имя 122 различными способами. Еще это число имело отношение к ее росту — ровно 122 сантиметра. Гном, Пигмей или Мальчик-с-пальчик — ее называли так или еще хуже. Она настолько устала оттого, что на нее глазеют и втайне — а то и открыто — задаются вопросом, какого же она роста, что в качестве вызова она добавила это число к своему имени. Ее предплечья были непропорциональны по отношению к телу, пальцы — пухлыми и очень короткими, а шеи почти не было. Широкий лоб, заячья губа и широко расставленные умные шиферно-серые глаза — вот самые заметные черты ее лица. Она бегло говорила по-турецки, но с гортанным акцентом, который выдавал ее происхождение.

Мытье полов, оттирание туалетов, уборка комнат пылесосом — Зейнаб-122 много работала, даже просто помогая проституткам в их нуждах. Все это было для нее нелегко, потому что у Зейнаб были не просто слишком короткие конечности, а еще и искривление позвоночника, из-за которого

ей было тяжело даже подолгу стоять.

В свободное время Зейнаб-122 предсказывала судьбу, но лишь тем, кто ей нравился. Дважды в день она бессменно заваривала кофе для Лейлы. После того как та его выпивала, Зейнаб-122 разглядывала осадок на дне чашки, предпочитая говорить не о прошлом и не о будущем — только о настоящем. Она предсказывала лишь то, что произойдет в течение недели, в крайнем случае в течение нескольких месяцев. Однако как-то раз Зейнаб-122 нарушила собственное правило.

— Сегодня в твоей чашке полно сюрпризов. Я никогда не видела ничего подобного.

Они сидели на кровати бок о бок. На улице где-то в отдалении играла задорная мелодия, напомнившая Лейле о грузовичках с мороженым из ее детства.

— Смотри, орел сидит высоко на горе, — сказала Зейнаб-122, поворачивая чашку. — Вокруг его головы нимб. Хороший знак. А вон там ворон.

— И это плохой знак?

— Не обязательно. Это признак конфликта. — Зейнаб-122 еще раз повернула чашку. — Ах, боже мой! Ты должна взглянуть на это!

Лейла с любопытством подалась вперед и, прищурившись, начала разглядывать содержимое

чашки. Но обнаружила лишь беспорядок из коричневых пятен.

— Ты познакомишься с кем-то. Высокий, стройный, красивый… — Зейнаб-122 говорила теперь быстрее, ее слова напоминали искры от костра. — Дорожка из цветов означает мощный роман. Он держит кольцо. О боже, ты выйдешь замуж!

Лейла выпрямила спину, осмотрела свою кисть. Ее глаза сузились, словно она смотрела на пылающее солнце вдалеке или на будущее, до которого дотянуться просто невозможно. Когда она снова заговорила, голос ее звучал тускло.

— Ты смеешься надо мной.

— Клянусь, нет!

Лейла колебалась. Если бы такое сказал кто-нибудь другой, она не задумываясь вышла бы из комнаты. Но эта женщина ни разу не сказала ничего плохого о других, пусть даже ее саму постоянно высмеивали.

Зейнаб-122 склонила голову набок, словно искала подходящие слова в турецком языке.

— Прости, если я говорила слишком взволнованно — не могла иначе. Ну то есть… много лет я не видела предсказания, в котором было бы столько надежды. Что вижу, то и говорю.

— Это просто кофе, — пожала плечами Лей-

ла. — Дурацкий кофе.

Зейнаб-122 сняла очки, протерла их платком, а затем снова надела.

— Ты не веришь мне, ну и ладно.

Лейла сидела неподвижно, пристально глядя куда-то за пределы комнаты.

— Верить кому-то — это очень серьезно, — сказала она и на мгновение снова превратилась в девочку из Вана, которая стояла на кухне и смотрела, как женщина, давшая ей жизнь, шинкует салат и дождевых червяков. — Нельзя вот так просто говорить. Верить — значит сильно вкладываться.

Зейнаб-122 пристально посмотрела на нее — это был долгий любопытный взгляд.

— Что ж, тут не могу не согласиться. Так почему бы не принять мои слова всерьез? В один прекрасный день ты уйдешь отсюда в свадебном платье. Пусть эта мечта дает тебе силы.

— Мне не нужны мечты.

— Ничего глупее я от тебя не слышала, — ответила Зейнаб-122. — Всем нам нужны мечты, *хабиби*, дорогая моя. В один прекрасный день ты всех удивишь. Все будут говорить: «Смотрите, Лейла сдвигает горы! Сначала она перешла из одного борделя в другой, у нее достало смелости,

чтобы уйти от ужасной хозяйки. А теперь она и вовсе уходит с улицы. Какая женщина!» После того как ты уйдешь, о тебе будут говорить еще долго. Ты всем подаришь надежду.

Лейла набрала воздуха в легкие, но так ничего и не сказала.

— И когда настанет этот день, мне бы очень хотелось, чтобы ты прихватила меня с собой. Давай уйдем вместе. К тому же тебе понадобится человек для несения шлейфа. Он будет длинный.

Помимо собственной воли Лейла не смогла сдержаться, и тень улыбки тронула уголки ее губ.

— Когда я училась в школе… ну, в Ване… я видела фотографии принцессы-невесты. Боже, она была великолепна! У нее было невероятно красивое платье, а шлейф тянулся на двести пятьдесят футов, представляешь?

Зейнаб-122 двинулась к раковине. Она встала на цыпочки и включила воду. Это она знала от своего учителя: если кофейные частички сообщают хорошие новости, их тут же надо смыть. Иначе судьба наступит на них и все разворошит, как это часто бывает. Она медленно вытерла чашку и поставила ее на подоконник.

— Она была похожа на ангела. И стояла там,

перед своим дворцом, — продолжала Лейла. — Саботаж вырезал фотографию и отдал мне на хранение.

— Кто такой Саботаж? — спросила Зейнаб-122.

— Ох… — Лицо у Лейлы помрачнело. — Он был мне очень близким другом.

— Так что про эту невесту? — напомнила Зейнаб-122. — Ее шлейф был длиной двести пятьдесят футов, так ты сказала? Пустяки, *хабиби*. Я ведь говорю тебе: пусть принцессой ты не станешь, но если то, что я видела в твоей чашке, правда, платье твое будет еще красивее.

Зейнаб-122, прорицательница, оптимистка, верующая, для нее слово «вера» было синонимом слова «любовь», а потому Бог мог быть для нее только Возлюбленным.

Зейнаб-122, одна из пяти.

История Зейнаб

Зейнаб родилась в тысяче километров от Стамбула, в глухой горной деревушке на севере Ливана. Несколько поколений живших там суннитских семей постоянно роднились друг с другом, и карликовость была так привычна в этой деревне, что даже частенько привлекала любопытных посетителей из внешнего мира — журналистов, ученых и прочих. Братья и сестры Зейнаб были среднего роста, когда приходило время, они один за другим женились и выходили замуж. Из всех детей в ее семье лишь она унаследовала заболевание родителей — оба они были низкорослы.

Жизнь Зейнаб переменилась, когда в дверь постучал фотограф из Стамбула и попросил позволения сделать ее портрет. Этот молодой человек путешествовал по региону, документируя неизвестную жизнь на Ближнем Востоке. Он отчаянно искал кого-то вроде нее.

— Ничто не сравнится с женщиной-карликом, — робко улыбнувшись, сообщил он. — Арабская женщина-карлик — двойная загадка для жителей Запада. И я хочу, чтобы выставка про-

ехала по всей Европе.

Зейнаб и не ждала, что ее отец согласится на это, однако он дал добро — при условии, что их фамилия и место жительства останутся неизвестными. День за днем она позировала фотографу. Он оказался талантливым художником, хотя знатоком человеческой души уж точно не был. Молодой человек не замечал, как на щеках его модели вспыхивал румянец, когда он входил в помещение. Отсняв более ста кадров, он с большим удовлетворением уехал, пообещав, что лицо Зейнаб станет центром его выставки.

В том же году Зейнаб, чье здоровье все ухудшалось, вместе со старшей сестрой отправилась в Бейрут и некоторое время прожила в столице. Именно там, в сени горы Саннин, между бесконечными визитами в больницу, опытный предсказатель, проникнувшись симпатией к девушке, научил ее древнему искусству тассеографии — гаданию, основанному на чтении по оставшимся на дне чаинкам, винному и кофейному осадку. Зейнаб впервые в жизни ощутила, что ее необычная конституция способна сослужить ей хорошую службу. Похоже, людям было особенно интересно, когда будущее им предсказывала женщина-карлик, словно благодаря небольшому

росту она каким-то особым образом была связана со сверхъестественным. На улице ее могли поддразнивать или жалеть, а вот в уединении собственного кабинета она была уважаема. И это ей нравилось. Она оттачивала свое искусство.

Благодаря своему призванию Зейнаб могла зарабатывать деньги. Немного, однако и это давало ей надежду. Правда, надежда — опасный реагент, способный спровоцировать цепную реакцию в человеческой душе. Устав от навязчивых взглядов и не имея надежды ни выйти замуж, ни найти работу, Зейнаб давным-давно считала свое тело проклятием. Как только ей удалось скопить достаточно денег, она позволила себе помечтать о том, как можно было бы все это бросить. Она поедет туда, где можно создать себя заново. Разве сказки, которые ей рассказывали с раннего детства, не несли в себе одну и ту же мораль? Ты способен перейти пустыню, взобраться на гору, переплыть океан и победить великана, если у тебя в запасе есть хоть крупица надежды. Герои этих сказок были исключительно мужчинами и вовсе не с нее ростом, но это не имело значения. Они отважились — отважится и она.

После возвращения домой Зейнаб несколько недель говорила со своими стареющими родите-

лями в надежде, что убедит их и те позволят ей уехать на поиски собственного пути. Всю жизнь она была послушной дочерью, поэтому уехать за границу или куда бы то ни было без их благословения она не могла. Если бы они запретили, она осталась бы дома. Братья и сестры категорически возражали против идеи Зейнаб, все они считали это чистейшей воды безумием. Однако Зейнаб была непреклонна. Как они могут понять, что чувствует она в глубине души, если Аллах создал их совершенно другими? Откуда им знать, каково быть коротышкой, изо всех сил цепляющейся за край общества?

В итоге отец понял дочь лучше всех остальных.

— Мы с матерью стареем. Последнее время я задаюсь вопросом: что ты будешь делать одна, когда мы уйдем? Разумеется, сестры сумеют позаботиться о тебе. Но я-то знаю о твоей гордыне. Я всегда хотел, чтобы ты вышла замуж за человека твоего роста, но этого не случилось.

Зейнаб поцеловала ему руку. Вот бы объяснить отцу, что замужество не ее судьба, что так часто по ночам, положив голову на подушку, она видела ангелов-странников, Дардаила и никогда не могла точно сказать, сон это был или видение;

возможно, дом ее совсем не там, где она родилась, а там, где она решит умереть, что с остатками своего здоровья, с годами, которые отпущены ей на земле, она хочет сделать то, что никто из ее родных до этого не делал, и стать одной из странников.

Отец глубоко вздохнул и опустил голову, словно слышал все ее доводы.

— Если тебе нужно ехать, — сказал он, — езжай, *я рухи,* душа моя. Найди друзей, хороших друзей. Верных. Никто не сможет выжить один, разве что Всемогущий Бог. И помни: по пустыне жизни лишь дурак путешествует один, умный же — с караваном.

Апрель 1964 года. На следующий день после провозглашения новой конституции, в которой Сирия называлась Демократической Социалистической Республикой, Зейнаб прибыла в город Кассаб. При помощи одной армянской семьи она перешла границу Турции. Девушка стремилась в Стамбул, хоть и сама не знала почему, если не считать те давние мгновения, тайные желания. Лицо фотографа до сих пор хранилось у нее в подсознании и пробуждало воспоминания о единственном мужчине, которого она любила. Она пряталась среди картонных коробок в задней

части грузовика, и ее терзали страшные мысли. Каждый раз, когда водитель жал на тормоза, Зейнаб опасалась, что произойдет нечто ужасное, однако в этом путешествии на удивление ничего не случилось.

Впрочем, найти работу в Стамбуле было непросто. Никто не хотел брать ее. Не зная языка, Зейнаб не могла заниматься предсказаниями. Спустя неделю поисков ее наняла парикмахерская под названием «Сеченые концы». Работа была тяжелой, зарплаты едва хватало, а хозяин оказался недобрым. Зейнаб была не в силах ежедневно и подолгу стоять на ногах, а потому страдала от невыносимой боли в спине, но продолжала работать. Проходили месяцы, а потом и год миновал.

Одна постоянная клиентка, плотная дама, которая раз в несколько недель красила волосы в разные светлые оттенки, полюбила Зейнаб.

— Почему бы тебе не начать работать у меня? — спросила однажды женщина.

— А какое у вас заведение? — поинтересовалась Зейнаб.

— Ну, это бордель. И перед тем как ты начнешь возражать или чем-нибудь запустишь мне в голову, позволь разъяснить: у меня приличное место.

С именем и легальное. Наша история уходит во времена Османской империи, только никому не рассказывай. Бывает, некоторые не хотят об этом слышать. Так или иначе, если ты перейдешь ко мне, я устрою, чтобы к тебе нормально относились. Ты будешь делать ту же работу, что и здесь, — убираться, варить кофе, мыть чашки… Ничего больше. Но я буду больше платить.

Вот так Зейнаб-122, сменившая высокие горы Северного Ливана на низкие холмы Стамбула, вошла в жизнь Текилы Лейлы.

Девять минут

На девятой минуте воспоминания Лейлы одновременно замедлились и вышли из-под контроля: фрагменты жизни принялись кружиться у нее в голове, словно в экстатическом танце, будто бы рой улетающих пчел. На этот раз она вспомнила Д/Али, и мысли о нем потянули за собой вкус шоколадных конфет с неожиданными начинками: карамель, вишневая паста, пралине на лесном орехе…

Июль 1968 года. Стояло долгое знойное лето, солнце пекло асфальт, и воздух казался липким. Ни дуновения ветерка, ни мимолетного ливня, ни единого облачка в небе. Чайки замерли на крышах домов, не отрывая взгляда от горизонта, словно ожидая возвращения призрачных вражеских армад, сороки восседали на магнолиях, оглядывая округу в поисках чего-то блестящего, но в итоге воровали они редко — слишком уж лень было им летать в такую жару. Неделю назад прорвало трубу и грязной водой залило улицы к югу — до самого Топхане, тут и там остались лужи, в которых ребятня пускала бумажные кораблики. Несобранный мусор испускал запах

тухлятины. Проститутки жаловались на вонь и мух. Правда, никто не ждал, что жалобы подействуют. Никто не думал, что трубу скоро починят. Придется ждать, как ждали они и многого другого в этой жизни. И все же, к немалому всеобщему удивлению, однажды утром они проснулись от громких звуков: рабочие вскрывали улицу и латали неисправную трубу. Но и это не все. Работяги вставили недостающие камни в мостовую и покрасили ворота у входа на улицу борделей. Теперь ворота стали темно-зелеными, оттенка вчерашней чечевицы, — такой цвет могли выбрать только сотрудники официальных властей, которые очень торопились закончить работы.

В итоге проститутки оказались правы в своих подозрениях, что именно официальные власти стояли за всей этой бешеной активностью. Причина ее вскоре стала очевидна: прибывали американцы. Шестой флот направлялся в Стамбул. Авианосец весом 27 тысяч тонн собирался бросить якорь в проливе Босфор и принять участие в операциях НАТО.

Эта новость дрожью восторга прокатилась по улице борделей. Вскоре на берег сойдут сотни матросов с хрустящими долларами в карманах, и многим из них после стольких дней вдали от

дома, несомненно, понадобится женская ласка. Гадкая Ма была просто счастлива. Она повесила на дверь вывеску «Закрыто» и заставила всех засучить рукава. Лейла и все остальные женщины взяли в руки швабры, веники, тряпки для пыли, губки — любые принадлежности для уборки, которые только можно было обнаружить в доме. Они натирали до блеска дверные ручки, оттирали стены, мели полы, мыли окна и красили дверные рамы в цвет белой яичной скорлупы. Гадкая Ма хотела бы перекрасить весь дом, однако профессиональных маляров нанимать ей было неохота, так что пришлось согласиться на любителей.

Тем временем по другим районам города тоже прокатилась суматошная волна. Муниципалитет Стамбула, стремясь представить американцам турецкое гостеприимство, украсил улицы гирляндами цветов. Были развешены тысячи флагов, и теперь они беспорядочно торчали из окон машин, свисали с балконов и оград палисадников. «НАТО — безопасность, НАТО — мир», — гласил транспарант на стене роскошной гостиницы. Когда загорались все огни, которые теперь починили и обновили, свежевымытый асфальт отражал их золотистый свет.

В день прибытия Шестого флота прозвучал са-

лют из двадцати орудий. Примерно в то же самое время, чтобы окончательно удостовериться в отсутствии неприятностей, полицейские обыскали городок Стамбульского университета. Им нужно было отловить всех левых студенческих лидеров и посадить их за решетку на время пребывания флота в городе. Вооружившись пистолетами и размахивая палками, они врывались в столовые и студенческие комнаты, стук их сапог был ритмичен, словно трещание цикад. Однако студенты повели себя неожиданно: они стали сопротивляться. В итоге противостояние получилось жестоким и кровавым — тридцать студентов арестовали, пятьдесят избили до полусмерти, а одного убили.

Тем вечером Стамбул выглядел маняще-прекрасным, но глубоко взволнованным, словно женщина, нарядившаяся для вечеринки, на которую уже передумала идти. В воздухе повисло все возрастающее напряжение. Многие спали лишь урывками, с волнением ожидая наступления дня и опасаясь худшего.

Следующим утром, когда еще роса поблескивала на цветах, которые только-только посадили в честь американских гостей, на улицы вышли тысячи протестующих. Людская волна, поющая

революционные гимны, двинулась в сторону площади Таксим. Перед дворцом Долмабахче, домом шести знаменитых османских султанов и их безымянных наложниц, процессия внезапно остановилась. На мгновение воцарилась неловкая тишина — некая пауза, когда вся толпа затаила дыхание, ожидая неизвестно чего. А затем один студенческий лидер, схватив мегафон, проорал во всю глотку по-английски:

— Yankee, go home!

И вся толпа, словно от разряда молнии, принялась хором скандировать:

— Yankee, go home! Yankee, go home!

Американские матросы, сошедшие на берег с самого утра, бродили вокруг, собираясь осмотреть старинный город, сделать фотографии и купить сувениры. Поначалу, заслышав эти звуки вдалеке, они не обратили на них особого внимания, но потом завернули за угол и нос к носу столкнулись с разгневанными демонстрантами.

Зажатые между этим маршем протеста и водами Босфора, матросы, разумеется, выбрали последние и нырнули прямиком в море. Одни поплыли прочь и потом были спасены рыбаками, а некоторые остались у самого берега — этих вытаскивали прохожие, когда демонстрация

уже завершилась. Еще до исхода дня командир Шестого флота решил, что оставаться здесь небезопасно, а потому следует покинуть Стамбул раньше, чем планировалось.

А тем временем в борделе Гадкая Ма, купившая всем своим девочкам бикини-топы и юбки-хулы и приготовившая вывеску на ломаном английском: «Welcome Jons», прямо-таки пылала от гнева. Она всегда недолюбливала левых, а теперь и вовсе их возненавидела. Кем они себя возомнили, черт возьми, взяли и подрезали ей бизнес! Вся эта покраска, уборка и натирка полов была впустую. По ее мнению, коммунизм сводился именно к этому — к основательной порче результатов честного, тяжелого людского труда! Не для того она упорно вкалывала всю свою жизнь, чтобы горстка тупых радикалов пришла и объявила ей, что теперь она должна делиться своими кровно заработанными с оравой бездельников, бродяг и убогих. Нет уж, спасибо, она этого никогда не сделает. Решив пожертвовать денег любому антикоммунистическому движению в этом городе, пусть даже самому незначительному, Гадкая Ма еле слышно пробормотала какое-то проклятие и сменила вывеску на «Открыто».

Когда стало ясно, что американские матросы

не появятся, проститутки расслабились. Лейла сидела на кровати в своей комнате, скрестив ноги, положив на них стопку писчей бумаги и постукивая ручкой по щеке. Она надеялась, что ей удастся потратить немного времени на себя. Она написала:

Дорогая Налан!

Я тут поразмыслила о том, что ты сказала недавно об уме домашних животных. Ты сказала, что мы убиваем их, едим и считаем, что гораздо умнее их, однако никогда не задумываемся о том, что совсем не понимаем их.

Ты говорила, что коровы узнаю́т тех людей, которые причинили им вред в прошлом. Овцы тоже узнаю́т нас по лицу. Но я задаюсь вопросом, есть ли для них смысл помнить столько всего, раз они не могут ничего изменить?

Ты говорила, что козы отличаются от других животных. Пусть они легко сердятся, зато быстро забывают. Может, мы, люди, точно так же, как овцы и козы, бываем двух типов: те, кто никогда не забывает, и те, кто умеет прощать…

Вздрогнув, Лейла потеряла мысль, ее отвлек пронзительный звук, и она замерла. Гадкая Ма кричала на кого-то. И без того взбешенная хозяй-

ка, казалось, кипела от злости.

— Чего ты хочешь, сынок? — кричала она. — Просто скажи, что тебя привело сюда!

Выйдя из комнаты, Лейла пошла вниз посмотреть, в чем дело.

У двери стоял молодой человек. Его лицо раскраснелось, а длинные темные волосы растрепались. Дыхание у него было прерывистое, словно он только что мчался как угорелый. Всего раз взглянув на него, Лейла поняла, что он наверняка один из левых демонстрантов с улицы, вероятно университетский студент. Когда полиция перегородила улицы, арестовывая людей направо и налево, он, наверное, оторвался от процессии и рванул в какой-нибудь переулок, но в итоге оказался у входа на улицу борделей.

— Я в последний раз спрашиваю тебя, прекрати испытывать мое терпение. — Гадкая Ма нахмурилась. — Какого черта тебе здесь нужно?! А если тебе ничего не нужно, прекрасно, проваливай! Нельзя же просто стоять здесь как пугало. Говори!

Молодой человек осмотрелся. Он крепко обхватил себя руками, словно таким образом пытался успокоиться. Именно этот жест тронул сердце Лейлы.

— Милая Ма, думаю, он пришел ко мне, — сказала Лейла, не спускаясь с лестницы.

Молодой человек удивленно посмотрел вверх и увидел ее. Нежнейшая улыбка приподняла уголки его рта.

В то же время Гадкая Ма сверлила незнакомца взглядом из-под полуопущенных век, ожидая, что он скажет.

— Э-э-э… да… верно… На самом деле я пришел поговорить с этой дамой. Спасибо.

Гадкая Ма зашлась от смеха:

— «На самом деле я пришел поговорить с этой дамой? Спасибо?» Верно, сынок. Ты с какой планеты к нам прибыл?

Молодой человек моргнул. Он вдруг смутился, провел ладонью по виску, словно ему нужно было подумать, чтобы дать ответ.

Гадкая Ма посерьезнела и перешла на деловой тон:

— Так ты хочешь ее или нет? У тебя есть деньги, мой паша? Потому что она дорогая. Одна из лучших.

В этот самый момент дверь распахнулась и вошел какой-то клиент. В дневном свете, что попал внутрь с улицы, Лейла какое-то время не могла разглядеть лица юноши, а потом поняла:

он кивает и выражение покоя разливается по его встревоженному лицу.

Оказавшись наверху, в ее комнате, он с большим интересом огляделся, словно отмечая каждую деталь: трещины в раковине, шкаф, который как следует не закрывался, занавески, изрешеченные дырами от сигарет. В конце концов он оглянулся и увидел, что Лейла медленно раздевается.

— Ой, нет-нет, прекрати! — Он быстро отступил на шаг, склонил голову набок и поморщился; отражавшийся в зеркале дневной свет подчеркнул морщины; смутившись от собственной вспышки, он взял себя в руки. — Ну то есть… пожалуйста, оставь одежду на себе. Я тут не совсем для этого.

— А чего же ты тогда хочешь?

Он пожал плечами:

— Может, просто посидим и поболтаем?

— Ты хочешь поболтать?

— Да, мне бы очень хотелось с тобой познакомиться. Бог мой, я даже не знаю, как тебя зовут. Меня — Д/Али, имя ненастоящее, но кому оно нужно, настоящее-то?

Лейла удивленно уставилась на него. В мебельной мастерской на другой стороне двора кто-то запел, песня была ей неизвестна.

Д/Али упал на кровать и подтянул ноги, ловко скрестил их и сел, положив щеку на ладонь.

— И честное слово, не стоит беспокоиться, если тебе не очень-то хочется разговаривать. Я могу просто скрутить для нас папироску. И мы выкурим ее в тишине.

Д/Али. Его волосы цвета воронова крыла волнами падали на воротник, его беспокойные изумрудные глаза становились светлее, когда он был задумчив или озадачен. Он был сыном иммигрантов, плодом диаспор и вынужденных перемещений. Турция, Германия, Австрия, снова Германия и опять Турция — следы его прошлого проявлялись тут и там, словно затяжки на кардигане, который то и дело цеплялся за крючки и гвоздики. До встречи с ним Лейла не знала человека, который бы жил в стольких местах, но нигде не чувствовал себя как дома.

Если верить его немецкому паспорту, по-настоящему его звали Али.

В школе над ним год за годом насмехались, а затем тут и там его оскорбляли и даже побивали расисты. А потом один из них узнал о его страсти к искусству. Это позволило им еще больше смеяться над ним каждое утро, стоило только Д/Али войти в класс. *Вот пришел мальчик по имени*

Али… Какой же он идиот, он считает себя Дали! Все это ранило его до глубины души — это бесконечное глумление и колкости. Но как-то раз, когда новый учитель попросил каждого ученика представиться, он вскочил из-за парты и произнес со спокойной и уверенной улыбкой:

— Здравствуйте, меня зовут Али, но гораздо больше мне нравится, когда меня называют Д/Али.

С этого момента презрительные замечания прекратились, а вот он, упрямый и независимый, начал использовать и даже любить имя, которое когда-то казалось обидной кличкой.

Его родители оба выросли в деревне на берегу Эгейского моря и в начале 1960-х переехали из Турции в Германию как гастарбайтеры, то есть гостевые работники, которых пригласили потрудиться, а затем, когда нужда в них отпадала, попросили собрать вещички и уехать. Первым, в 1961 году, переехал отец, он жил там в комнате хостела вместе с десятью другими рабочими, не умевшими ни читать, ни писать. Ночью при тусклом свете грамотные рабочие писали письма за тех, кто был безграмотен. Спустя месяц проживания в таком тесном помещении каждый узнал все о других — начиная от семейных тайн

и заканчивая непроходимостью кишечника.

Спустя год к отцу переехала жена, Д/Али и его две сестры-близняшки. Поначалу все складывалась совсем не так, как они надеялись. После неудачной попытки перебраться в Австрию семья вернулась в Германию. Заводу «Форд» в Кёльне нужны были рабочие, и они поселились поблизости от него — там, где улицы пахли асфальтом после дождя, дома выглядели совершенно одинаково, а старушка, жившая этажом ниже, при малейшем шуме из их квартиры звонила в полицию. Мама купила всем по паре мягких тапок, и они приучились говорить вполголоса. Они смотрели телевизор на минимальной громкости, а по вечерам никогда не включали музыку и не спускали воду в туалете — этого здесь тоже не терпели. В Кёльне родился младший брат Д/Али, и тут все они выросли, засыпая под ворчание Рейна.

Отец Д/Али, от которого тот унаследовал темные волосы и квадратный подбородок, часто рассуждал о переезде назад в Турцию. Когда им удастся скопить достаточно денег и закончить все дела в этой холодной и высокомерной стране, они снимутся и уедут. Он построит дом в своей деревеньке. Большой дом с бассейном и садом.

По вечерам они будут слушать гул долины и редкий крик голубя, и им больше не придется носить мягкие тапочки и говорить вполголоса. Чем больше проходило лет, тем изощреннее становились его планы возвращения. Родные уже не воспринимали это всерьез. Германия была их домом. Германия стала отечеством — пусть даже отец семейства не желал принимать этот факт.

К моменту поступления Д/Али в среднюю школу всем — и учителям, и соученикам — уже было понятно, что ему суждено стать художником. Однако его страсть к искусству никогда не поддерживалась в семье. Родители ничего не поняли даже тогда, когда любимая учительница мальчика пришла поговорить с ними. Д/Али так и не смог забыть чувство стыда, которое он испытал тогда: госпожа Кригер, женщина плотного телосложения, сидя на стуле и с трудом удерживая в руке крошечный стакан с чаем, пыталась объяснить родителям, что их сын и в самом деле очень талантлив, он сможет получить место в школе искусства и дизайна, если его к этому как следует подготовить. Д/Али наблюдал за отцом: тот слушал с улыбкой, которая так и не тронула его глаз, — он жалел немку с кожей цвета лосося и коротко остриженными волосами, рассказывав-

шей ему, как он должен поступить с собственным сыном.

Когда Д/Али было восемнадцать, его сестры пошли на вечеринку к подруге. Тем вечером случилось нечто очень нехорошее. Одна из двойняшек не вернулась домой, несмотря на то что ей разрешили пробыть в гостях лишь до восьми вечера. На следующее утро девочку обнаружили у шоссе без сознания. Ее срочно отвезли на «скорой» в больницу и попытались вывести из гипогликемической комы, которая наступила из-за избыточного употребления алкоголя. Ее так накачали лекарствами, что казалось, чуть было не вытеснили душу. Мама Д/Али скрывала эту историю от мужа — тот тогда ушел в ночную смену.

В маленьком городке и в любом иммигрантском сообществе слухи распространяются быстро — деревенька она и есть деревенька, несмотря на свои размеры. И в конце концов эта история дошла до отца. Словно шторм, обрушивший ярость на все пространство долины, он наказал свою семью. Это и стало последней каплей. Его дети должны вернуться в Турцию. Все. Родители останутся в Германии до пенсии, а юное поколение с этого момента будет жить у родственников в

Стамбуле. В Европе дочь растить невозможно, а уж тем более сразу двух дочерей. Д/Али должен был учиться в Стамбульском университете и хорошенько присматривать за сестрами и братом. Если случится что-то нехорошее, ответственность ляжет на его плечи.

И вот в девятнадцать лет он прибыл в Стамбул, изъясняясь на ломаном турецком, вел он себя как немец — и это невозможно было изменить. Он привык быть чужаком в Германии, но до переселения в Стамбул никогда не думал, что будет чувствовать себя так же, а то и хуже, в Турции. Выделял его даже не акцент и не то, что он часто вставлял в конец предложения ja и ach so![2] Дело было в выражении лица — он словно был постоянно недоволен и разочарован тем, что видел, что слышал, в чем не мог заставить себя участвовать.

Злость. Первые месяцы в столице его часто охватывали невероятные приступы злости — не на Германию и Турцию, скорее на принятый порядок, на то, как капиталистический режим разрушает семьи, на буржуев, которые питаются пóтом и кровью рабочих, на кривую систему,

---

[2] Примечания: 2
Да. Да ладно *(нем.). — Примеч. ред.*

из-за которой он везде оказывался чужаком. Учась в средних классах школы, юноша много читал о марксизме и всегда восхищался Розой Люксембург, отважной и умной женщиной, убитой в Берлине фрайкоровцами и брошенной в канал — тот, что безмятежно протекал по району Кройцберг, — туда Д/Али приходил несколько раз, а однажды даже тайно бросил в воду цветок. Розу для Розы. Однако лишь начав учиться в Стамбульском университете, он попал в группу убежденных левых. Его новые товарищи хотели разрушить существующие порядки и выстроить все заново, этого же хотел и Д/Али.

В общем, оказавшись у дверей Лейлы в июле 1968 года, он бежал от полиции, которая разгоняла демонстрацию против Шестого флота, от него разило слезоточивым газом и радикалистскими идеями, он был обладателем непростого прошлого и душевной улыбки.

— Как ты здесь оказалась? — часто спрашивали мужчины.

И каждый раз Лейла рассказывала разное: все зависело от того, что, по ее мнению, мужчина хотел услышать, — история, скорректированная под нужды клиента. Этот талант она переняла у Гадкой Ма.

Но в случае с Д/Али она бы такого делать не стала, да он и не спрашивал. Ему хотелось узнать о ней нечто иное: вкусны ли были завтраки в Ване, когда она была ребенком, какие давние зимние ароматы она отчетливее всего помнит? Если бы ей пришлось охарактеризовать города с помощью запахов, какой аромат подошел бы Стамбулу? Если бы свобода была блюдом, как бы она, по ее мнению, ощущалась на языке? А отечество? Казалось, Д/Али воспринимает мир через вкусы и ароматы, даже такие абстрактные понятия, как счастье и любовь. Со временем это превратилось в игру для двоих, в этакую валюту: они вспоминали какие-то важные моменты и переводили их во вкусы и запахи.

Наслаждаясь тембром его голоса, Лейла могла слушать Д/Али часами, и это никогда не надоедало. В его присутствии она ощущала легкость, какую не испытывала долгие годы. Ручеек надежды — Лейла думала, что она уже не способна на такие эмоции, — проникал в ее вены и заставлял сердце биться чаще. Это ощущение было сродни тому, что она испытывала в детстве, когда сидела на крыше дома в Ване и разглядывала пейзаж, — словно завтра не будет.

Самая большая загадка Д/Али в глазах Лейлы

— то, что с самого начала он обращался с ней как с равной, словно бордель был всего лишь аудиторией в университете, а она — студенткой, с которой он периодически сталкивался в полуосвещенных коридорах. Именно это больше всего сбивало ее с толку — неожиданное ощущение равенства. Разумеется, это была иллюзия, но Лейла ее очень ценила. Оказавшись на незнакомой территории, узнавая его, она заново узнавала и саму себя. Все замечали, как светились ее глаза, когда она его видела, но не многие понимали, что это волнение сопровождалось приступами вины.

— Тебе не стоит больше приходить сюда, — сказала однажды Лейла. — Тут нет ничего хорошего. Здесь сплошные несчастья, разве ты не видишь? Они заразительны для человеческой души. И не стоит думать, что ты выше этого, потому что это затягивает, это болото. Тут нет нормальных людей — ни одного. И ничего естественного тут тоже нет. Я больше не хочу, чтобы ты сидел со мной. Да и зачем ты приходишь так часто, если ты даже…

Она не закончила фразу, опасаясь, что он посчитает, будто она расстроена: он ведь так ни разу и не спал с ней, в действительности же это нравилось ей и вызывало уважение. Лейла

держалась за это, как за драгоценный подарок, который он ей вручил. Странное дело, но именно в отсутствие секса она позволяла себе думать о нем в этом ключе, время от времени она ловила себя на мысли о том, каково это — дотронуться до его шеи, поцеловать маленький шрамик на его подбородке.

— Я прихожу, потому что мне нравится видеться с тобой, вот и все, — сдержанно ответил Д/Али. — В этой извращенной системе я не знаю ни одного нормального человека.

Д/Али говорил: как правило, люди, слишком часто использующие слово «естественный», понятия не имеют о естестве матери-природы. Если рассказать им, что улитки, черви и черноморский окунь — гермафродиты, самцы морского конька могут рожать, рыба-клоун в середине жизни из самца превращается в самку, а самец-каракатица на самом деле трансвестит, они страшно удивятся. Тот, кто изучал природу, дважды подумает, прежде чем назвать что-то естественным.

— Прекрасно, но ты платишь столько денег. Гадкая Ма берет с тебя почасовую оплату.

— Ну да, берет, — печально ответил Д/Али. — Но давай на минуточку представим, что мы бы стали встречаться и либо я, либо ты платили бы

за развлечения. Куда бы мы ходили? В кино, в дорогой ресторан или на танцы…

— В дорогой ресторан! На танцы! — с улыбкой повторила Лейла.

— Я просто хочу сказать, что мы бы тратили деньги.

— Это другое. Твои родители пришли бы в ужас, узнай они, что деньги, которые они заработали тяжелым трудом, ты тратишь в подобном месте.

— Но родители не присылают мне никаких денег!

— Неужели? А я думала… Тогда как же ты оплачиваешь такое?

— Я работаю. — Он подмигнул.

— Где?

— Тут и там, повсюду.

— На кого?

— На революцию!

Лейла отвела встревоженный взгляд. И вот в очередной раз в своей жизни она разрывалась между чутьем и сердцем. Чутье подсказывало ей, что он не просто заботливый и нежный молодой человек, каким ей представляется, и с ним следует проявлять осторожность. Но сердце толкало ее вперед, как тогда, когда она новорожденным младенцем неподвижно лежала под слоем соли.

Так она прекратила возражать против его визитов. В какие-то недели он приходил каждый день, в другие — лишь по выходным. Сердце, сжимаясь, подсказывало ей, что по вечерам он частенько встречается со своими товарищами и их длинные темные тени ложатся на пустынные улицы, однако она ни разу не решилась спросить, чем они занимаются.

— Твой пришел! — орала снизу Гадкая Ма, когда он появлялся, и, если у Лейлы был клиент, Д/Али приходилось ждать на стуле у входа.

В подобные моменты Лейла чувствовала такой стыд, что ей хотелось умереть, — когда она приглашала его в свою комнату, где еще висел запах другого мужчины. Но если это и расстраивало Д/Али, он ни разу ничего не сказал. Тихая сосредоточенность сопровождала все его движения — он внимательно наблюдал за ней, словно она — центр вселенной. Его доброта проявлялась спонтанно и казалась безграничной. Каждый раз, когда он прощался и уходил ровно через час, в комнате воцарялась пустота и полностью поглощала ее.

Д/Али никогда не забывал принести какой-нибудь подарок — блокнотик для записей, бархатную ленту для волос, кольцо в форме

змеи, пожирающей собственный хвост, а иногда шоколадные конфеты с неизвестными начинками — карамелью, вишневым пюре, ореховым пралине… Они садились на кровать, открывали коробку и каждый раз подолгу выбирали, с какой конфеты начать, ну и конечно, говорили и говорили — целый час. Однажды он коснулся шрама на ее спине — того, что остался от кислоты. Он нежно провел пальцем по зажившей ране, которая разделила ее кожу, словно пророк — море.

— Я бы хотел нарисовать тебя, — сказал он. — Можно?

— Мой портрет? — Слегка покраснев, Лейла опустила глаза.

Когда она снова перевела на него взгляд, он улыбался, как она и предполагала.

В следующий раз Д/Али пришел с мольбертом и деревянным ящичком, в котором лежали кисти, масляные краски, мастихины, этюдники и олифа. Лейла позировала ему, сидя на кровати в алой асимметричной юбке и в расшитом бисером топе-бикини такого же цвета; она убрала волосы в мягкий пучок и слегка отвернула лицо от двери, словно хотела, чтобы та навеки осталась закрытой. До своего следующего прихода он оставил холст в гардеробе. Когда спустя примерно неделю

работа была завершена, Лейла с удивлением обнаружила, что на месте, где у нее был шрам, Д/Али нарисовал малюсенькую белую бабочку.

— Будь осторожна, — советовала ей Зейнаб-122. — Он художник, а все художники эгоисты. Он исчезнет, как только получит все, чего хотел.

Однако, ко всеобщему удивлению, Д/Али продолжал приходить. Шлюхи смеялись над ним, говоря, что он не способен на эрекцию и не умеет трахаться, а когда устали шутить на эту тему, стали жаловаться на запах скипидара. Понимая, что они завидуют, Лейла не обращала внимания. Но когда и Гадкая Ма начала ворчать, дважды заметив, что не хочет видеть у себя левых, Лейла начала волноваться, что больше не сможет встречаться с ним.

В один из этих дней Д/Али сделал Гадкой Ма неожиданное предложение.

— Этот натюрморт на стене… Ну, я не стремлюсь вас обидеть, однако эти нарциссы и лимоны кажутся дешевой подделкой. Вам не хотелось бы повесить сюда портрет?

— Вообще-то, здесь и висел портрет, — ответила Гадкая Ма, но не стала рассказывать, что это было изображение султана Абдул-Азиза. — Но мне пришлось отдать его.

— Ach so, жалко. Тогда, может быть, вам нужен новый? Давайте я нарисую вас — бесплатно?

Гадкая Ма хрипло рассмеялась, и складки жира на ее талии удивленно сжались.

— Не глупи. Я не красавица. Пойди найди какую-нибудь другую. — Но, помолчав, добавила неожиданно серьезно: — Ты не шутишь?

На той же неделе Гадкая Ма стала позировать Д/Али, держа свое вязание на уровне груди, чтобы продемонстрировать мастерство и одновременно скрыть двойной подбородок.

Когда Д/Али закончил работу, женщина на холсте выглядела куда счастливее и моложе оригинала. Теперь все проститутки хотели позировать ему, так что завидовать пришлось уже Лейле.

Для того, кто влюблен и кто находится в самом его центре, мир перестает быть прежним, с этого момента земной шар начинает вертеться быстрее.

Десять минут

Время продолжало тикать, а сознание Лейлы вызвало вкус ее любимой уличной еды, мидий во фритюре: мука, яичные желтки, пищевая сода, перец и мясо черноморских мидий.

Октябрь 1973 года. Босфорский мост, оказавшийся на четвертом месте по длине в мире, наконец-то был достроен после трех лет работ и по завершении публичной церемонии открыт для движения транспорта. На одном конце моста установили указатель: «Добро пожаловать на Азиатский континент», а на другом — еще один: «Добро пожаловать на Европейский континент».

С утра пораньше по этому случаю на обоих концах моста собралась толпа. Днем президент выступил с взволнованной речью, военные герои — некоторые были уже в преклонном возрасте, так как сражались в Балканские войны, в Первую мировую и Войну за независимость Турции, — в почтительной тишине стояли по стойке смирно, зарубежные сановники восседали на высокой платформе возле влиятельных политиков и провинциальных губернаторов, красно-белые флаги развевались на ветру повсюду, оркестр играл

национальный гимн, и все пели в полный голос; в воздух выпустили тысячи шариков, танцоры, исполнявшие *зейбек*, вращались по кругу, и их руки были расставлены на ширине плеч, словно они были орлами, парящими в вышине.

Позже, когда мост открыли для пешеходов, люди могли пройти от одного континента к другому. Удивительное дело — так много граждан избрали его местом для самоубийства, что в итоге пешеходов на этот живописный мост вовсе перестали пускать. Однако это случилось намного позже. Пока все еще были полны оптимизма.

День накануне был 50-й годовщиной Турецкой Республики. И это событие было грандиозным само по себе. А на следующий день стамбульцы отдавали должное этому чуду инженерной мысли длиной более пяти тысяч футов, детищу турецких рабочих и застройщиков и британских инженеров из компании «Кливленд бридж инжиниринг». Босфорский пролив, изящный и узкий, всегда считался шеей Стамбула, и теперь эту шею, словно пылающее ожерелье, украшал мост. Ожерелье сияло высоко над городом, нависая на том месте, где Черное море сливалось с водами Мраморного моря с одной стороны и Эгейское море встречалось со Средиземным — с другой.

Всю неделю в городе царило всеобщее ликование, и даже попрошайки на улицах улыбались, потому что в животе у них не было пусто. Теперь, когда азиатская Турция состояла в непрерывной связи с европейской Турцией, всю страну ожидало светлое будущее. Мост знаменовал собой начало новой эры. Теперь Турция, в общем-то, была в Европе, пусть даже кто-то с этим не соглашался.

Вечером над головой гремел салют, озаряя темное осеннее небо. На улице борделей девочки стояли на тротуарах группками, покуривая и разглядывая небо. У Гадкой Ма, считавшей себя до мозга костей патриоткой, в глазах блестели слезы радости.

— Какой потрясающий мост, огромный такой! — сказала Зейнаб-122, глядя вверх, на салют.

— Птичкам повезло, — отозвалась Лейла. — Представляешь, они могут усесться на него в любом месте. Чайки, сороки, голуби… А рыбы могут плавать под ним. Дельфины, пеламиды. Здорово! Разве не прекрасно вот так закончить свою жизнь?

— Разумеется, нет, — ответила Зейнаб-122.

— А мне кажется, прекрасно, — упрямилась

Лейла.

— Как ты можешь быть такой романтичной, дорогуша?! — наигранно рассмеялась Ностальгия Налан.

Время от времени она приходила навестить Лейлу, что нервировало Гадкую Ма. Закон ясно указывал на то, что трансвеститов в бордель нанимать нельзя, однако больше их никуда не брали, так что им приходилось искать работу на улице.

— А знаешь ли ты, сколько стоило это гигантское сооружение? И за чей счет его возвели? За наш!

— Иногда ты говоришь совсем как Д/Али, — улыбнулась Лейла.

— Кстати, о нем… — Движением головы Налан указала влево.

Повернувшись в сторону, Лейла увидела приближавшегося Д/Али: куртка его помялась, а сапоги тяжело стучали по тротуару, на плече висела тяжелая холщовая сумка, в руке торчал кулек, наполненный мидиями во фритюре.

— Это тебе, — сказал он, протягивая мидии Лейле.

Он знал, как она любила их.

Д/Али не произнес больше ни слова, пока они

не оказались наверху и не закрыли за собой дверь. Он опустился на кровать, потирая лоб.

— У тебя все в порядке? — спросила Лейла.

— Прости. Я так себе. Они чуть не поймали меня.

— Кто? Полиция?

— Нет, Серые волки. Фашисты. Группировка, контролирующая этот район.

— Этот район контролируют фашисты?

— В каждом районе Стамбула есть две враждующие группировки — их и наша. К сожалению, здесь они превосходят нас по численности. Но мы боремся.

— Расскажи, что случилось.

— Я завернул за угол, а там Серые волки, целая толпа, орут и смеются. Я решил, что они празднуют открытие моста. А потом они увидели меня…

— Они тебя знают?

— Ну, в каком-то смысле мы узнаём друг друга, а если нет, то по виду догадаться легко.

Одежда имела политический смысл. Как и волосы на лице, особенно усы. Националисты носили их кончиками вниз, в форме полумесяца. У исламистов они были маленькими и аккуратными. Сталинисты предпочитали усы как у моржа, они выглядели так, будто никогда не знали бритвы.

Д/Али всегда чисто брился. Лейла не знала, было ли это признаком его политических взглядов, а если и было, то каких именно. Она поймала себя на том, что пристально разглядывает его губы, розовые, правильной формы. Она никогда не смотрела на мужские губы и не делала этого специально, а потому это открытие озадачило ее.

— Они так за мной гнались, — продолжал Д/Али, не догадываясь, о чем она думает. — Я бы рванул быстрее, если бы у меня не было этого.

Лейла посмотрела на сумку:

— Что там?

Он показал ей. В сумке лежали сотни, если не тысячи листовок. Вытащив одну, Лейла принялась ее разглядывать. Полстранички занимал рисунок. Заводские рабочие в синих халатах под пятном света, падающего с потолка. Мужчины и женщины стояли бок о бок. Они выглядели уверенно, словно из другого мира, казались почти ангелами. Лейла выхватила еще одну листовку: шахтеры в ярко-синих комбинезонах, их лица покрывала сажа, а из-под шлемов смотрели большие мудрые глаза. Она быстро просмотрела все остальные листовки. На них были люди с решительными лицами и мощными мышцами, совсем не похожие на тех бледных и усталых рабочих,

которых она каждый день видела в мебельной мастерской. В коммунистическом мире Д/Али все были коренастыми, мускулистыми и здоровыми. Она вспомнила своего брата, и сердце сжалось в груди.

— Тебе не нравятся эти картинки? — спросил он, наблюдая за ней.

— Нравятся. Это ты их нарисовал?

Д/Али кивнул. Вспышка гордости озарила его черты. Работы Д/Али, отпечатанные в подпольной типографии, разошлись по всему городу.

— Мы разбрасываем их повсюду: в кафе, ресторанах, книжных магазинах, кинотеатрах… Но теперь я встревожен. Если бы фашисты увидели листовки, то забили бы меня до смерти.

— Может, оставишь сумку здесь? — спросила Лейла. — Я спрячу ее под кровать.

— Не могу, это опасно для тебя.

— Кому придет в голову обыскивать это место, дорогой мой? — тихо рассмеялась она. — Не волнуйся, я присмотрю за твоей революцией.

В ту ночь, когда двери борделя были заперты и весь дом погрузился в тишину, Лейла достала листовки. Большинство проституток на ночь расходились по домам, у них были престарелые родители и дети, о которых надо было заботиться,

и всего несколько женщин оставались в борделе. Чуть дальше по коридору кто-то громко храпел, а еще одна женщина что-то говорила во сне, голос у нее был слабый и просящий, хотя слова разобрать было сложно. Лейла снова села на кровать и начала читать: «Товарищи, будьте бдительны! США, немедленно прочь из Вьетнама! Революция началась. Диктатура пролетариата».

Она внимательно вчитывалась в слова, раздражаясь тому, что вся их мощь, их истинное значение по-прежнему ускользали от нее. Она помнила, с каким немым ужасом тетя смотрела на любой текст. Ее охватил приступ раскаяния. Почему в детстве ей так и не пришло в голову научить свою мать читать и писать?

— Мне хочется спросить тебя кое о чем, — сказала Лейла на следующий день, когда Д/Али снова пришел к ней. — Будет ли проституция существовать после революции?

Он непонимающе посмотрел на нее:

— Откуда такой вопрос?

— Мне стало интересно, что будет с нами, когда вы победите.

— С тобой и твоими друзьями ничего плохого не произойдет. Понимаешь, вы во всем этом не виноваты. Виноват капитализм. Нечеловеческий

строй, дающий прибыль загнивающему империализму, буржуазии и их сообщникам, которые пользуются слабыми и эксплуатируют рабочий класс. Революция защитит ваши права. Ты ведь тоже пролетарий, представительница рабочего класса, не забывай об этом.

— Но вы закроете это место или оно так и будет работать? И что станет с Гадкой Ма?

— Здешняя хозяйка — всего-навсего капиталистка-эксплуататорша, ничем не лучше богачей, которые купаются в шампанском. — (Лейла ничего не ответила.) — Слушай, эта женщина получает доход, используя твое тело. Твое и других. После революции ее ждет наказание — справедливое, разумеется. Но мы закроем все бордели и очистим все кварталы красных фонарей. Они станут заводами и фабриками. Проститутки и те, кто сейчас работает на улицах, станут заводскими рабочими или крестьянами.

— Ох, это понравится не всем моим друзьям, — покачала головой Лейла.

Прищурившись, она словно пыталась разглядеть будущее — как Ностальгия Налан в открытом платье и на каблуках сбегает с кукурузного поля, где ее заставляют работать.

Похоже, Д/Али подумал о том же. Он несколько

раз видел Налан и был под впечатлением от силы ее характера. Он не знал, что бы Маркс стал делать с такими людьми, как она. Да и Троцкий тоже. Д/Али не мог припомнить ни одного слова о трансвеститах, которые не хотят быть крестьянами, хотя книг он изучил немало.

— Я не сомневаюсь, что и для твоих друзей найдется подходящая работа.

Лейла улыбнулась, втайне наслаждаясь его страстной речью, однако слова, которые слетели с ее губ в ответ, не отражали этих эмоций.

— Как ты можешь верить во все это? Мне кажется, это похоже на фантазию.

— Это не фантазия. И не мечта. Это ход истории. — Д/Али скуксился и, похоже, обиделся. — Ты можешь заставить реку течь в другую сторону? Не можешь. История идет своим ходом в сторону коммунизма, неумолимо и логично. Рано или поздно он настанет, этот прекрасный день.

Увидев, как легко он расстроился, Лейла ощутила прилив любви к нему. Ее рука ласково опустилась на его плечо и удобно пристроилась там, словно воробышек в гнезде.

— Но если хочешь знать, у меня есть мечта. — Д/Али прищурился, не желая видеть лицо Лейлы в тот момент, когда она услышит его слова. — И

она о тебе.

— Ах, неужели? Какая?

— Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж.

Последовавшая за этим тишина была такой глубокой, что Лейла, не сводя глаз с Д/Али, слышала бормотание волн в порту — вода била по включившей двигатель рыбацкой лодке. Она попыталась вдохнуть, но ощущение было такое, словно воздух не дошел до легких, — так полна была грудь. А потом сработал будильник, и они оба поморщились. Недавно Гадкая Ма установила будильники в каждой комнате, чтобы по истечении часа у клиентов не было возможности остаться.

Лейла выпрямилась:

— У меня к тебе большая просьба. Пожалуйста, больше никогда не говори мне ничего подобного.

Д/Али посмотрел на нее:

— Ты злишься? Не надо.

— Послушай, есть такое, что ни в коем случае нельзя говорить в этом месте. Даже если ты не имел в виду ничего плохого, а я не сомневаюсь, что ты плохого не подразумевал. Но я хочу пояснить раз и навсегда: мне такие разговоры не нравятся. Мне они кажутся очень… неприят-

ными.

На мгновение Д/Али будто растерялся:

— Я просто удивляюсь, что ты так и не заметила этого.

— Не заметила чего? — Лейла отдернула от него руку, словно от огня.

— Что я люблю тебя, — ответил он. — С той самой минуты, когда я впервые увидел тебя… на лестнице… в тот день, когда приезжал Шестой флот… помнишь?

Лейла почувствовала, как краснеют ее щеки. Лицо горело. Ей хотелось, чтобы он ушел, не говоря ни слова, и больше не возвращался. Пусть несколько лет все могло быть прекрасно, теперь она понимала, как болезненны могут быть эти отношения.

После того как Д/Али ушел, она приблизилась к окну и, несмотря на строгие указания Гадкой Ма, раздвинула занавески. Лейла прижала щеку к оконному переплету и устремила взгляд на одинокую березу и мебельную мастерскую — из тамошнего вентиляционного отверстия валил дым. Она представила себе, как Д/Али шагает к порту, как обычно, торопливой и твердой походкой, и мысленно провожала его преданным и влюбленным взглядом, пока он не исчез в темном

переулке под каскадом салютов.

Всю ту неделю *газино,* концертные залы, и ночные клубы ломились от посетителей. Оживление в них принес праздничный оптимизм. В пятницу, после вечерней молитвы, Гадкая Ма отправила Лейлу на мальчишник, проходивший в особняке у Босфора. Всю ночь Лейла думала о Д/Али и его словах, и ее мучила такая необоримая подавленность, что она была не в силах подыгрывать и притворяться, казалась мучительно замедленной, заторможенной, словно ее только что вытащили из озера. Лейла ощущала, что хозяева недовольны ее работой и после наверняка пожалуются Гадкой Ма, и с горечью думала, что клоуны и проститутки не должны быть печальными, иначе кому они нужны?

Обратный путь она проделывала с большим трудом — ноги гудели от бесконечного стояния на высоких каблуках. Она умирала от голода, потому что ничего не ела со вчерашнего обеда. Никто даже не думал угощать ее на подобных вечеринках, а сама она никогда не просила.

Над крышами из красной черепицы и свинцовыми куполами вставало солнце. В воздухе чувствовалась свежесть, аромат надежды. Лейла проходила мимо еще спящих многоквартирных

домов. Впереди, в нескольких шагах от себя, она заметила корзинку на веревке, которая свисала из окна верхнего этажа. Внутри было что-то вроде картошки и лука. Видимо, кто-то заказал их в ближайшем продуктовом магазине и забыл поднять наверх.

От какого-то звука она остановилась как вкопанная. Замерла, пытаясь расслышать. Спустя несколько секунд она уловила едва слышное всхлипывание и поначалу подумала, что ей показалось, ведь она не спала всю ночь. А потом разглядела бесформенный силуэт на мостовой, комок плоти и шерсти. Раненая кошка.

И тут кто-то еще увидел животное и стал приближаться с противоположной стороны дороги. Женщина. Своими добрыми карими глазами, которые чуть изгибались в уголках, острым носом и плотным сложением она очень напоминала птицу — птицу с рисунка какого-нибудь ребенка, круглую и задорную.

— С кошкой все в порядке? — спросила женщина.

Обе подались вперед и одновременно увидели: внутренности у животного вывалились наружу, кошка дышала прерывисто и с трудом, она была тяжело ранена.

Лейла сняла шарф, обмотала его вокруг кошки и осторожно подняла животное, придерживая одной рукой.

— Нужно найти ветеринара.

— В такое время?

— Ну, выбора-то у нас нет.

И они вдвоем двинулись прочь.

— Меня зовут Лейла. Посередине «е», а не «э». Я сменила написание.

— Я Хюмейра. Как слышится, так и пишется. Я работаю в *газино* у верфи.

— Что ты там делаешь?

— Мы с группой каждый вечер на сцене, — сказала она и добавила с нажимом и не без гордости в голосе: — Я певица.

— О, а ты поешь что-нибудь из Элвиса?

— Нет. Мы играем старые песни, баллады и немножко нового, в основном арабское.

Ветеринар, когда они наконец его отыскали, был страшно раздражен, что его разбудили в такой ранний час, но, к счастью, не отослал их прочь.

— За все годы практики я ни разу не видел ничего подобного, — сказал он. — Сломанные ребра, пробитое легкое, сплющенный таз, трещина в черепе, выбитые зубы… Видимо, ее переехала

машина или даже грузовик. Простите, но я очень сомневаюсь, что мы сможем спасти это несчастное животное.

— Однако вы сомневаетесь, — медленно произнесла Лейла.

Глаза ветеринара, спрятанные за очками, превратились в щелки.

— Прошу прощения?

— Я хотела сказать, что у вас нет стопроцентной уверенности. Вы сомневаетесь, а это означает, что шанс на спасение все-таки есть.

— Видите ли, я понимаю ваше желание помочь, но, поверьте, куда лучше просто усыпить ее. Животное и так настрадалось.

— Тогда мы найдем другого ветеринара. — Лейла повернулась к Хюмейре. — Найдем же?

Другая женщина задумалась, но лишь на секунду. Она кивнула в знак поддержки:

— Найдем.

— Хорошо, раз уж вы так непреклонны, я постараюсь помочь, — сказал ветеринар. — Но обещать ничего не могу. И должен сказать, что стоить это будет недешево.

За этим последовали три операции и месяцы болезненного лечения. Бóльшая часть расходов легла на Лейлу, но и Хюмейра принимала уча-

стие, когда могла.

В конце концов время показало, что Лейла была права. Кошка с поломанными когтями и выбитыми зубами цеплялась за жизнь из последних сил. Принимая во внимание, что ее исцеление было почти чудом, они назвали ее Секиз, Восемь, ибо ясно: у существа, перенесшего столько боли, наверняка было девять жизней и восемь оно уже потратило.

Женщины присматривали за кошкой по очереди, постепенно превращаясь в хороших подруг.

Спустя несколько лет, после безумной фазы ночных эскапад, Секиз забеременела. Через десять недель она родила пятерых котят с очень разными характерами. Один из них, черный с небольшим белым пятнышком, оказался абсолютно глухим. Лейла и Хюмейра придумали ему имя — Мистер Чаплин.

Голливуд Хюмейра — женщина, знавшая наизусть большинство красивых баллад Месопотамии, женщина, чья жизнь напоминала истории, рассказанные в них.

Голливуд Хюмейра, одна из пяти.

История Хюмейры

Хюмейра родилась в Мардине, недалеко от монастыря Мор-Габриэль, на известковом плато Месопотамии. Извилистые улицы, каменные дома. Она росла на очень древней и очень неспокойной земле, и со всех сторон ее окружали пережитки истории. Руины на руинах. Новые могилы внутри старых могил. Бесконечные легенды о героях и истории о любви, которые ей рассказывали, заставляли ее тосковать по уже не существовавшей родине. Странное дело, но ей казалось, что эта граница, где кончается Турция и начинается Сирия, вовсе не постоянная разделительная линия, а некое живое и дышащее существо, этакая ночная тварь. И она перемещается, когда люди по обе ее стороны спокойно спят. По утрам она снова возвращается на прежнее место, но чуть-чуть сдвигается то вправо, то влево. Эту границу постоянно пересекали контрабандисты. Затаив дыхание, они шли по густо заминированным полям. Иногда в тишине слышался взрыв, и деревенские жители принимались молиться, чтобы это разорвало мула, а не контрабандиста, на нем ехавшего.

От подножия Тур-Абдина — «Горы Поклонения» — до самой равнины, которая летом становилась песочно-рыжей, тянулся бескрайний ландшафт. Однако обитатели этого региона часто вели себя как островитяне. Они сильно отличались от соседских племен и ощущали это до мозга костей. Прошлое сомкнулось над ними, словно глубокие темные воды, и они плыли по ним, но не одни — никогда не одни! — а в компании призраков — своих предков.

Мор-Габриэль — старейший в мире монастырь Сиро-Яковитской церкви. Как отшельник, живущий на воде и скудной пище, монастырь сумел выжить благодаря вере и крупицам благодати. На протяжении всей его истории в нем случались кровопролития, гонения и истребления, монахов тиранили все, кто вторгался или просто проезжал через этот регион. И пусть его светлые, словно молоко, крепкие каменные стены устояли, зато великолепная библиотека не уцелела. Из тысяч книг и рукописей, которые она когда-то с гордостью вмещала, не осталось ни одной странички. В склепе были похоронены сотни святых и мучеников. Росшие возле него оливы и сады тянулись до самой дороги, насыщая воздух особым ароматом. Если не знать истории, невозмутимость этого

места можно легко принять за покой.

Хюмейра, как и многие другие дети, выросшие в этом регионе, с детства слышала песни, баллады и колыбельные на нескольких языках — турецком, курдском, арабском, персидском, армянском, сирийско-арамейском. Она слышала истории про монастырь и видела, как приезжают и уезжают туристы, журналисты, священнослужители обоих полов. Больше всего ее занимали монашки. Как и они, Хюмейра совершенно не собиралась замуж. Но в ту весну, когда ей исполнилось пятнадцать, ее внезапно забрали из школы и обручили с мужчиной, который вел дела с ее отцом. К шестнадцати годам она уже стала его женой. Муж был человеком непритязательным, бессловесным и пугливым. Хюмейра, понимая, что он не хотел этого брака, подозревала, что у него была возлюбленная, которую он не смог забыть. Время от времени она ловила его неприязненный взгляд, словно именно она была виновата в том, о чем он сожалел.

В первый год их совместной жизни она снова и снова пыталась понять мужа и его нужды. Ее собственные не имели значения. Но муж ничему не радовался, и на его лбу снова появлялись морщины, словно на окне, — стоит его вытереть, а

оно снова запотевает. Вскоре после этого дело ее мужа потерпело неудачу. Им пришлось съехаться с его родственниками.

Жизнь с семьей мужа сломила Хюмейру. Ежедневно, дни напролет с ней обращались как с прислугой — с безымянной прислугой. «Жена, принеси чая. Жена, иди свари рис. Жена, постирай белье». Ее все время куда-то посылали, не давали побыть на одном месте, и у нее складывалось странное ощущение, что они стремятся оставить ее при себе, но при этом хотят, чтобы она исчезла. Хюмейра могла бы стерпеть все это, если бы не побои. Один раз муж сломал деревянную вешалку об ее спину. В другой раз он ударил ее по ногам железными щипцами, которые оставили темно-красную отметину на боковой части ее левого колена.

О возвращении к родителям нельзя было и думать. Но и оставаться в этом тоскливом месте она не собиралась. Как-то ранним утром, когда все еще спали, Хюмейра украла золотые браслеты, которые ее свекровь хранила в коробке от печенья на прикроватном столике. При этом зубные протезы свекра, плававшие в стакане с водой, что стоял возле коробки, заговорщически улыбнулись ей. В ломбарде она не сможет получить

много за эти браслеты, но на автобусный билет до Стамбула должно хватить.

В столице Хюмейра быстро обучилась ходить на высоких каблуках, выпрямлять волосы, наносить макияж так, чтобы он блестел в свете неоновых ламп. Она сменила имя, данное ей при рождении, на Хюмейру, купила фальшивый паспорт. Сильный голос и знание сотен анатолийских песен помогли найти работу в ночном клубе. Впервые оказавшись на сцене, она тряслась как осиновый лист, но, к счастью, голос ее не подвел. Хюмейра снимала в районе Каракёй самую дешевую комнату, которую только можно найти, у самой улицы борделей, и именно там после работы она впервые встретила Лейлу.

Они поддерживали друг дружку с преданностью, свойственной лишь тем, кому не на кого положиться. По совету Лейлы Хюмейра перекрасилась в блондинку, вставила бирюзовые контактные линзы, поправила себе нос и радикально изменила гардероб. Она сразу сделала все это, и даже больше, так как узнала, что ее муж приехал в Стамбул и разыскивает ее. Во сне и наяву Хюмейра с ужасом думала, что может стать жертвой убийства чести. Она не могла не воображать собственное убийство, и каждый

раз конец ей представлялся все более мучительным. Она знала, что женщин, обвиняемых в непристойности, убивают не всегда, порой их просто заставляют покончить жизнь самоубийством. Количество самоубийств, совершенных по принуждению, особенно в маленьких городках Юго-Восточной Анатолии, дошло до такого уровня, что об этом даже писали в зарубежной прессе. В Батмане, неподалеку от места ее рождения, самоубийство было главной причиной смерти среди молодых женщин.

Но Лейла всегда уговаривала Хюмейру настроиться на лучшее. Она заверяла подругу, что та везучая и выносливая, словно стены монастыря, возле которого та выросла, словно кошка, что они случайно спасли однажды ночью, и, несмотря на все напасти, ей суждено выжить.

Десять минут двадцать секунд

В последние секунды, перед тем как ее мозг полностью прекратил работу, Лейла припомнила свадебный торт — весь белый, трехъярусный, покрытый масляной глазурью. На верхушке красовался изящный клубок красной шерсти с крошечными вязальными спицами, лежавшими рядом, — все это сделали из сахара. Реверанс Гадкой Ма. Если бы не ее благословение, Лейла ни за что не сумела бы уйти.

Наверху, в своей комнате, она посмотрела на себя в треснутое зеркало. На мгновение ей показалось, что она видит себя в прошлом. Ту девочку, которая смотрела на нее из зеркала тогда, в Ване, с широко распахнутыми глазами и оранжевым хулахупом в руке. Лейла неторопливо и сочувственно улыбнулась той девочке, в конце концов примирившись с ней.

Ее свадебное платье было простым, но элегантным, с изящными кружевными рукавами и облегающим силуэтом, подчеркивающим линию талии.

Стук в дверь прервал ее мысли.

— Ты специально укоротила шлейф? — спроси-

ла Зейнаб-122, входя в комнату; высокие подошвы на ее обуви похлюпывали, когда она шла по голому полу. — Вспомни, в моем предсказании он был куда длиннее. Ты ведь заставляешь меня сомневаться в собственных способностях.

— Не глупи. Ты права во всем. Я только хотела немного упростить, вот и все.

Зейнаб-122 подошла к кофейным чашкам, хранившимся в углу комнаты. Она посмотрела на одну из чашек, которая была пуста, и вздохнула.

Повисло неловкое молчание, и потом Лейла заговорила снова:

— Я до сих пор не верю, что Гадкая Ма отпустила меня.

— Думаю, это из-за истории с кислотой. Она до сих пор чувствует свою вину, иначе и быть не может. Ну то есть она же знала, что тот человек с приветом, но все равно взяла у него деньги и предложила тебя, как агнца на заклание. Он мог убить тебя, эта тварь.

Однако дело было не только в доброте и вине Гадкой Ма, которую она так и не признала, не только поэтому она одарила Лейлу своим благословением. Д/Али выложил кругленькую сумму, прямо-таки неслыханную для улицы борделей. Позже, когда Лейла начала пытать его о

происхождении этих денег, он сказал, что это сбросились его товарищи. И объявил, что революция делается ради любви и влюбленных.

Чрезвычайно редкое зрелище, как проститутка выходит из борделя в свадебном платье, привлекло кучку зрителей. Гадкая Ма постановила: раз уж ее сотрудница уходит навсегда, следует закатить хорошую вечеринку. Она наняла двух цыган-музыкантов — судя по виду, они были братьями, — один бил в барабан, а другой играл на кларнете, раздувая щеки, глаза его при этом радостно бегали. Все вывалились на улицу с криками и аплодисментами, приплясывая, присвистывая, улюлюкая, размахивая платками и внимательно наблюдая за всем происходящим. Даже полицейские, покинув свой пост у ворот, пришли посмотреть, по какому поводу суета.

Лейла знала, семья Д/Али уже в курсе, что для них, конечно, позор. Его отец, прибывший из Германии самым ранним рейсом, пытался вправить сыну мозги — сначала в буквальном смысле, угрожая побоями — хотя для этого он был уже староват, — затем грозясь лишить его положенной доли наследства — правда, особого наследства Д/Али и не светило, — а уж потом запугивая отлучением от семьи — эта угроза оказалась самой

болезненной. Однако Д/Али с детства привык твердо отвечать на агрессию, и отцовское поведение лишь укрепило его в собственном решении. Его сестры постоянно звонили и рассказывали, что мама безутешно плачет и горюет так, словно он погиб и уже похоронен. Д/Али старался не говорить об этом, чтобы не расстраивать невесту, и Лейла была очень благодарна ему за это.

Но все же она несколько раз пыталась обсудить с ним свои опасения, не слишком-то надеясь, что прошлое — ее прошлое — не встанет между ними стеной, которая со временем лишь вырастет ввысь и вширь.

— Разве это тебя не беспокоит? Ну, пусть сейчас тебе все равно, будет ли так и дальше? Зная, кто я и чем занималась…

— Я не понимаю, о чем ты.

— Нет, понимаешь. — Ее огрубевший от напряжения голос смягчился. — Ты прекрасно знаешь, о чем я.

— Великолепно! А я хочу сказать, что совсем не зря почти во всех языках мира, говоря о настоящем и прошлом, используют совершенно разные слова. Так что это было в прошлом, а сейчас твое настоящее. И мне было бы ужасно неприятно, если бы сегодня ты держала за руку

другого мужчину. Имей, пожалуйста, в виду, что я бы страшно ревновал.

— Но…

Д/Али нежно поцеловал Лейлу, и его глаза заискрились теплым светом. Он провел ее пальцами по маленькому шрамику на своем подбородке:

— Видишь? Я как-то упал со стены. В начальной школе. А этот, на лодыжке, появился после падения с велосипеда — я пытался кататься с одной рукой. Самый глубокий шрам у меня на лбу. Подарок от любимой мамы. Она так рассердилась на меня, что бросила тарелкой в стену, но, разумеется, сильно промахнулась. И могла бы попасть мне в глаз. А потом плакала даже сильнее, чем я сам. Вот и еще одна метка на всю жизнь. Тебя не беспокоит, что у меня столько шрамов?

— Конечно же нет! Я люблю тебя таким, какой ты есть!

— Вот именно.

Вместе они сняли квартиру на улице Лохматого Кафки. Дом номер 70. Самый верхний этаж. Квартира была запущенной, да и весь район пока еще оставался неотделанным — кругом были разбросаны кожевенные мастерские и фабрики, — однако молодожены не сомневались, что справятся со всеми проблемами. По утрам,

просыпаясь на хлопчатобумажном белье, Лейла вдыхала соседские ароматы — каждый день сочетания были разные, — и жизнь казалась необыкновенно сладкой, с райскими нотками.

У каждого было свое любимое место возле одного и того же окна — там они по вечерам попивали чай и наблюдали за тем, как расширяется под ними город: новый асфальт миля за милей. Они смотрели на Стамбул с огромным интересом, словно сами не были его частью, словно в мире были только они одни, а все эти машины, паромы и здания из красного кирпича — всего лишь фон и декорации, детали картины, предназначенной лишь для их глаз. Сверху доносились крики чаек, а порой даже рокот полицейского вертолета или какого-нибудь другого аварийного транспорта. Но на них это никак не влияло. Ничто не нарушало их покоя. По утрам тот, кто просыпался первым, ставил чайник на плиту и готовил завтрак. Тосты, соленый перец, *симит* — бублик с кунжутом, купленный у проходившего мимо уличного торговца, белые кубики сыра, сбрызнутого оливковым маслом, и две веточки розмарина — одна для него, другая для нее.

После завтрака Д/Али неизменно брался за книгу и, закурив сигарету, начинал вслух читать из

нее отрывки. Лейла понимала: ему хотелось бы, чтобы она была столь же страстной сторонницей коммунизма, как и он сам. Он хотел, чтобы они были членами одного клуба, представителями одной нации, последователями одной мечты. Это глубоко волновало ее. Она опасалась, что как не удалось ей однажды поверить в отцовского Бога, так не удастся поверить и в революцию мужа. Возможно, дело в ней самой. Возможно, у нее просто нет столько веры.

Однако Д/Али полагал, что это лишь дело времени. И в один прекрасный день Лейла тоже вступит в их ряды. А потому он продолжал снабжать ее информацией на этот счет.

— Знаешь ли ты, как убили Троцкого?

— Нет, дорогой, расскажи мне.

Лейла провела пальцами по мелким темным кудряшкам на его груди — вверх и вниз.

— Ледорубом, — мрачно сказал Д/Али. — По приказу Сталина. Он послал убийцу аж в Мексику. Понимаешь, Сталин испугался Троцкого и его интернационалистических взглядов. Они были политическими соперниками. Я должен рассказать тебе о «перманентной революции», теории Троцкого. Она тебе понравится.

Может ли что-нибудь быть перманентным в

этой жизни? — задумалась Лейла, но посчитала нужным умолчать о своих сомнениях.

— Да, дорогой, расскажи мне.

Дважды отчисленный за неудовлетворительные оценки и еще более неудовлетворительную посещаемость и дважды восстановленный благодаря двум разным амнистиям для неуспевающих студентов, Д/Али по-прежнему ходил в университет, однако Лейла не надеялась, что он станет серьезно относиться к учебе. Революция была для него превыше всего, что уж там говорить о буржуазной промывке мозгов, которую так настойчиво называют образованием. По вечерам, несколько раз в неделю, Д/Али встречался со своими товарищами, чтобы развесить плакаты и разбросать листовки. Это нужно было делать в темноте, как можно тише и как можно быстрее. «Мы словно беркуты, — говорил он, — приземляемся и снова взлетаем». Однажды он вернулся домой с подбитым глазом — это фашисты устроили им засаду. А в другой раз Д/Али вовсе не вернулся домой, и Лейла чуть с ума не сошла от волнения. Но в целом оба не сомневались: они были счастливой парой.

1 мая 1977 года. С утра пораньше Д/Али и Лейла вышли из своей маленькой квартиры, чтобы

принять участие в марше. Лейла нервничала — в животе у нее все стянуло. Она беспокоилась, что кто-нибудь ее узнает. Что она будет делать, если мужчина, который пойдет рядом, окажется бывшим клиентом? Д/Али чувствовал ее страх, но настоял на том, чтобы они пошли вместе. Он сказал, что она имеет отношение к революции и он никому не позволит объявить ей, что для нее нет места в справедливом обществе будущего. Чем больше Лейла колебалась, тем сильнее утверждался Д/Али в своем мнении, что она даже больше, чем он и его товарищи, имеет право участвовать в праздновании Международного дня трудящихся. Они всего лишь бывшие студенты, а вот она настоящий пролетарий.

Когда Лейлу наконец-то удалось убедить, она долго думала, что надеть. Наверное, брюки будут смотреться лучше всего, но вот из какой ткани и какого цвета? А сверху, наверное, следует надеть какую-нибудь повседневную рубашку, которые так любят социалистки, — свободную и закрытую, только хотелось бы выглядеть еще и красиво. Женственно. Плохо это или нет? Буржуазные штучки? В конце концов она приняла решение в пользу пыльно-голубого платья с кружевным воротничком, красной сумки через плечо, белого

кардигана и красных туфелек на низком каблуке. Ничего кричащего, однако, как она надеялась, все-таки хоть немножко стильно. Но рядом с Д/Али она, разумеется, выглядела ярко, словно радуга. Он выбрал темные джинсы, черную рубашку с воротничком на пуговицах и серые ботинки.

Оказавшись среди других демонстрантов, они поразились количеству народа. Лейла никогда не видела таких огромных сборищ. Здесь были сотни тысяч — студенты, рабочие, крестьяне, учителя, они шли все вместе, и на лицах читалась сосредоточенность. Разливался бесконечный поток звуков: произносились речовки, пелись гимны. Далеко впереди кто-то бил в барабан, однако Лейла при всем желании не могла разобрать, кто именно. Ее полные тревоги глаза озарились новым, ярким светом. Впервые в жизни она чувствовала себя частью чего-то большого.

Повсюду виднелись плакаты и транспаранты — кругом были разбросаны стайки слов. «Борись с империализмом!» «Не Вашингтон и не Москва, а международный социализм!» «Трудящиеся всего мира, объединяйтесь!» «Ты нужен боссу, а тебе босс не нужен!» «Сожри богатых!» Она даже увидела такую надпись: «Мы здесь были: это мы загнали американцев в море!» Румянец залил ее

скулы. Она ведь тоже была здесь в тот июльский день 1968 года, работала в борделе. Она вспомнила, как Гадкая Ма заставила всех наводить порядок в заведении и как разочарована была, когда американцы так и не появились.

Каждые несколько минут Д/Али обращал свой проницательный взор на Лейлу, чтобы понять, как она. Он ни на секунду не выпускал ее руку. День был напоен ароматом церциса, который пропитывал все свежей надеждой и новой отвагой. И вот наконец, ощутив прилив оживления, поняв, что она стала частью чего-то и в конце концов может позволить себе вздохнуть с облегчением, Лейла вдруг поддалась знакомому приступу настороженности, стремлению оказаться под чьей-то защитой.

Она стала замечать детали, которых поначалу не приметила. Сквозь сладкий аромат в воздухе просачивался запах людского пота, табака, зловоние чужого дыхания и ярости; ярость была настолько явственна, что казалось, ее можно пощупать. Лейла наблюдала за тем, как каждая группа несла свой транспарант и слегка отделялась от всех прочих. Процессия продолжала двигаться вперед, и Лейла слышала, как некоторые демонстранты кричали и бранились на

других. Это чрезвычайно поразило ее. До того момента она не осознавала, насколько раздроблены сами революционеры. Маоисты презирали ленинистов, ленинисты ненавидели анархистов. Лейла знала, что ее возлюбленному суждено идти по совершенно иному пути — вместе с поклонниками Троцкого и «перманентной революции». Она задумалась: если у семи нянек дитя без глазу, может, и слишком много революционеров не сумеют сделать революцию? Но и эти мысли она оставила при себе.

После нескольких часов движения в строю они добрались до гостиницы «Интерконтиненталь» и площади Таксим. Толпа потянулась вперед, и вдруг воздух стал ужасно влажным. Демонстрантов омывал бронзовый отсвет заката. Где-то в углу зажегся уличный фонарь — слишком ранний и приглушенный, словно шепот. Где-то вдалеке профсоюзный лидер, забравшись на автобус, разразился пламенной речью, в мегафоне голос его казался механическим и слишком властным. Лейла ощутила усталость. Ей очень хотелось присесть, пусть всего на минуточку. Краешком глаза она наблюдала за Д/Али, за его сжатым подбородком, косыми скулами, напряженными плечами. Его профиль был невероятно красив на фоне

тысяч лиц, а сияние заходящего солнца придало его губам винный цвет. Ей хотелось поцеловать его, почувствовать его вкус, ощутить его внутри себя. Лейла опустила взгляд, смущенная мыслью о том, что Д/Али бы разочаровался, узнав, что такие бесполезные и банальные мысли пришли ей на ум, ведь она должна была думать о куда более важном.

— Все нормально? — спросил он.

— О, разумеется! — пронзительно отозвалась Лейла, надеясь, что тон у нее как раз правильный и что так она не выдаст, насколько сдержан ее восторг по поводу марша. — У тебя есть сигарета?

— Вот, любимая.

Он вынул пачку, достал одну сигарету для нее и одну для себя. Затем попытался зажечь ее сигарету серебряной «Зиппо», но почему-то так и не сумел.

— Давай я сама. — Лейла взяла у него зажигалку.

И именно в этот момент она услышала звуки — какой-то грохот с боков и сверху, как будто Бог провел палкой по своим небесным перилам. Жуткая тишь повисла над площадью. Словно никто не двигался и никто не дышал — такой

мертвой была тишина. Потом раздался еще один взрыв. На этот раз Лейла поняла, что это такое. И все внутри парализовал страх.

Над мостовыми, за защитными перегородками на верхних этажах «Интерконтиненталя», размещались снайперы. Из автоматов стреляли снайперы — они целились прямо в толпу. Потрясенное молчание демонстрантов разорвал крик. Плакала женщина, кто-то еще орал, призывая людей бежать. И все побежали, не разбирая дороги. Слева располагалась Казанджи-Йокушу, где жила Налан со своими соседями и черепахами.

Они направились в ту сторону — тысячи тел, словно река, ударяющаяся о собственные берега. Столкновения, толчки, крики, беготня, люди спотыкались друг о друга…

Чуть дальше по улице откуда ни возьмись появилась бронированная полицейская машина и перегородила проход. Теперь демонстранты понимали: они застряли между выстрелами снайперов, оставшимися позади, и неминуемым арестом и пытками впереди. И тут выстрелы, которые на минуту стихли, возобновились и превратились в нескончаемый треск. Поднялся невероятный вопль — тысячи ртов открылись одновременно в первобытном крике ужаса и

паники. Прижавшись друг к другу, задние пытались протиснуться вперед, наседая на тех, кто был дальше, словно дробящие друг друга камни. Молодая женщина в светлом платье с цветочным принтом проскользнула под бронированной машиной. Лейла орала во всю глотку, а в ушах отдавался бешеный стук ее собственного сердца. И вдруг ее рука выпустила руку Д/Али. Это она отпустила его или он ее? Она так и не узнала. Всего секунду назад она чувствовала его дыхание на своей щеке — и вот его уже нет.

Еще через мгновение она увидела, как он промелькнул в сотне метров от нее, она звала его снова и снова, но толпа сдвинула ее в сторону, словно волна-убийца, сносящая все на своем пути. Лейла слышала звук выпускаемых пуль, но уже не могла сказать, откуда он идет; создавалось впечатление, что они могут вылетать и из земли. Грузный мужчина рядом с ней потерял равновесие и упал — ему попали в шею. Она никогда не забудет выражение его лица — скорее удивление, чем боль. За несколько минут до этого они управляли историей, меняли мир, сокрушали систему, а теперь их уничтожают, и они даже не в силах разглядеть лица убийц.

На следующий день, второго мая, в округе пло-

щади Таксим было собрано более двух тысяч гильз. Сообщалось, что более ста тридцати человек серьезно ранены.

Лейла обзвонила все государственные больницы и частных врачей в округе. Когда у нее не было больше сил говорить с чужими людьми, кто-то из ее друзей брался за поиски. Каждый раз они не забывали называть настоящее имя Д/Али, ибо, как и Лейлу, жизнь наградила его прозвищем.

В больницах, куда они звонили, находилось много людей по имени Али, некоторые занимали койки, а другие уже были в морге, однако от ее Али не осталось и следа. Спустя два дня Ностальгия Налан обратилась еще в одно, последнее место, в некую клинику в Галате, о которой она давно знала. И там подтвердили, что Д/Али поступил именно к ним. Он оказался в числе тридцати четырех погибших — большинство из них были затоптаны насмерть в давке на Казанджи-Йокушу.

Десять минут тридцать секунд

В последние секунды, перед тем как сдаться совсем, мозг Текилы Лейлы вызвал вкус односолодового виски. Вечером, перед самой смертью, у нее на губах был именно он.

Ноябрь 1990 года. Совершенно обычный день. После обеда она сделала плошку попкорна для себя и Джамили, которая жила у нее. По особому рецепту — сливочное масло, сахар, попкорн, соль и розмарин. Только они принялись есть, как зазвонил телефон. На проводе была Гадкая Ма.

— Ты не устала?

На заднем плане играла какая-то тихая мистическая мелодия — обычно Гадкая Ма не слушала ничего подобного.

— А разве это имеет какое-то значение?

Гадкая Ма сделала вид, что она этого не слышала. Они знали друг друга так давно, что привыкли просто не обращать внимания на то, на что им не хотелось его обращать.

— Слушай, у меня тут появился потрясный клиент. Он напоминает мне того известного актера, который ездит на говорящей машине.

— Вы имеете в виду «Рыцаря дорог»?

— Да, точно! Этот тип похож на него. Так или иначе, у него до безумия богатые родственники.

— И в чем же фокус? — несколько резковато спросила Лейла. — Куча денег, молодой, красивый — такому парню не нужна уличная девка.

Гадкая Ма усмехнулась:

— Его родня… как бы это сказать… чрезвычайно, безнадежно консервативна. Ну прямо чересчур. Отец — тиран и агрессор. Он хочет, чтобы сын взял на себя его дело.

— Вы так и не сказали мне, в чем фокус.

— Терпение — добродетель. Молодой человек женится на следующей неделе. Однако отец его очень встревожен.

— Почему?

— По двум причинам. Во-первых, сын не хочет жениться. Ему не нравится невеста. Из моих источников следует, что он даже в одной комнате с ней быть не желает. А во-вторых, есть проблема посерьезнее… Ну, это не я так считаю, а его папаша…

— Выкладывайте, Милая Ма.

— Мальчик не интересуется женщинами, — пояснила Гадкая Ма, вздохнув так, будто жизнь ее утомила. — У него есть давнишний дружок. Отец знает об этом. Он все знает. Но считает, что

брак исцелит его сына и отклонения исчезнут. А потому он нашел ему невесту, распланировал свадьбу и, полагаю, даже составил список приглашенных.

— Вот это папаша! По мне, так совершенный придурок.

— Да, придурок он немалый.

— Ха, Дурковатый паша!

— Верно, Дурковатый паша хочет, чтобы добрая, искушенная и мудрая женщина всему обучила его сына перед брачной ночью.

— Добрая, искушенная, мудрая… — медленно повторила Лейла, смакуя каждое слово.

Гадкая Ма редко хвалила ее и вообще обычно не делала этого.

— Я могла бы позвонить еще какой-нибудь девочке, — нетерпеливо продолжала Гадкая Ма. — Разумеется, ты стареешь. Но я знаю, что тебе нужны деньги. Ты все еще заботишься о той африканке?

— Да, она у меня. — Лейла понизила голос. — Хорошо, так где?

— В «Интерконтинентале».

Лейла словно окаменела.

— Вы же знаете, что я туда не хожу.

Гадкая Ма откашлялась.

— Что ж, адрес такой. Решать тебе. Но ты должна учиться отпускать. Твоего Д/Али уже давно нет. Какая разница, та гостиница или этот мотель? — (Лейла молчала.) — И что? Я не могу ждать целый день.

— Хорошо, я буду, — ответила Лейла.

— Умница. Номер гранд-делюкс «Босфор». Пентхаус. Будь там без четверти десять. О, и еще кое-что… Ты должна быть в платье: длинные рукава, глубокий вырез, золотистое и блестящее — разумеется, мини. Это особая просьба.

— Это просьба сына или отца?

— Отца! — рассмеялась Гадкая Ма. — Он говорит, что его сын любит золото и все блестящее. И считает, что так будет проще.

— Вот что я вам скажу. Забудьте о сыне, отправьте меня к Дурковатому паше. Мне очень хотелось бы с ним познакомиться — на самом деле. Ему не мешало бы немного расслабиться.

— Не глупи. Старик застрелит нас обеих.

— Ну хорошо… только у меня нет такого платья.

— Значит, пойди и купи, — прошипела Гадкая Ма. — Не серди меня.

Лейла сделала вид, что не слышала этого.

— Вы уверены, что сын нормально к этому

отнесется?

— Он отнесется ненормально. До этого у него уже были четыре девочки. Говорят, к ним он даже не притронулся. Твоя задача сделать так, чтобы он передумал. Врубаешься?

Она повесила трубку.

Ближе к вечеру Лейла отправилась на Истикляль. Обычно она не ходила по этому маршруту без особой необходимости. Главная торговая улица всегда кишела народом. Слишком много локтей, слишком много глаз. Покачиваясь на высоких каблуках, Лейла, в открытой блузке и красной кожаной мини-юбке, влилась в ряды пешеходов. Все они шли небольшими синхронными шагами, их тела словно слиплись друг с другом. Толпа лилась от одного конца улицы к другому, вытекая в ночь, словно чернила из сломанной перьевой ручки.

Женщины смотрели на нее сердито, а мужчины — с вожделением. Она наблюдала за женами, шедшими под руку с мужьями, — одни обладали, а другие радовались тому, что ими обладают. Она смотрела на мамаш, везущих перед собой прогулочные коляски и, видимо, возвращающихся от родственников, на молодых женщин с опущенными глазами, на неженатые пары, которые

украдкой держались за руки. Люди вели себя так, словно они выше всей этой среды, словно уверены, что город останется здесь и на следующий день, и послезавтра, и всегда. А потом Лейла мельком ухватила свое отражение в магазинной витрине: она выглядела куда более усталой и растерянной, чем ей казалось. Она вошла в магазин. Продавщица, ласковая женщина с тихим голосом и платком, завязанном на затылке, уже знала ее по предыдущим визитам. Она помогла Лейле найти нужное платье.

— О, на вас оно прекрасно выглядит и очень оживляет лицо, — радостно сообщила она, когда Лейла вышла из примерочной.

Эти же слова она говорила многим женщинам, вне зависимости от того, что они надевали. Но Лейла все равно улыбнулась, ибо продавщица не выразила ни тени осуждения. Лейла заплатила, но платье снимать не стала. Старые вещи она оставила в магазине в пластиковом пакете. За ними она вернется позже.

Лейла посмотрела на часы. Увидев, что у нее еще есть время, она отправилась в «Караван». В воздухе витали ароматы уличной еды — *донер-кебаб*, рис с нутом, жареные бараньи потроха.

В «Караване» она отыскала Налан — та пила с

парой геев из Швеции. Они на велосипедах ехали по маршруту Гётеборг — Карачи, почти восемь тысяч километров. Им предстояло полностью пересечь Турцию, а затем проехать по Ирану. В прошлом месяце они делали остановку в Берлине и наблюдали за тем, как флаг Западной Германии ровно в полночь подняли перед зданием Рейхстага. Теперь они показывали фотографии Налан, которой, кажется, нравилось общаться, хотя понимали они друг друга с трудом. Лейла немного посидела с ними, радуясь, что может наблюдать за ними молча.

На столе лежала газета. Сначала она прочитала новости, а потом свой гороскоп, который гласил:

Вы считаете себя жертвой обстоятельств, которые не в силах контролировать. Сегодня вам удастся изменить это. Звезды выстроились так, что у вас необычно приподнятое настроение. Вам вскоре предстоит волнующая встреча, но лишь в том случае, если вы возьмете инициативу в свои руки. Освежите голову, не держите чувства в себе, пойдите прогуляйтесь и станьте хозяином своей жизни. Пора познать себя.

Покачав головой, Лейла прикурила сигарету и поставила «Зиппо» на стол. Как прекрасно это

звучит! «Познай самого себя». Древним так нравился этот девиз, что они выгравировали его на стенах своих храмов. Лейла понимала, что в девизе есть доля истины, но считала, что он неполон. Нужно было так: «Познай себя и узнай подонка, когда увидишь его». Знание самого себя и способность узнать подонка должны идти рука об руку. Однако если в конце сегодняшнего вечера она не слишком устанет, то пойдет домой пешком, попытается освежить голову и быть хозяйкой своей жизни, что бы эта фраза ни означала.

В условленный час Лейла, в новом платье и открытых туфлях на высоком каблуке, двинулась в сторону гостиницы «Интерконтиненталь», чей высокий мощный силуэт выделялся на фоне ночного неба. Она ощутила напряжение в спине и уже почти ждала, что до нее донесутся грохот бронированного автомобиля, выезжающего из-за угла, и свист пуль, пролетающих мимо ушей, вопли и усиливающиеся крики. И пусть парковка у гостиницы была пуста, Лейла ощущала, как на нее со всех сторон давят тысячи тел. Горло у нее сжалось. А потом она медленно выпустила воздух, застрявший в ноющих легких.

Спустя мгновение, немного успокоившись, Лейла вошла в стеклянные двери и огляделась.

Сделанные на заказ люстры, натертые до блеска медные светильники, мраморные полы — подобные парадные интерьеры характерны для таких заведений в любом уголке мира. Никаких признаков коллективной памяти. Никаких указаний на историю. Все здание отделано заново, окна завешены серебристыми шторами, прошлое замаскировано под блеск и пафос.

Чуть дальше от входа располагалась рамка металлоискателя и конвейерная лента, а возле них — три здоровенных охранника. Охрану в городе усилили после террористических актов в элитных гостиницах Ближнего Востока. Лейла поставила свою сумочку на ленту и, покачивая бедрами, прошла через рамку. Охранники пялились на нее, не скрывая интереса. Наклонившись за сумочкой с другой стороны ленты, она позволила им хорошенько рассмотреть то, что было скрыто под декольте.

За стойкой ресепшен дежурила молодая женщина с естественным загаром и фальшивой улыбкой. Когда к ней приблизилась Лейла, легкое недоумение скользнуло по ее лицу. На долю секунды она засомневалась, кто перед ней: то, что она видит, или это иностранная гостья, которая собралась хорошенько повеселиться в Стамбуле,

чтобы потом привезти друзьям незабываемые впечатления. Если последнее, она продолжит улыбаться, если первое — начнет хмуриться.

Как только Лейла заговорила, вежливо-заинтересованное выражение женщины сменилось неприкрытым презрением.

— Добрый вечер, дорогуша, — весело произнесла Лейла.

— Чем могу вам помочь? — Голос у женщины был таким же холодным, как и взгляд.

Постукивая ногтями по стеклянной стойке, Лейла назвала номер.

— Как я должна вас представить?

— Скажите, что пришла женщина, которую он ждал всю жизнь.

Глаза служащей сузились, но она ничего не сказала и быстро набрала номер. Последовал краткий диалог между ней и мужчиной, который взял трубку. Женщина завершила разговор и, даже не посмотрев на Лейлу, произнесла:

— Он ожидает вас.

— Мерси, дорогуша.

Неторопливо подойдя к лифтам, Лейла нажала на кнопку вызова. Какая-то пожилая пара американцев вошла вслед за ней и спокойно приветствовала ее, как это часто делают предста-

вители определенного поколения американцев. Для них вечер уже закончился, а для Лейлы только начинался.

Седьмой этаж. Длинные, ярко освещенные коридоры, ковры в разноцветную клетку. Лейла остановилась перед апартаментами пентхауса, сделала глубокий вдох и постучалась. Ей открыл мужчина. Он и правда напоминал актера из говорящей машины. Вокруг его глаз, которые слишком часто моргали, была чуть заметная краснота, и Лейла решила, что он плакал. В руках он держал телефон и так сжимал его, словно боялся отпустить. Он с кем-то разговаривал. Может, с возлюбленным? Чутье подсказывало ей, что это так, а вовсе не невеста.

— О, привет… Я ждал тебя. Проходи, пожалуйста.

Речь его была немного смазанной. На столике орехового дерева, подтверждая подозрения Лейлы, стояла полупустая бутылка виски.

Он кивнул на диван:

— Садись. Что тебе предложить?

Она сняла шарф и положила его на кровать.

— У тебя есть текила, дорогой?

— Текила? Нет, но я могу заказать ее, если хочешь.

Мужчина был чрезвычайно вежлив — и настолько же сломлен. Он не сумел воспротивиться отцу и не смог отказаться от удобств, к которым привык, возможно, он ненавидит себя за это и будет ненавидеть всю жизнь.

— Не нужно, — отмахнулась Лейла. — Я выпью то же, что и ты.

Встав вполоборота, он поднес телефон к губам и произнес:

— Она пришла. Я перезвоню позже. Да, конечно. Не волнуйся.

Тот, с кем он разговаривал, все это время слушал его беседу с Лейлой.

— Погоди. — Лейла выставила руку вперед, и он неуверенно посмотрел на нее. — Не обращай на меня внимания. Говори, — сказала она. — А я покурю на балконе.

Не дав ему возможности ответить, Лейла вышла на воздух. Вид оттуда был невероятный. От паромов шел мягкий свет, вдалеке проходил круизный лайнер, а ближе к порту виднелось судно с большой освещенной вывеской о продаже *кёфте* и макрели. Как же ей хотелось оказаться сейчас на борту, на крохотной табуреточке, как хотелось впиться зубами в питу с начинкой! Куда лучше, чем быть здесь, на седьмом этаже роскошной

гостиницы, в номере, полном отчаяния.

Примерно через десять минут двойные двери распахнулись, и он вышел к Лейле с двумя стаканами виски. Один он протянул ей. Они сели рядом на шезлонг, соприкасаясь коленями, и принялись попивать виски. Самый лучший односолодовый виски.

— Мне сказали, что у тебя верующий отец. Он знает, что ты выпиваешь? — спросила Лейла.

Мужчина нахмурился:

— Мой отец ни черта обо мне не знает!

Пил он медленно, но упрямо. Если и дальше продолжать в том же духе, утром будет жуткое похмелье.

— Знаешь, он уже в пятый раз за месяц делает это. Постоянно посылает ко мне женщин в разные гостиницы. И оплачивает все расходы. А я должен принимать этих бедных девочек и проводить с ними ночи. Это очень неловко. — Мужчина сглотнул. — Отец выжидает несколько дней, понимает, что меня не излечили, и организует новое свидание. Думаю, так будет до самой свадьбы.

— А если отказать ему?

— Тогда я все потеряю, — ответил он, насупившись от такой мысли.

Лейла допила виски, встала, забрала у него из рук стакан и поставила на пол рядом со своим. Он нервно вперил в нее взгляд.

— Слушай, дорогой мой, я понимаю, что тебе это не нужно. А еще я понимаю, что ты кого-то любишь и хочешь побыть с этим человеком. — Она специально сделала акцент на нейтральном слове, чтобы не упоминать о половой принадлежности. — Позвони и пригласи этого человека сюда. Побудьте вдвоем в этом красивом номере, обговорите все и найдите решение.

— А ты?

— Я ухожу. Но ты никому не проговорись. Ни твой отец, ни моя посредница не должны об этом знать. Мы скажем, что отлично провели ночь. Ты был потрясающим любовником, первоклассной машиной любви. Я получу деньги, а ты — немного покоя… но тебе нужно во всем разобраться. Прости, конечно, но эта свадьба — безумие. Неправильно втягивать в это безобразие еще и твою невесту.

— О, она будет счастлива в любом случае. Она и вся ее семья — стервятники, стремящиеся заполучить наши деньги. — Он осекся, понимая, что, возможно, сболтнул лишнего. Подавшись вперед, он поцеловал ей руку. — Спасибо. Я твой

должник.

— Не за что, — сказала Лейла, направляясь к двери. — Кстати, скажи отцу, что я была в золотистом платье с пайетками. Это почему-то имеет значение.

Лейла тихо вышла из гостиницы, спрятавшись за группой испанских туристов. Женщина на ресепшн занималась регистрацией новых гостей, а потому не заметила ее.

Оказавшись на улице, Лейла вдохнула полной грудью. Луна была молодая, бледно-пепельная. Лейла вдруг поняла, что оставила свой шарф наверху. С минуту она раздумывала, стоит ли вернуться, но тревожить парня не хотелось. Как же она любила этот шарф, черт возьми, он ведь из чистого шелка!

Она зажала сигарету между губами и стала отыскивать в сумочке зажигалку. Ее там не было. Принадлежавшая Д/Али «Зиппо» пропала.

— Огоньку?

Лейла подняла голову. К краю тротуара, чуть впереди, подъехала машина. Серебристый «мерседес». Задние окна затемнены, фары выключены. В полуоткрытое окно за ней наблюдал мужчина, в руке у него была зажигалка.

Она медленно двинулась к нему:

— Добрый вечер, ангелок!

— И тебе добрый вечер.

Он дал ей прикурить сигарету, задержав внимание на ее груди. На нем был нефритово-зеленый бархатный пиджак, а под ним — зеленая водолазка более темного оттенка.

— Мерси, дорогой.

Тут открылась дверца, и из нее вышел водитель. Он был худощавее своего друга, его пиджак висел на плечах. Лысый, со впалыми щеками землистого оттенка. У обоих мужчин были одинаково изогнутые брови над близко посаженными маленькими темно-карими глазами. Лейла решила, что они, должно быть, родственники. Возможно, кузены. Но первое, что ей бросилось в глаза, — полное отсутствие жизнерадостности, что было очень странно для таких молодых мужчин.

— Привет! — отрывисто сказал водитель. — Красивое платье.

Казалось, между двумя мужчинами что-то промелькнуло, некая вспышка узнавания, как будто она уже была им знакома, пусть даже Лейла была уверена: она никогда раньше их не видела. Лейла могла забыть имена, но лица всегда запоминала.

— Мы подумали: может, прокатишься с нами? — спросил водитель.

— Прокачусь?

— Да, ну, знаешь…

— Смотря как.

Он назвал ей цену.

— Оба? Ни за что.

— Только мой друг, — ответил водитель. — У него сегодня день рождения, хочу сделать подарок.

Лейла решила, что это немного странно, однако в этом городе она видала кое-что и более странное, так что какая разница.

— Уверен, что не участвуешь?

— Нет, я не люблю… — Он не договорил.

Лейла задумалась, чего же он не любил. Женщин вообще или именно она не нравилась? Она попросила вдвое больше.

Водитель отвел глаза:

— Ладно.

Лейла была удивлена, что он не стал торговаться. Редкая сделка в этом городе совершалась без денежных споров — пусть даже и недолгих.

— Едешь? — спросил другой мужчина, открывая дверцу изнутри.

Она медлила. Если Гадкая Ма узнает, то взорвется от ярости. Лейла редко, почти никогда, не бралась за работу без ведома бывшей хозяйки. Но

отказаться от таких хороших денег было сложно, особенно сейчас, когда столько счетов за лечение Джамили, которой поставили волчанку. За одну ночь Лейла сможет получить две хорошие суммы — от отца молодого человека из гостиницы и за это.

— Один час — не больше. И я скажу, где остановиться.

— Договорились.

Лейла забралась в машину, устроившись на заднем сиденье. Она опустила стекло, вдыхая прохладный свежий воздух. Бывали моменты, когда город казался свежим, словно кто-то услужливо окатил его ведром воды.

Она увидела на приборной панели сигарочницу, а на ней трех фарфоровых ангелов в длинных одеяниях. Отвлекшись, она принялась разглядывать их.

Машина начала разгоняться.

— Следующий поворот направо, — сказала Лейла.

Мужчина посмотрел на нее в зеркало заднего вида, и в глазах его отразилось что-то одновременно пугающее и невыносимо печальное.

Спину ее обдало холодком. Она слишком поздно почувствовала, что он ее не послушает.

Последние восемь секунд

Последним воспоминанием Лейлы был вкус домашнего клубничного пирога.

В ее детские годы в Ване праздники всегда сводились к двум поводам — национальному и религиозному. Ее родители отмечали рождение пророка Мухаммеда и рождение Турецкой Республики, однако рождение простого смертного достаточным поводом для ежегодного празднества не считали. Лейла никогда не спрашивала их почему. И только уйдя из дома, оказавшись в Стамбуле и узнав, что люди, оказывается, получают торты или подарки в свои особые даты, она задалась этим вопросом. И с тех пор каждый год 6 января Лейла изо всех сил старалась веселиться, несмотря ни на что. И, даже заметив, что кто-то слишком уж бурно празднует, она никогда никого не осуждала: кто знает, а вдруг этот человек тоже старается компенсировать те дни рождения, которых у него не было в детстве?

Каждый год ее друзья устраивали ей праздник с кексиками, разнообразными украшениями и со множеством воздушных шариков. Это делали все пятеро: Саботаж Синан, Ностальгия Налан,

Джамиля, Зейнаб-122 и Голливуд Хюмейра.

Лейла никогда и не думала, что можно иметь больше пяти друзей. Иметь одного — и то огромное счастье. Если очень повезло, будут два или три, а если уж родился под счастливой звездой — тогда квинтет, более чем достаточно на всю жизнь. Неумно стремиться к большему, дабы не ставить под удар тех, на кого рассчитываешь.

Она часто думала, что пять — особое число. В Торе пять книг. Иисус страдал от пяти смертельных ран. В исламе пять столпов веры. Царь Давид убил Голиафа пятью камнями. В буддизме пять путей, и на каждом из них Шива показывает один из своих пяти ликов и смотрит в пяти разных направлениях. Китайская философия крутится вокруг пяти элементов: вода, огонь, дерево, металл, земля. Да и признанных во всем мире вкусов всего пять: сладкий, соленый, кислый, горький и умами. Человеческое восприятие зависит от пяти основных чувств — слуха, зрения, осязания, обоняния и вкуса, пусть ученые заявляют, что их гораздо больше, и называют другие сложные имена; изначально чувств пять, и они всем известны.

В последний, как оказалось, день ее рождения друзья запланировали богатое меню: жаркое из

ягненка с пюре из баклажанов, *бурек* со шпинатом и сыром фета, фасоль с пряной пастромой, зеленые фаршированные перцы и маленькая баночка свежей икры. Предполагалось, что пирог будет сюрпризом, но Лейла услышала их обсуждения: стены в квартире были тоньше, чем куски пастромы, а Налан после десятилетий постоянного курения и еще более постоянного пьянства не шептала, а скрипела, и голос ее звучал хрипло, словно наждак по металлу.

Клубничный крем и сказочно-розовые взбитые сливки сверху. Вот что они планировали. Лейла не очень любила розовый цвет. Куда больше ей нравилась фуксия — цвет ее личности. Даже название приятно растекалось по языку, вкусно-сладкое и энергичное. Розовый — это фуксия без шероховатостей, бледный и безжизненный, словно застиранное до дыр белье. Может быть, ей следовало попросить торт цвета фуксии?

— Сколько свечей поставим? — спросила Голливуд Хюмейра.

— Тридцать одну, дорогуша, — ответила Лейла.

— Разумеется, тридцать одну, черт возьми! — хмыкнула Ностальгия Налан.

Если дружба подразумевает ритуалы, у них их было вагон и маленькая тележка. Кроме дней

рождения, они праздновали еще День победы, День памяти Ататюрка, молодежи и спорта, День национальной независимости и детей, День республики, День каботажного судоходства, День святого Валентина, Новый год… При любой возможности они вместе ужинали, устраивали пирушки с деликатесами, которые могли позволить себе лишь с большим трудом. Ностальгия Налан готовила свой любимый напиток — коктейль «Пата-пата бум-бум», рецепт его она узнала, флиртуя с барменом в «Караване». Сок граната, сок лайма, водка, измельченные листья мяты, семена кардамона и щедрая порция виски. Те, кто употреблял алкоголь, хмелели, и щеки их становились ярко-красными. Абсолютные трезвенники пили «фанту» вместо коктейля. Остаток вечера они проводили за просмотром черно-белых фильмов. Все вместе втиснувшись на диван, они смотрели один фильм за другим, полностью погрузившись в процесс и храня молчание, ну разе что иногда вырывался у кого-то «ох!» или «ах!». Старые голливудские и турецкие звезды мастерски удерживали внимание зрителей. Лейла и ее друзья наизусть знали все их реплики.

Лейла никогда не говорила этого своим друзьям, во всяком случае настолько подробно, но

они были ее подушкой безопасности. Всякий раз, когда она спотыкалась или даже падала, друзья оказывались рядом, поддерживали и смягчали силу удара. В те ночи, когда клиенты обходились с ней слишком жестоко, она находила силы держаться именно благодаря тому, что друзья самим фактом своего существования были снадобьем для ее царапин и синяков, а в те дни, когда она предавалась жалости к самой себе, когда казалось, что грудь разрывается от боли, они ставили ее на ноги и вдыхали ей в легкие жизнь.

Сейчас, когда ее разум подошел к мертвой точке и все воспоминания растаяли в стене тумана, плотной, как печаль, последней деталью, которую она увидела внутренним взором, был ярко-розовый именинный торт. Тем вечером они болтали и смеялись, словно ничто не способно разделить их, а жизнь — всего лишь спектакль, волнующий и тревожный, но реальной опасности в нем нет, он — просто чужой сон, куда тебя зачем-то пригласили. По телевизору Рита Хейворт откинула волосы и тряхнула бедрами, ее платье с шелковистым шорохом упало на пол. Качнув головой в сторону камеры, она улыбнулась своей характерной улыбкой, той самой, которую зрители во всем мире считали распут-

ной. Но только не Лейла и ее друзья. Старушка Рита была не в силах одурачить их. Они всегда узнавали печальных женщин с первого взгляда.

Часть вторая. Тело

Морг

Морг располагался в задней части больницы, в северо-восточном углу подвального этажа. Ведущий к нему коридор был выкрашен в бледно-зеленый цвет, напоминающий о капсулах прозака. В нем было ощутимо холоднее, чем в других больничных помещениях, словно там днем и ночью гуляли сквозняки. В тамошнем воздухе висел резкий химический запах. Цвета вокруг было немного — меловой белый, стальной серый, ледяной голубой и темный ржаво-красный, цвет запекшейся крови.

Обтирая руки о халат, патологоанатом, слегка сутулый сухопарый мужчина с выпуклым высоким лбом и обсидианово-черными глазами, посмотрел на вновь привезенное тело. Еще одна жертва убийства. Безразличие отразилось на его лице. Долгие годы он видел их бессчетное количество — молодых и старых, богатых и бедных, тех, кого сразила шальная пуля, и тех, кого хладнокровно расстреляли. Каждый день привозили все новые и новые тела. Он точно знал, в какое время года подобные случаи учащаются, а когда их количество снижается. Убийств всегда больше

летом, чем зимой, с мая по август — пиковый сезон тяжких изнасилований и покушений на убийства в Стамбуле. С приходом октября вместе с температурой сильно понижался и уровень преступлений.

У патологоанатома была собственная теория, почему так происходит, и он не сомневался: все дело в том, чем люди питаются. Осенью косяки пеламиды отправляются на юг — из Черного моря в Эгейское, они плывут так близко к поверхности воды, будто обессилели от этой вынужденной миграции и постоянной угрозы в виде траулеров и хотят, чтобы их выловили раз и навсегда. Люди начинают употреблять в пищу эту вкусную жирную рыбу в ресторанах, гостиницах, офисных столовых и дома — и уровень серотонина у них растет, а уровень стресса резко падает. В итоге законы они нарушают реже. Однако чудесной пеламиды надолго не хватит. Вскоре количество преступлений снова вырастет. В стране, где правосудие всегда запаздывает, если вообще приходит, многие граждане мстят самостоятельно, отвечая на зло еще большим злом. «Два ока за одно и челюсть за зуб». Не сказать чтобы все преступления планировались. На самом деле многие совершались совершенно спонтанно. Взгляд, ко-

торый принимали за непристойный, вполне мог послужить причиной убийства. Неправильно понятое слово могло служить поводом для кровопролития. В Стамбуле убийство — дело заурядное, а смерть и того зауряднее.

Патологоанатом осмотрел тело, откачал жидкости и вскрыл грудную клетку, прорезав от каждой ключицы до грудины. Он довольно долго изучал повреждения и отметил татуировку над правой лодыжкой женщины, а также определил причину появления обесцвеченного участка кожи у нее на спине — шрам, явно возникший от химического ожога каким-то едким веществом, вероятнее всего кислотой. Он предположил, что это случилось лет двадцать назад. Ему было любопытно, как это произошло. Может быть, на нее напали со спины, а может, это был несчастный случай. А если так, откуда вдруг к ней попало такое вещество?

Полный анализ внутренних органов не требовался, так что он сел и написал поверхностный отчет. Для получения дополнительной информации он обратился к полицейскому рапорту, вложенному в папку.

Имя/фамилия: Лэйла Акарсу
Среднее имя: Афифа Камила

Адрес: улица Лохматого Кафки, 70/8, Пера, Стамбул

Тело принадлежит хорошо развитой белой женщине с повышенным пищевым статусом, рост 5 футов 7 дюймов, вес 135 фунтов. Судя по всему, настоящий возраст не совпадает с тем, что указан в удостоверении личности, — 32 года. Вероятно, ей между 40 и 45 годами. Осмотр проводился с целью установления причины и рода смерти.

Одежда: платье с золотистыми пайетками (разорванное), туфли на высоком каблуке, кружевное белье. В сумочке-клатче лежали удостоверение личности, помада, блокнот, авторучка и ключи от дома. Денег и драгоценностей не обнаружено (возможно, они украдены).

Смерть произошла между 3:30 и 5:30. Следов полового сношения не обнаружено. Жертву ударили тяжелым тупым предметом, а после потери сознания задушили.

На мгновение он перестал печатать. Отметина на шее женщины тревожила его. Рядом со следами от пальцев убийцы виднелась красноватая полоса, которая, видимо, была нанесена уже после смерти. Возможно, на ней было ожерелье, сорванное после. Впрочем, особого значения это

уже не имело. Как и все тела, за которыми никто не приходил, ее отправят на кладбище Кимсэсизлер-Мезарлыи.

Эта женщина не подлежала исламским ритуалам захоронения. Да и вообще никаким религиозным ритуалам, если уж на то пошло. Родственники не станут обмывать ее тело и заплетать волосы в три косы, не положат ее руки на грудь в позу вечного покоя, не закроют ее веки, чтобы с этого момента направить взор только внутрь. На кладбище никто не будет нести гроб, никто не станет скорбеть, имам не станет читать молитвы, да и профессиональных плакальщиков, которые будут рыдать и завывать громче всех, тоже никто не наймет. Ее похоронят так, как хоронят всех ненужных, — тихо и быстро.

А после этого, скорее всего, никто не навестит ее могилу. Может быть, старая соседка или племянница — достаточно дальняя родственница, которая не станет опасаться, что этим навлечет позор на свою семью, — появится пару раз, а потом все посещения прекратятся. Всего через несколько месяцев могила этой женщины без всяких помет и надгробных камней полностью сольется с окружающей местностью. И даже меньше чем через десятилетие никто уже не

сможет определить, где именно она захоронена. Она станет очередным номером на Кимсэсизлер-Мезарлыи, еще одна несчастная душа, чья жизнь отзывается в первой строке любой анатолийской сказки: «Жила-была, а может, и не была…»

Патологоанатом сгорбился над письменным столом и сосредоточенно сморщил лоб. У него не было никакого желания знать, кем была эта женщина и какую жизнь могла вести. Даже когда он только начал работать, истории жертв мало волновали его. По-настоящему интересовала его лишь сама смерть. Не в теологическом или философском смысле, а как научное изыскание. Он не переставал поражаться тому, как мало продвинулось человечество в том, что касалось обрядов погребения. Биологический вид, который сумел изобрести электронные часы, открыл ДНК и разработал аппараты МРТ, серьезно застопорился в смысле обращения с мертвыми. Едва ли что-то продвинулось по сравнению с обычаями тысячелетней давности. Конечно, те, кто купается в деньгах и обладает воображением, может придумать для себя нечто более интересное, чем остальные. Например, при желании можно выбросить останки в открытый космос. Или заморозить свое тело в надежде, что спу-

стя сто лет найдут способ его оживить. Однако для большинства людей выбор весьма скуден: захоронение или кремация. Вот и все. Если там, наверху, есть Бог, Он, наверное, лопается со смеху над людьми, которые способны были создать атомные бомбы и искусственный интеллект, но до сих пор тревожатся по поводу собственной смерти и не знают, что делать с мертвыми. Как же это убого — выносить смерть на периферию жизни, когда она в центре всего!

Патологоанатом очень долго работал с трупами, предпочитая их молчаливое соседство бесконечной болтовне живых. Но чем больше тел он осматривал, тем больше интереса у него вызывал процесс умирания. Когда именно живое существо превращается в труп? В юности, когда он только окончил медицинский институт, у него был четкий ответ, но сейчас он уже не был так уверен. Теперь ему казалось, что, точно как камень, попадающий в пруд и служащий причиной исходящих от него кругов, прекращение жизни становится причиной ряда перемен, существенных и несущественных, и признавать факт смерти можно лишь тогда, когда завершатся финальные изменения. В медицинских журналах, которые он скрупулезно изучал, ему

довелось прочитать сенсационное исследование, приведшее его в полный восторг. Исследователи в нескольких организациях с мировым именем наблюдали неослабевающую мозговую деятельность у тех, кто только что умер. В некоторых случаях она длилась всего несколько минут, а в иных — до десяти минут и тридцати восьми секунд. Что происходит в это время? Вспоминают ли умершие свое прошлое, и если да, то что именно и в каком порядке? Как разум может сжать целую жизнь так, чтобы она уместилась всего в несколько минут — столько же, сколько требуется для закипания воды в чайнике?

Последующие исследования показали, что более тысячи генов продолжают функционировать в телах и спустя несколько дней после констатации смерти. Возможно, мысли человека живут дольше, чем его сердце, мечты — дольше, чем его поджелудочная, а желания — продолжительнее, чем желчный пузырь… Если это правда, может, людей следует считать полуживыми, пока воспоминания, которые сделали их самими собой, все еще колышутся, расходятся кругами и остаются в этом мире? Пусть он пока не знал точных ответов на эти вопросы, но очень ценил возможность их отыскать. Патологоанатом никогда никому не

расскажет об этом, потому что его вряд ли поймут, но ему очень нравилось работать в морге.

Стук в дверь резко оторвал его от мыслей.

— Войдите.

В кабинет, прихрамывая, вошел больничный служитель Камил Эффенди. Это был добродушный человек с нежной душой, несмотря на многие годы бессменной работы в этой больнице. Изначально его нанимали для выполнения неквалифицированной работы, однако он делал все, о чем бы ни попросили, порой даже зашивал пациентов в травмопункте, если не хватало хирургов.

– *Салам алейкум*, доктор.

– *Алейкум салам*, Камил Эффенди.

— Это и есть проститутка, о которой судачат сестры?

— Да. Ее привезли около полудня.

— Бедняжка, пусть Аллах простит все прегрешения, которые она могла совершить.

Патологоанатом улыбнулся, но улыбка эта не тронула его глаз.

— Могла? Забавные вещи говоришь, учитывая, кем она была. Вся ее жизнь была полна греха.

— Ну, возможно, это так… однако как знать, кто больше заслуживает рая — эта несчастная жен-

щина или какой-нибудь фанатик, считающий, что лишь он один избран Богом.

— Ну-ну, Камил Эффенди! А я и не знал, что ты неравнодушен к шлюхам. Но будь осторожнее. Мне-то все равно, но многие наверняка могут поколотить тебя, услышав такие речи.

Старик не двигался и молчал. Он печально смотрел на тело, как будто когда-то знал погибшую. Казалось, что она спокойна. Большинство тел, которые он видел за долгие годы, казались такими же, и он часто задумывался: а может, они испытывают облегчение, что больше не надо сражаться с миром и его недоразумениями?

— У нее есть родственники, доктор?

— Не-а. Ее родители живут в Ване. Им сообщили, но они отказались забрать тело. Обычное дело.

— А братья или сестры?

Патологоанатом посмотрел в свои записи:

— Кажется, у нее не было… а-а… вот, брат умер.

— А еще кто-нибудь?

— Надо понимать, у нее есть тетя, которая больна… так что она не поможет. И… э-э-э… еще тетя и дядя…

— Может быть, кто-то из них поможет?

— Увы. Оба сказали, что не хотят иметь с ней

ничего общего.

Поглаживая усы, Камил Эффенди переступил с ноги на ногу.

— Ладно, я почти закончил, — сказал патологоанатом. — Можешь отвезти ее на кладбище, в обычное место.

— Доктор, я тут подумал… Во дворе стоит группа людей. Они ждут уже несколько часов. Они очень подавлены.

— Кто они?

— Ее друзья.

— Друзья? — повторил патологоанатом так, словно для него это новое слово.

Ему это было неинтересно. Друзья уличной девки могут быть лишь такими же уличными девками, людьми, которых он, возможно, однажды увидит на этом самом стальном столе.

Камил Эффенди тихо кашлянул.

— Мне бы очень хотелось отдать тело им.

На это его собеседник нахмурился, и в его глазах зажегся суровый огонек.

— Ты прекрасно знаешь, что мы не имеем права это делать. Мы можем передавать тела только ближайшим родственникам.

— Я знаю, но… — осекся Камил Эффенди. — Если нет родственников, почему бы друзьям самим не

устроить похороны?

— Наше государство не позволяет этого — и не просто так. Мы никогда не сможем подтвердить, кто они. Психов в мире полно: психопатов, тех, кто ворует внутренние органы… Начнется светопреставление.

Врач посмотрел на лицо старика — он не был уверен, что тот понял последнее слово.

— Да, но в подобных случаях — кому какое дело?

— Послушай, не мы придумали эти правила. Мы просто должны им следовать. Не пытайся установить новые порядки в старой деревне. В этой больнице и без того немало проблем.

Старик понимающе шевельнул головой:

— Хорошо, я понимаю. Я позвоню на кладбище. Чтобы убедиться, что там есть место.

— Да, правильно, проверь. — Патологоанатом вынул из папки стопку бумаг, взял ручку и постучал ею по щеке. Затем проштамповал и подписал каждую страницу. — Скажи, что пришлешь тело вечером.

Впрочем, это было пустой формальностью. Оба знали, что на других городских кладбищах места могут быть заняты на годы вперед, зато на Кимсэсизлер-Мезарлыи, самом одиноком кладбище в

Стамбуле, всегда найдется свободный участок.

Пятеро

Во дворе больницы на деревянной скамейке, прижавшись друг к другу, сидели пять фигур. На камни мостовой они отбрасывали длинные тени, контрастировавшие по формам и размерам. Они прибыли сюда сразу после полудня, один за другим, и ждали уже много часов. Сейчас солнце постепенно клонилось к закату, и его свет наискосок струился между каштанами. Раз в несколько минут кто-то из них вставал и устало тащился к зданию, чтобы поговорить с управляющим, врачом или медсестрой — с тем, кого удавалось поймать. Но толку от этого не было никакого. Как бы они ни настаивали, им не удавалось получить разрешение увидеть тело подруги, не говоря уже о том, чтобы захоронить его.

Но уйти они все равно отказывались. Они продолжали ждать — лица их усохли от горя, словно выдержанная древесина. Другие люди во дворе — посетители и работники — бросали озадаченные взгляды в их сторону и перешептывались друг с другом. Девочка-подросток, сидевшая возле мамы, наблюдала за каждым их движением, но в любопытстве сквозило презрение. Пожилая

женщина в платке окинула их хмурым брезгливым взглядом, которым всегда одаривала всяких чудаков и посторонних. Друзья Лейлы были здесь чужими, впрочем вряд ли где-то их сочли бы своими.

Стоило лишь вечерней молитве огласить окрестности ближайшей мечети, какая-то женщина с аккуратной короткой стрижкой и до странности прямой походкой быстро вышла из здания и направилась прямо к ним. На ней была прикрывавшая колени юбка-карандаш цвета хаки и пиджак в тонкую полоску такого же цвета, на нем красовалась большая брошь в виде орхидеи. Она была директором отдела медицинского обслуживания пациентов.

— Вам нет смысла оставаться здесь, — сказала женщина, не глядя никому в глаза. — Ваша подруга… Врач осмотрел тело и написал официальное заключение. Вы можете запросить его копию, если хотите. Она будет готова примерно через неделю. Но сейчас вам необходимо уйти, прошу вас. Вы всем создаете неудобства.

— Не утруждайтесь напрасно. Мы никуда не уйдем, — сказала Ностальгия Налан; она продолжала сидеть, словно настаивая на своей правоте, тогда как остальные, завидев женщину, встали.

Глаза у Налан были тепло-карими, миндалевидными, но обычно смотревшие на нее люди замечали не это. Они видели длинные наманикюренные ногти, широкие плечи, кожаные брюки, силиконовые груди. Они видели бесстыдную транссексуалку, которая пялилась на них. Это же видела и служащая больницы.

— Прошу прощения? — раздраженно отозвалась она.

Налан бережно открыла свою сумочку, вынула сигарету из серебряного портсигара, но не стала прикуривать, несмотря на большое желание это сделать.

— Я говорю, что мы никуда не уйдем, пока не увидим свою Лейлу. Если понадобится, мы разобьем здесь лагерь.

Брови женщины поплыли вверх.

— Полагаю, вы меня недослышали, так что я попытаюсь выразиться яснее: ждать нет необходимости. Вы ничем не поможете своей подруге. Вы не родственники.

— Мы ей ближе, чем родственники, — дрожащим голосом возразил Саботаж Синан.

Налан с усилием сглотнула. В ее горле застрял комок, с которым она ничего не могла поделать. С тех пор как она узнала об убийстве Лейлы, Налан

не проронила ни слезинки. Что-то мешало ее боли — ярость, делающая жестче каждый ее жест, каждое слово.

— Послушайте, это не касается моей организации, — заметила директор. — Дело в том, что вашу подругу отвезли на кладбище. Вероятно, ее уже захоронили.

— Что… Что вы сейчас сказали? — Налан медленно поднялась на ноги, словно только что очнулась от сна. — Почему нас не предупредили?

— По закону у вас нет права…

— По закону? А по-человечески? Если бы мы знали, мы бы поехали с ней. И куда же вы отвезли ее, идиоты несчастные?!

Директор поморщилась, ее глаза на секунду расширились.

— Во-первых, вы не имеете права разговаривать со мной в таком тоне. А во-вторых, я не уполномочена сообщать…

— Тогда пойдите приведите того, кто уполномочен, черт возьми!

— Со мной не следует разговаривать в таком тоне! — возмутилась директор, и ее подбородок задрожал. — Боюсь, мне придется попросить охрану вывести вас за пределы территории боль-

ницы.

— Боюсь, мне придется треснуть вас по физиономии, — отозвалась Налан, но друзья схватили ее за руки и оттащили в сторону.

— Мы должны сохранять спокойствие, — прошептала Джамиля, впрочем было неясно, услышала ли Налан это предупреждение.

Директор отдела медицинского обслуживания пациентов резко развернулась и собралась уже двинуться прочь, но потом остановилась и бросила на них косой хмурый взгляд:

— Для таких людей существуют специальные кладбища. Меня удивляет, что вы этого не знали.

— Сучка, — тихо пробормотала Налан.

Ее низкий хриплый голос был все равно слышен; разумеется, она и хотела, чтобы эта женщина знала, что они о ней думают.

Спустя несколько минут охранники выпроводили друзей Лейлы с территории больницы. На мостовой собралась толпа зевак с удивленными улыбками на лицах — они безотрывно наблюдали за происходящим, что в очередной раз доказывало: Стамбул был и навсегда останется городом спонтанных представлений и всегда готовых к ним заинтересованных зрителей. Однако никто не обратил внимания на старика, который

шел за этой группой, отставая на пару метров.

После того как неуправляемая пятерка была спроважена охранниками до какого-то угла вдали от больницы, Камил Эффенди приблизился к ним:

— Прошу прощения, что вмешиваюсь. Но можно мне поговорить с вами?

Один за другим друзья Лейлы обернулись и пристально посмотрели на старика.

— Что ты хочешь, *амджа*? — спросила Зейнаб-122.

Тон у нее был подозрительный, но не враждебный. За очками в черепаховой оправе глаза у нее покраснели и опухли.

— Я работаю в больнице, — подавшись вперед, сказал старик. — Я видел, что вы ждали… и соболезную вашей потере.

Друзья Лейлы на мгновение замерли, ведь они не ожидали, что незнакомец отнесется к ним с сочувствием.

— Скажите, а вы видели тело? — спросила Зейнаб-122 и чуть более тихим голосом добавила: — Вы думаете… она сильно страдала?

— Да, я видел ее. Полагаю, это была быстрая смерть. — Камил Эффенди кивнул, стараясь убедить не только других, но и самого себя. — Я

занимался ее отправкой на кладбище. Это там, в Килиосе. Я не уверен, что вы слышали о нем, его знают не многие. Его называют Кимсэсизлер-Мезарлыи. По мне, не очень-то хорошее название. Там нет надгробий, только деревянные таблички с номерами. Но я могу сказать вам, где она похоронена. Вы имеете право знать.

Сказав так, старик вынул кусок бумаги и ручку. Тыльные стороны его ладоней покрывали выпуклые вены и старческие пятна. Он быстро нацарапал номер своим неаккуратным почерком.

— Вот, держите. Идите навестите могилу своей подруги. Посадите красивые цветы. Помолитесь за ее душу. Я слышал, она из Вана. Оттуда же моя покойная жена. Она умерла во время землетрясения в семьдесят шестом. Мы несколько дней копались в обломках, но так и не смогли найти ее. Спустя два месяца бульдозеры сровняли всю местность. Люди постоянно говорили мне: «Не печалься, Камил Эффенди. Какая разница, в конце концов? Она похоронена, однажды все мы окажемся рядом с ней, на два метра под землей». Наверное, они не имели в виду ничего плохого, но, видит Бог, я ненавидел их за эти слова. Похороны для живых, это верно. Организовать

приличные похороны очень важно. Иначе внутри так и будет болеть, как думаете? Ладно, не обращайте внимания, я просто болтаю… Хотел сказать вам, что знаю, каково это — не попрощаться с близким человеком.

— Наверное, вам было очень тяжело, — выдавила Голливуд Хюмейра. Обычно ужасно болтливая, казалось, она потеряла дар речи.

— Горе как ласточка, — продолжал старик. — Однажды ты просыпаешься и думаешь, что оно прошло, но оно просто улетело в теплые края погреть свои перышки. Рано или поздно оно вернется и снова усядется у тебя на сердце, словно на карнизе.

Старик пожал руку всем друзьям Лейлы — одному за другим — и пожелал им удачи. Они смотрели, как он ковылял прочь, пока, войдя в огромные ворота, не скрылся за углом больничного здания. И только после этого Ностальгия Налан, широкоплечая и ширококостная женщина ростом шесть футов два дюйма, села на край тротуара, прижала колени к груди и зарыдала, словно ребенок, брошенный на чужой земле.

Все молчали.

Через некоторое время Хюмейра положила руку на поясницу Налан:

— Пойдем, моя дорогая. Пойдем отсюда. Нам нужно разобрать Лейлины вещи. Мы должны покормить Мистера Чаплина. Лейла ужасно расстроилась бы, если бы мы не позаботились о ее коте. Бедняжка, он, наверное, ужасно голодный.

Прикусив губу, Налан быстро вытерла глаза тыльной стороной ладони. Она встала, возвышаясь над всеми, несмотря на слабость в нетвердых ногах. В ее висках пульсировала тупая боль. Она жестом попросила друзей идти дальше без нее.

— Ты уверена? — с тревогой посмотрела на нее Зейнаб-122.

— Конечно, милая, — кивнула Налан. — Я догоню вас чуть позже.

Они послушались — как обычно.

Оставшись в одиночестве, Налан зажгла сигарету, о которой мечтала чуть ли не с полудня, но отказывала себе из-за астмы Хюмейры, сделала длинную затяжку и подержала ее в своих легких, а затем выдохнула спиральку дыма. «Вы не родственники», — сказала та руководительница. Что она о них знала? Да ничего, черт возьми! Она вообще не знала ни Лейлу, ни их всех.

Ностальгия Налан считала, что в этом мире встречаются родственники двух типов: родные по крови — и друзья, некровные родные. Если

кровные родственники оказываются хорошими и заботливыми, можешь считать себя счастливцем и наслаждаться этим, а если нет, у тебя все равно есть надежда — все может наладиться, стоит лишь покинуть свой дом, отвратительный дом.

Некровная родня появляется в более позднем возрасте и по большей части — по твоей собственной инициативе. Да, сложно заменить любящую, счастливую семью, своих родственников, но, если таковых не имеется, некровная родня поможет смыть боль, что черной сажей застревает внутри. А потому друзьям можно отвести особое место в своем сердце, куда большее, чем всем своим кровным родственникам, вместе взятым. Однако тем, кто никогда не ощущал презрения собственных родственников, не понять этой правды. Они никогда не узнают, что в некоторых случаях седьмая вода куда гуще того самого киселя.

Обернувшись, Налан бросила последний взгляд на больницу. Морга отсюда не было видно, однако она поежилась, ощутив холод, который пробрал ее до костей. Смерть не особенно пугала ее. Да и в жизнь после жизни она не верила — не могут все бесчинства этого мира обернуться благодатью в том. Будучи единственной открытой атеисткой среди друзей Лейлы, Налан считала плоть, а

вовсе не абстрактность вроде души вечной. Ее молекулы проникают в почву и дают удобрение растениям, эти растения поедают животные, а животных — люди, так что, несмотря на предположения большинства, человеческое тело бессмертно и находится в бесконечном путешествии по природным циклам. Чего еще требовать от загробного мира?

Однако Налан всегда считала, что именно она умрет первой. В каждой компании старых испытанных друзей есть человек, инстинктивно ощущающий, что уйдет раньше других. И Налан была уверена, что это именно она. Все эти эстрогенные препараты, лечение, блокирующее тестостерон, послеоперационные обезболивающие, не говоря уже о многолетнем обильном курении, неправильном питании и бесконечном пьянстве… Умереть должна была она. А никак не Лейла, полная жизни и сострадания. Это не переставало удивлять Налан и даже слегка раздражать: в отличие от нее самой, Стамбул не ожесточил Лейлу, не сделал ее циничной и озлобленной.

С северо-востока подул, пробираясь на материк и поднимая запахи стоков, ледяной ветер. Холод заставил Налан напрячься. Боль, пуль-

сировавшая в висках, сместилась — теперь она расползлась по груди, вонзилась в грудную клетку, словно чья-то рука сдавила ее сердце. Далеко впереди час пик был в самом разгаре: движение запрудило артерии города — города, который в этот момент напоминал огромное хворое животное, дышащее тяжело и прерывисто. Дыхание Налан было, напротив, учащенным и даже яростным, ее черты исказились жгучим негодованием. Беспомощность Налан усиливала даже не внезапная смерть Лейлы, не ужас и жестокость, которые ей сопутствовали, а совершенное отсутствие справедливости во всем этом. Жизнь полна несправедливости, но, как теперь понимала Налан, смерть превосходит ее в этом смысле.

Даже в детстве кровь у Налан вскипала, когда она видела, что с кем-нибудь — не важно, с кем, — обращаются жестоко и несправедливо. Она не была настолько наивна, не ждала честности от извращенного мира, как выражался Д/Али, но верила, что каждый имеет право на некую долю достоинства. И если сравнить эту долю достоинства с малюсеньким наделом земли, который принадлежит тебе, и только тебе, именно там ты посеешь семя своей надежды. Этот крохотный зародыш в один прекрасный день даст ростки

и расцветет. По мнению Налан, именно за это малюсенькое семя и следует бороться.

Она вынула листок бумаги, который они получили от старика, и прочитала неразборчивую запись: «Килиос, Кимсэсизлер-Мезарлыи, 705…» Последняя цифра, при ближайшем рассмотрении напоминающая корявую «2», едва уместилась в самом низу листка и была почти нечитаемой. Почерк, конечно, не самый аккуратный. Авторучкой, которую она носила в своей сумочке-клатче, Налан обвела каждое слово. Затем бережно сложила листок и вернула в свой карман.

Несправедливо выкидывать тело Лейлы на Кимсэсизлер-Мезарлыи, ведь она вовсе не была разобщена. У Лейлы были друзья. Верные, любящие друзья на всю жизнь. Может быть, ничего другого у нее и не было, но это есть наверняка.

Старик был прав, подумала Налан. Лейла заслуживает приличных похорон.

Резким движением она швырнула окурок на тротуар и сапогом раздавила тлеющий край. Со стороны порта медленно подползал туман, застилая кальянные и бары, располагавшиеся у самого берега. Где-то в этом городе-миллионнике убийца Лейлы ужинал или смотрел телевизор без каких-либо угрызений совести, а ведь он не

имеет права называться человеком.

Налан вытерла глаза, но слезы не унимались. По ее щекам текла тушь. Мимо прошли две женщины — обе с прогулочными колясками. Смерив ее удивленными, полными жалости взглядами, они отвернулись в сторону. И тут же на лице Налан отразилось страдание. Она привыкла, что ее внешность или ее сущность вызывают презрение или брезгливость. Это все ерунда, однако она не выносила жалости по отношению к себе и своим друзьям.

Поспешно уходя прочь, Налан уже приняла решение. Она даст сдачи, как привыкла поступать всегда. В ответ на правила общества, его осуждение и предрассудки… в ответ на немую ненависть, которая наполняет жизнь таких людей, словно газ без вкуса и запаха, она станет бороться. Никто не имеет права отбросить в сторону тело Лейлы, словно оно не имеет значения и не имело раньше. Она, Ностальгия Налан, сделает так, чтобы к ее старой подруге относились, как полагается, с уважением.

Еще не конец. Еще рано. Сейчас она поговорит с остальными, и вместе они отыщут способ устроить похороны Лейлы — и не какие-то там захудалые, а самые лучшие, каких еще не виды-

вал этот старый неуемный город.

Этот старый неуемный город

Стамбул — иллюзия. Неудавшийся трюк фокусника.

Стамбул — мечта, существующая лишь в умах поглотителей гашиша. На самом же деле одного Стамбула не существует. Стамбулов много — борющийся, соперничающий, конфликтующий, — и каждый из них понимает, что в итоге выживет лишь один.

Есть, например, древний Стамбул, созданный для передвижения пешком или на лодке, — город странствующих дервишей, предсказателей судеб, свах, мореплавателей, трепальщиков хлопка, выбивальщиков ковров и носильщиков с плетеными корзинами на спине… Есть современный Стамбул — огромный город, перенасыщенный машинами и мотоциклами, которые со свистом носятся туда-сюда, строительными грузовиками, которые везут материалы для возведения новых торговых центров, небоскребов, индустриальных районов… Величественный Стамбул против плебейского, международный Стамбул против провинциального, многонациональный Стамбул против обывательского, еретический

Стамбул против набожного, мужской Стамбул против женского, сделавшего Афродиту, богиню вожделения и междоусобиц, своим символом и защитницей… А еще есть Стамбул тех, кто давным-давно уехал, отправился в плавание к далеким портам. Для них этот город всегда будет полон воспоминаний, мифов и миссионерской тоски, всегда трудноуловим, как лицо любимой, тающее в тумане.

Все эти Стамбулы живут и дышат один в другом, словно ожившая матрешка. Но если бы даже какому-нибудь безумному волшебнику пришло в голову разделить их и расставить в ряд, в этом огромном строю вряд ли отыскался бы более желанный, более отвергаемый город, чем тот, что сосредоточился в пристанище демонов — в Пере. Эпицентр беспокойства и хаоса, этот район веками ассоциировался с либерализмом, распущенностью и вестернизацией — тремя силами, сбивавшими с пути истинного молодых турок. Его название произошло от греческого «на дальней стороне» или просто «над» или «за». За Золотым Рогом. Над привычными нормами. Это и был Перан-эн-Сикаис, как он раньше именовался, — «на противоположном берегу». И именно здесь до последнего дня обитала Текила Лейла.

После смерти Д/Али Лейла отказалась съезжать с их квартиры. Каждый угол этого жилища был наполнен смехом, его голосом. Плата была высокой, и Лейла едва наскребала на нее. Поздно ночью, вернувшись с работы, она тщательно отмывалась и оттиралась под душем с ржавой лейкой, в котором никогда не было столько горячей воды, сколько нужно. Потом, красная и растертая, словно младенец, она садилась в кресло у окна и наблюдала рассвет над городом. Ее окутывали воспоминания о Д/Али, мягкие и успокаивающие, словно теплое одеяло. Часто она просыпалась уже днем, скрюченная и с болью в конечностях, потому что засыпала прямо там, а Мистер Чаплин сворачивался у ее ног.

Улица Лохматого Кафки бежала между полуразрушенными зданиями и маленькими затрепанными магазинчиками, которые торговали осветительными приборами. По вечерам, когда включались все лампы, район погружался в оттенки сепии, словно на дворе был совсем другой век. Когда-то это место называлось улицей Мехового Кафтана, хотя некая группа историков настаивала, что это, напротив, улица Светловолосой Наложницы. Так или иначе, когда муниципалитет решил обновить указа-

тели с названиями улиц в рамках масштабной программы реновации, ответственный чиновник счел это название чересчур громоздким и сократил до улицы Кафтан. Так она и называлась до одного прекрасного утра — ночью накануне бушевали штормовые ветры, и с указателя упала одна буква, так что название теперь звучало так: улица Кафта. Но и это наименование долго не продержалось. Какой-то студент литературного факультета, воспользовавшись перманентным фломастером, поправил слово «Кафта» на «Кафка». Поклонники автора обрадовались новому названию, иные же понятия не имели, о ком речь, но все равно приняли это имя, так как им понравилось звучание.

Спустя месяц одна ультранационалистическая газета напечатала статью о тайном иностранном влиянии в Стамбуле, где утверждалось, что новое название улицы, явно указывающее на связь с еврейским писателем, — часть зловещего плана уничтожения местной мусульманской культуры. Была подана петиция о возвращении улице старого названия, хотя так и не было решено, какого именно. Между двумя балконами растянули плакат, который гласил: «Одна великая нация — люби ее или вали отсюда!» Омытый дождями и

выцветший от солнца, плакат дергался на *лодосе* — юго-западном ветре, — который в один прекрасный день все-таки оборвал ему веревки, и тот улетел в небо, словно злобный воздушный змей.

К тому времени ретрограды уже принялись за другие битвы. Прежнюю кампанию забыли так же быстро, как когда-то и начали. Со временем, как обычно бывает в этом шизофреническом городе, старое и новое, фактическое и выдуманное, реальное и сюрреалистичное слились воедино, и это место окрестили улицей Лохматого Кафки.

На середине улицы, зажатый между старым хамамом и новой мечетью, стоял многоквартирный дом, который когда-то был современным и величавым, но теперь совершенно не соответствовал этим определениям. Какой-то неумелый домушник разбил стекло на двери в парадное, испугался шума и дал деру, так ничего и не украв. Поскольку никто из жильцов не согласился раскошелиться на замену стекла, оно так и осталось заклеенным коричневой липкой лентой — такую обычно используют компании, занимающиеся переездами.

Напротив этой двери, обвернувшись собственным хвостом, как раз и сидел сейчас Мистер Чаплин. У него была угольно-черная шубка и

изумрудные глаза с золотистыми крапинками. Одна из его лапок была белой, словно он опустил ее в ведро с известкой, а потом вдруг передумал. Его ошейник, увешанный маленькими серебристыми бубенчиками, звякал в такт каждому движению кота. Но он этого не слышал. Ничто не нарушало тишину его вселенной.

Кот ускользнул из дому накануне вечером, когда Текила Лейла уходила на работу. В этом не было ничего необычного, так как Мистер Чаплин был ночным гулякой. Он всегда возвращался до рассвета, мучимый голодом и жаждой, и знал наверняка: хозяйка обязательно оставит дверь приоткрытой. Однако на этот раз, к его удивлению, дверь была закрыта. И он терпеливо ждал.

Час проходил за часом. Мимо проезжали машины, с остервенением бибикая, уличные торговцы громко хвалили свои товары, в школе за углом громкоговорители играли национальный гимн, и сотни учеников пели в унисон. Закончив пение, они произнесли коллективную клятву: «Моя жизнь посвящена турецкому народу». Где-то далеко, возле стройки, на которой совсем недавно насмерть задавили рабочего, затарахтел, сотрясая землю, бульдозер. Стамбульская разноголосица уперлась в небеса, однако и ее кот не услышал.

Мистеру Чаплину нужно было, чтобы его ласково погладили по голове. Он стремился наверх, в свою квартиру, где миска полна любимой еды — паштетом из макрели и картошки. Потягиваясь и выгибая спину, кот задавался вопросом: куда же, черт возьми, подевалась хозяйка и почему Текила Лейла так сильно запоздала сегодня?!

Горе

Опускались сумерки, когда друзья Лейлы, за исключением Ностальгии Налан, которая так и не догнала их, прибыли к многоквартирному дому на улице Лохматого Кафки. Войти им было нетрудно, так как у каждого имелся запасной ключ.

С приближением к входу на лице Саботажа все явственнее отражалась неуверенность. У него вдруг стянуло грудь, и он понял, что не готов войти в квартиру Лейлы и оказаться в оставшейся после нее болезненной пустоте. Ему страшно хотелось уйти, пусть даже от дорогих ему людей. Ему необходимо было побыть одному, хотя бы некоторое время.

— Возможно, мне следует сначала заехать в офис. Я так внезапно сбежал сегодня…

Этим утром Саботаж, услышав новости, схватил пиджак, вылетел за дверь и на бегу сообщил начальнику, что его сын слег с отравлением. «Грибы, это наверняка грибы, которые мы ели на ужин!» Объяснение было, конечно, не самым удачным, однако он не смог придумать ничего получше. Не мог же он сказать своим сослужив-

цам правду. Никто из них не знал о его дружбе с Лейлой. И вот теперь ему пришло в голову, что на работу могла позвонить его жена, а значит, у него могут быть неприятности.

— Ты уверен? — спросила Джамиля. — Ведь уже поздно.

— Я просто загляну туда, посмотрю, все ли нормально, и сразу же вернусь.

— Хорошо, но не слишком задерживайся, — ответила Хюмейра.

— Час пик уже… Я постараюсь.

Саботаж терпеть не мог машины, однако страдал клаустрофобией и был не способен находиться в переполненном автобусе или на пароме, а в такое время все автобусы и паромы, без сомнения, были полны людей, так что он болезненно зависел от личного транспорта.

Три женщины, стоявшие на тротуаре, смотрели ему вслед. Походка Саботажа была немного нетвердой, а взгляд прикован к мостовой, словно он не слишком-то верил в прочность земли. Его плечи опустились, а голову он склонил под странным углом, словно жизненные силы его покинули. Смерть Лейлы потрясла Синана до глубины души. Подняв ворот пиджака, чтобы защититься от усиливающегося ветра, Саботаж

исчез в людском море.

Зейнаб-122 незаметно смахнула слезу и поправила очки. Повернувшись к двум своим подругам, она сказала:

— Идите, девочки. Я загляну в продуктовый. Мне нужно приготовить халву для души Лейлы.

— Хорошо, милая, — отозвалась Хюмейра, — я оставлю дверь открытой для Мистера Чаплина.

Кивнув, Зейнаб-122 перешла дорогу с правой ноги.

– *Бисмиллях ар-Рахман ар-Рахим.* Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.

Ее тело, с младенчества искаженное генетическим заболеванием, старело быстрее обычного, будто жизнь была гонкой и оно должно было прийти к финишу раньше прочих. Однако жаловалась Зейнаб редко, и все ее жалобы предназначались Богу.

В отличие от других членов компании, Зейнаб-122 была глубоко религиозна. Верующая до мозга костей. Она молилась по пять раз в день, воздерживалась от алкоголя и постилась весь месяц Рамадан. Она изучила Коран еще в Бейруте, сравнивая многочисленные переводы. И могла по памяти цитировать его целыми сурами. Однако для нее религия была не застывшим во времени

Священным Писанием, а органичным живым существом. Неким сплавом. Зейнаб-122 смешивала письменное слово с устными традициями, добавляя сюда же щепотку суеверия и фольклора. И ей было необходимо сделать кое-что, чтобы помочь душе Лейлы на пути в вечность. Времени оставалось немного. Души передвигаются быстро. Нужно купить пасту сандалового дерева, камфару и розовую воду… и халву нужно сделать непременно, а потом раздать ее всем — и соседям, и незнакомцам. Нужно все приготовить, пусть даже ясно, что некоторые из друзей не оценят ее стараний, особенно Ностальгия Налан.

Времени терять было нельзя, и Зейнаб-122 направилась в ближайший магазин. Обычно она туда не ходила. Потому что Лейла не жаловала его хозяина.

В продуктовом магазине горел слабый свет, на полках, возвышавшихся от пола до потолка, стояли товары в жестяных банках и прочих упаковках. Человек, которого местные окрестили торговцем-шовинистом, стоял, опершись на деревянный прилавок, от времени истершийся до блеска. Подергивая длинную курчавую бороду, он сосредоточенно изучал вечернюю газету и даже шевелил губами, читая. Он смотрел прямо

на портрет Текилы Лейлы. «Четвертое таинственное убийство за месяц», — гласил заголовок. «Уличные женщины Стамбула в полной боевой готовности».

Из официальных источников известно, что эта женщина вернулась к работе на улицах после ухода из лицензированного борделя по крайней мере десять лет назад. Полиция считает, что во время нападения она была ограблена, поскольку на месте преступления не обнаружили ни денег, ни украшений. Ее дело уже связали с делами трех других проституток, убитых за последний месяц, всех их задушили. Это пролило свет на малоизвестный факт, что уровень убийств в среде стамбульских секс-работниц в восемнадцать раз превышает уровень убийств среди других женщин, и убийства проституток обычно так и остаются нераскрытыми отчасти потому, что бóльшая часть людей в этой индустрии не готова раскрыть важную информацию. Однако правоохранительные органы изучают несколько важных улик. Заместитель начальника полиции сообщил прессе…

Увидев Зейнаб-122, бакалейщик свернул газету и засунул ее в один из выдвижных ящиков. Ему

понадобилось чуть больше времени, чтобы взять себя в руки.

– *Салам алейкум*, — слишком громко произнес он.

– *Алейкум салам*, — ответила Зейнаб-122, остановившись возле мешка с фасолью, который был выше ее.

— Мои соболезнования. — Бакалейщик вытянул шею и выпятил подбородок, чтобы лучше разглядеть покупательницу. — По телевизору передавали, вы смотрели дневные новости?

— Нет, не смотрела, — отрезала Зейнаб-122.

– *Иншаллах!* Если пожелает Аллах! Они скоро поймают этого маньяка. Не удивлюсь, если убийца окажется каким-нибудь бандитом. — Он кивнул сам себе. — Они все, что угодно, сделают ради денег, эти мародеры! Слишком много в этом городе курдов, арабов, цыган и всякой другой нечисти. С тех пор как они сюда понаехали, никакой жизни не стало!

— Я арабка.

— О, но я не вас имею в виду, — улыбнулся он.

Зейнаб-122 посмотрела на фасоль. Если бы здесь была Лейла, подумала она, то быстро поставила бы на место этого отвратительного человека. Но Лейлы больше не было, а Зейнаб-122, которая

очень не любила конфликтовать, не знала толком, как вести себя с теми, кто ее раздражал.

Снова подняв глаза, она увидела, что бакалейщик ждет, когда она заговорит.

— Простите, я задумалась.

Мужчина понимающе кивнул:

— Это четвертая жертва за месяц. Никто не заслужил такой смерти, даже падшая женщина. Я никого не осуждаю, поймите меня правильно. Я всегда говорю себе: Аллах накажет каждого, как Он считает нужным. Он не упустит ни одного греха.

Зейнаб-122 дотронулась до своего лба. Она почувствовала, что у нее начинает болеть голова. Странно. Она никогда не страдала от мигреней. Это Лейла обычно мучилась ими.

— И когда же похороны? Ее родственники уже все подготовили?

От этого вопроса Зейнаб-122 поморщилась. Последнее, что она хотела бы рассказать этому любопытному типу, — это то, что Лейлу похоронили на Кимсэсизлер-Мезарлыи, а родственники отказались забирать ее тело.

— Простите, я тороплюсь. Можно мне бутылку молока и пачку масла? И манку, пожалуйста.

— Конечно, будете делать халву? Прекрасно. Не

забудьте и мне принести немного. И не волнуйтесь — это за счет заведения.

— Нет, спасибо. Я не могу с этим согласиться.

Поднявшись на цыпочки, Зейнаб-122 положила деньги на прилавок и отступила на шаг назад. В животе у нее заурчало. Она вспомнила, что не ела весь день.

— Э-э… и еще: у вас, случайно, нет розовой воды, пасты сандала и камфары?

Торговец смерил ее любопытным взглядом:

— Разумеется, сестра, одну секунду. У меня есть все, что нужно. Я никогда не понимал, почему Лейла так редко ко мне заходила.

Квартира

Вернувшись с очередной прогулки, Мистер Чаплин обрадовался, что дверь подъезда отворена. Он пробрался в дом и, оказавшись внутри, помчался вверх по лестнице; бубенчики на его ошейнике бешено зазвякали.

Как только кот подошел к квартире Лейлы, дверь открылась и на пороге появилась Голливуд Хюмейра с пакетом мусора в руке. Она поставила его у входа. Смотритель заберет его чуть позже вечером. Она как раз собиралась зайти обратно, но тут увидела кота. Хюмейра отступила в коридор, и ее широкие бедра закрыли свет.

— Мистер Чаплин! А мы-то думали, куда ты делся!

Кот потерся о ноги женщины, пухлые, крепкие, покрытые сине-зелеными венами, выпиравшими из-под кожи.

— Ах ты, хитрюга! Заходи. — И Хюмейра впервые за много часов улыбнулась.

Мистер Чаплин проворно рванул в столовую, которая служила еще и гостиной. Он прыгнул в корзину, устеленную флисовым пледом. Прикрыв один глаз, он осмотрел комнату, словно восста-

навливая в памяти каждую деталь и стремясь убедиться, что за время его отсутствия ничего не изменилось.

Пусть квартира и нуждалась в ремонте, она была прелестна — в пастельных тонах, с окнами, выходящими на юг, высокими потолками, камином, который выполнял скорее эстетические, чем практические функции, золотисто-голубыми обоями, кое-где отклеившимися по краям, низкими хрустальными люстрами и неровными и потрескавшимися, но зато свежевымытыми дубовыми половицами. На каждой стене в рамах висели картины разнообразных размеров. Их автором был Д/Али.

Два больших фасадных окна смотрели на крышу Галатской башни, которая сердито взирала на жилые дома и небоскребы, расположившиеся в отдалении, будто напоминая им, пусть сейчас это сложно себе представить, что когда-то она была самым высоким зданием в городе.

А Хюмейра тем временем вошла в спальню Лейлы и принялась, рассеянно напевая себе под нос, осматривать коробки с безделушками. Это была старомодная мелодия, и Хюмейра не понимала, почему выбрала именно ее. Голос женщины звучал устало, но щедро и ярко. Она

много лет пела в захудалых ночных клубах Стамбула и играла в малобюджетных турецких фильмах, включая непристойные, о чем ей до сих пор неловко вспоминать. В те времена у нее была хорошая фигура, без варикозных вен. Но жизнь тогда была опасная. Однажды ее ранили в перестрелке между двумя враждующими мафиозными кланами, а еще один раз ей в колено выстрелил сумасшедший поклонник. Теперь она была старовата для такой жизни. Ночь за ночью Хюмейра вдыхала бесконечный сигаретный дым, ее астма обострилась, и она стала носить с собой в кармане ингалятор, который довольно часто использовала. За годы она набрала большой вес — один из многочисленных побочных эффектов от таблеток, в течение десятилетий ей приходилось глотать их горстями, словно сладости. Снотворные, антидепрессанты, нейролептики…

Хюмейра полагала, что есть нечто общее между ожирением и склонностью к меланхолии. В обоих случаях общество обвиняет самого больного. Ни к одной другой болезни так не относятся. Люди с другими недугами по крайней мере получают хоть толику сочувствия и моральной поддержки. Но только не полные и не те, кто подвержен депрессии. *Можно попридержать свой аппетит…*

Можно контролировать свои мысли… Но Хюмейра знала: ни вес, ни привычное отчаяние от нее не зависят. Лейла это понимала.

— Почему ты пытаешься побороть депрессию?

— Потому что я должна это делать… Так все говорят.

— Моя мама — я называла ее тетей — часто чувствовала то же самое, а может, даже хуже. Люди всегда советовали ей побороть депрессию. Но у меня такое ощущение, что, как только мы начинаем видеть в чем-то врага, он становится сильнее. Как бумеранг. Ты отшвырнешь его, а он возвращается и с силой бьет тебя в лицо. Возможно, тебе стоит подружиться с депрессией.

— Что-то странное ты говоришь, дорогая. Как я могу это сделать?

— Ну подумай сама: друг — тот, с кем ты можешь поговорить в темноте и узнать от него много полезного. Но еще ты знаешь, что вы очень разные — ты и твой друг. Ты не депрессия. Ты куда больше, чем просто настроение сегодня или завтра.

Лейла заставила Хюмейру сократить количество таблеток и найти хобби, начать заниматься спортом или стать волонтером в женском приюте — помогать тем, кому пришлось пережить

то же, что и ей. Однако Хюмейре казалось, что быть среди людей, с которыми жизнь обошлась жестоко, чрезвычайно тяжело. Когда она раньше пыталась сделать подобное, все ее добрые слова будто превращались в пустое дуновение ветра. Как можно дать другим надежду, как можно их порадовать, если ее саму постоянно осаждают страхи и тревоги?

Еще Лейла купила ей книги по суфизму, индийской философии и йоге — все это заинтересовало ее после смерти Д/Али. Хюмейра полистала книги, но дальше в этом направлении не продвинулась. Ей казалось, что все это, пусть даже простое и удобное, по большей части создано для более здоровых, счастливых или просто-напросто удачливых людей, чем она сама. Как медитация поможет успокоить твой разум, если его нужно успокоить для самой этой медитации? Внутри у Хюмейры постоянно царило беспокойство.

Теперь, когда Лейлы больше не было, непроглядная чернота страха металась в голове Хюмейры, словно попавшая в ловушку муха. Когда они вышли из больницы, Хюмейра приняла ксанакс, но, похоже, он не подействовал. Ее разум мучили кровавые картинки насилия. Жестокости. Резни. Бесчувственное, бессмысленное, необоснованное

зло. Серебристые машины мелькали перед ее глазами, словно ножи во тьме. Вздрагивая, Хюмейра хрустела костяшками усталых пальцев и заставляла себя продолжать делать дело, хотя ее огромный узел на затылке развалился и пряди волос падали на шею. Под кроватью Хюмейра нашла стопку старых фотографий, но смотреть на них было слишком больно. Об этом она думала в тот момент, когда заметила шифоновое платье цвета фуксии, висевшее на спинке стула. Хюмейра взяла его в руки, и лицо ее помрачнело. Это было любимое платье Лейлы.

Обычные горожанки

Зейнаб-122 вошла в квартиру, слегка задыхаясь, в каждой руке у нее было по тяжелой сумке с продуктами.

— Сдохнуть можно на этой лестнице.

— Почему ты так долго? — спросила Голливуд Хюмейра.

— Мне пришлось разговаривать с этим ужасным человеком.

— С кем?

— С торговцем-шовинистом. Лейла всегда его недолюбливала.

— Верно, так и было, — задумчиво произнесла Хюмейра.

Некоторое время женщины молчали. Каждая погрузилась в собственные мысли.

— Нам нужно раздать одежду Лейлы, — сказала Зейнаб-122. — И ее шелковые шарфики. Бог мой, их было так много!

— А тебе не кажется, что их следует оставить?

— Мы должны следовать обычаям. Когда кто-то умирает, его одежду раздают бедным. Благословения бедных помогают умершим перейти мост и попасть в другой мир. Время очень важно. Нам

нужно действовать быстро. Душа Лейлы вот-вот отправится в путь. Мост Сират острее лезвия меча и тоньше волоса…

— Ой, понеслось! Давайте уж прекратим эту херню! — донесся сиплый голос откуда-то сзади.

И одновременно распахнулась дверь — от неожиданности две женщины и кот чуть не стали заиками.

У входа, нахмурившись, стояла Ностальгия Налан.

— Ты нас до смерти напугала! — воскликнула Хюмейра, положив руку на свое бешено колотящееся сердце.

— И хорошо. Так вам и надо. Вы слишком увлеклись своей религиозной тарабарщиной.

Зейнаб-122 сжала руки у себя на коленях:

— Я не вижу ничего плохого в помощи бедным.

— Ну, это ведь не совсем так. Это же скорее обмен. «Вот вам, бедняки, эти обноски, от вас требуется благословение. Вот тебе, Боже, эти купоны-благословения, дай нам солнечный уголок в раю». Не хочу никого обидеть, но религия — это сплошная коммерция. Дай — и получишь.

— Это так… несправедливо, — надулась Зейнаб-122.

В общем-то, она не злилась, когда кто-то небрежно относился к ее вере. Она грустила. И грусть становилась еще сильнее, если этот кто-то входил в число ее друзей.

— Без разницы. Забудь мои слова. — Налан плюхнулась на диван. — Где Джамиля?

— В другой комнате. Она сказала, ей нужно полежать. — По лицу Хюмейры скользнула тень. — Она почти не разговаривает. И ничего не ела. Я волнуюсь. Понимаете, ее здоровье…

Налан опустила глаза:

— Я поговорю с ней. А где Саботаж?

— Ему нужно было забежать в офис, — ответила Зейнаб-122. — Наверное, он уже едет к нам, вероятно, застрял в пробке.

— Ладно, мы подождем, — кивнула Налан. — А теперь расскажите, почему вы оставили дверь открытой? — (Женщины быстро переглянулись.) — Вашу лучшую подругу хладнокровно убили, а вы сидите в ее квартире с открытой дверью. Вы что, совсем безумные?

— Да ладно тебе, — отозвалась Хюмейра, глубоко и прерывисто вздыхая. — Никто ведь не врывался в эту квартиру. Лейлочка была на улице поздно ночью. Свидетели видели, как она села в машину — в серебристый «мерседес».

Все погибшие были убиты именно так, ты ведь знаешь это.

— И что? Это значит, что с вами ничего не может случиться? Или вы предполагаете: если одна из вас маленького роста, а другая…

— Толстая? — Хюмейра покраснела.

Она вынула свой ингалятор и подержала его в руке. Опыт показал, что она пользовалась им чаще в присутствии Налан.

— Мне все равно, как ты меня ни назови, — пожала плечами Зейнаб-122.

— Я хотела сказать «на пенсии и в депрессии». — Налан махнула наманикюренной рукой. — Я имела в виду следующее: если вы, дамы, считаете, что убийца Лейлы — единственный псих в городе, удачи вам! Держите дверь открытой. И вообще, почему бы не положить новый дверной коврик с надписью: «Willkommen Psychopaten»?[3]

— Мне бы очень хотелось, чтобы ты прекратила преувеличивать, — набычилась Хюмейра.

Налан на мгновение задумалась.

— А это я или это город? Я бы очень хотела, чтобы Стамбул перестал преувеличивать.

Зейнаб-122 вытянула из своего кардигана бол-

---

[3] Примечания: 3

Добро пожаловать, психопаты! *(нем.) — Примеч. перев.*

тавшуюся нитку и скатала ее в клубочек.

— Я выскакивала купить кое-что и…

— Ну, на это всего-то нужно несколько секунд, — сказала Налан. — Чтобы на тебя напали, я имею в виду.

— Пожалуйста, прекрати говорить такое… — Хюмейра замолчала, решив принять еще таблетку ксанакса, а может, сразу две.

— Она права, — согласилась Зейнаб-122. — Это неуважительно по отношению к покойной.

— Хотите узнать, что неуважительно по отношению к покойной? — Налан задрала голову, резким движением руки расстегнула сумочку-клатч, вынула оттуда вечернюю газету и, открыв ее на том месте, где среди статей местной и иностранной прессы в глаза бросалась фотография Лейлы, принялась зачитывать вслух: — «Заместитель начальника полиции заявил прессе: „Будьте уверены, что мы очень быстро найдем виновника. Мы наняли специальное подразделение, чтобы справиться с этим делом. На данном этапе мы просим публику поделиться с правоохранительными органами информацией о любых подозрительных действиях, которые они видели или слышали. Эти преступления были совершены не случайно. Все они без исключения

направлены на одну-единственную группу. Все жертвы были уличными женщинами. Обычным горожанкам нечего волноваться о собственной безопасности“». — Налан снова сложила газету по местам заломов и поцокала языком — так она делала всегда, когда злилась. — Обычные горожанки! Этот шакал хотел сказать, мол, пай-девочки, не волнуйтесь, вы в безопасности, на улицах убивают только шлюх. Вот это-то и называется неуважением к покойной!

Чувство подавленности разлилось по комнате, едкое и мутное, словно серный дым, липнущий ко всему, с чем он соприкоснулся. Хюмейра поднесла ингалятор ко рту и сделала вдох. Она ждала, пока ее дыхание замедлится, но оно отказывалось. Закрыв глаза, она мечтала уснуть. Погрузиться в глубокое забытье, вызванное лекарствами. Зейнаб-122 сидела прямо, словно шест проглотила, ее головная боль усилилась. Вскоре она начнет молиться и готовить варево, которое поможет душе Лейлы в ее путешествии. Но не прямо сейчас. В данный момент ей недоставало силы и, возможно, даже немножко веры. Налан хранила молчание, ее плечи под курткой напряглись, а в чертах лица отражалась пустота.

В углу Мистер Чаплин, расправившись со сво-

им деликатесом, начисто вылизывал шубку.

Серебристый «мерседес»

Каждый вечер красно-зеленое судно под названием «Гюней» — «Юг» — стояло на швартовах на берегу Золотого Рога, напротив дороги из отеля «Интерконтиненталь».

Судно носило имя курдского кинорежиссера Йылмаза Гюнея и даже участвовало в съемках одного из его фильмов. Нынешний его владелец об этом не имел никакого понятия, а если бы и имел, ему это было все равно. Он купил его много лет назад у рыбака, который больше не выходил в море. Новый владелец оборудовал на борту небольшую кухню и установил там гриль, чтобы делать сэндвичи с *кёфте*. Вскоре в меню появилась макрель гриль с гарниром из колец репчатого лука и помидоров. В Стамбуле успех торговца уличной едой зависит не от того, что ты продаешь, а от того, где и когда ты это делаешь. Ночное время, хотя и рискованное во многих отношениях, более прибыльное, но не потому, что покупатели щедрее, а потому, что они куда голоднее. Они вываливаются из ночных клубов и баров, где основательно заправились алкоголем. Они еще не готовы уходить, а потому

останавливаются возле лодки-киоска и предаются последней слабости, прежде чем отправиться домой. Дамы в сверкающих платьях и мужчины в темных костюмах садятся на высокие табуреты у причала и впиваются в сэндвичи, отрывая зубами жесткую белую питу, от которой при свете дня они воротили бы нос.

В этот вечер первые посетители появились в семь — куда раньше, чем обычно. Так подумал торговец, увидев, как у пирса остановился «мерседес-бенц». Он заорал на своего помощника, племянника, самого ленивого мальчишку в городе, тот, развалившись в углу, смотрел какой-то сериал и самозабвенно лузгал жареные семечки подсолнечника. На столе возле него все росла и росла гора шелухи.

— Подними задницу! У нас покупатели. Пойди спроси, чего они желают.

Парнишка поднялся, потянулся, наполнив легкие соленым воздухом, поступавшим с моря. Пристально поглядев на волны, ударявшиеся о борт судна, он скорчил мину, словно долго решал какую-то загадку, а теперь вынужден от нее оторваться. Что-то пробормотав себе под нос, он ступил на пирс и потащился в сторону «мерседеса».

В свете уличного фонаря машина уверенно поблескивала полировкой. У нее были затемненные стекла, изящный, сделанный на заказ спойлер и серо-красные хромированные колеса. Мальчишка, с детства обожающий машины класса люкс, аж присвистнул от восторга. Сам он с большей радостью водил бы «файрберд» — серебристо-синий «понтиак-файрберд». Вот это машина! На ней бы он даже не ездил, на ней бы он летал на скорости…

— Эй, парень! Ты примешь у нас заказ или как?! — выкрикнул мужчина с водительского места, высунувшись из полуоткрытого окна.

Оторванный от грез, мальчишка ответил не сразу:

— Ага, да. Чего желаете?

— Для начала — немного вежливости.

И только после этого парнишка поднял голову и как следует рассмотрел двоих покупателей. Тот, что говорил с ним, был костлявым и лысым, узкое лицо, изрытое шрамиками от акне, угловатый подбородок. Другой мужчина был полной его противоположностью — пухленький и розовощекий. Тем не менее они казались похожими, как родственники… Возможно, дело было в глазах.

Заинтересовавшись, парнишка шагнул ближе

к машине. Салон у нее был не менее впечатляющим. Бежевые кожаные сиденья, бежевый кожаный руль, бежевая кожаная приборная панель… Но то, что он увидел потом, заставило его ахнуть. Краска отлила от его лица. Мальчик принял заказ и помчался назад к суденышку, стараясь идти как можно быстрее, а в грудной клетке бешено колотилось сердце.

— И что? Чего они желают? *Кёфте* или макрель? — спросил торговец.

— Ой, *кёфте*. И еще *айран*. Но…

— Но — что?

— Я не хочу их обслуживать. Они странные.

— Что ты имеешь в виду — странные?

Еще не задав вопроса, торговец уже ощущал, что ответа он не получит. Вздохнув, он покачал головой. Парнишка стал кормильцем семьи, с тех пор как его отец, строитель, рухнул вниз с высоких лесов. Рабочий не только не был специально обучен и не имел защитных средств безопасности, но еще и леса, как оказалось позже, были возведены с нарушениями. Семья подала в суд на строительную компанию, но из этого вряд ли что получится. В суде лежит немало других дел. Многие районы Стамбула стремительно обновлялись, недвижимости становилось все больше,

а спрос на роскошные апартаменты неуклонно рос, поэтому несчастных случаев на стройках происходило все больше и больше.

Из-за этого мальчишка, который все еще учился в школе, вынужден был работать по ночам, хотел он этого или нет. Кроме того, он был чрезвычайно ранимым, немногословным и слишком упрямым, явно неподходящим для тяжелого труда — да и для Стамбула в целом, а это, в общем, равноценно.

— Бесполезный мальчишка, — достаточно громко произнес торговец, чтобы ученик его услышал.

Не обращая внимания на это замечание, мальчик положил котлеты на гриль и принялся готовить заказ.

— Оставь! — раздраженно простонал торговец. — Сколько раз говорить тебе, что сначала нужно сбрызнуть гриль маслом!

Выхватив из рук у парнишки щипцы, торговец жестом прогнал его. Пора уже отделаться от пацана — он из жалости откладывал это решение до последнего дня, но теперь терпение его лопнуло. Он ведь не из Красного Креста. У него есть собственная семья, о которой нужно заботиться, и дело, которое следует оберегать.

Проворно и умело торговец разворошил тлеющую золу, развел огонь, поджарил восемь *кёфте* и вместе с нарезанными ломтиками помидоров засунул их в две половинки питы. Прихватив две бутылки *айрана*, он положил все это на поднос и направился к машине.

— Добрый вечер, господа, — произнес торговец елейным голосом.

— А где же ваш ленивый подмастерье? — спросил мужчина, сидевший за рулем.

— Ленивый, верно. Вы совершенно правы. Покорнейше прошу простить его, если он сделал что-то не так. Я как раз собирался выкинуть его на улицу.

— И это не будет поспешным решением, если вы хотите знать мое мнение.

Кивнув, торговец передал ему поднос через полуоткрытое окно. Он скользнул взглядом по салону машины.

На приборной панели стояли четыре фигурки. Ангелы с нимбами и арфами — на их коже виднелись капли красновато-коричневой краски, а головы едва заметно качались, несмотря на то что машина стояла.

— Сдачи не надо, — сказал мужчина.

— Благодарю вас.

Торговец уже убрал сдачу в карман, но был не в силах оторвать взгляд от ангелов. Его начало мутить. Постепенно и неохотно до него начало доходить то, что его подмастерье, видимо, приметил сразу же: пятна на куколках, пятна на приборной панели… Эти красно-коричневые следы не краска. Это засохшая кровь.

Водитель, словно прочитав мысли торговца, пояснил:

— Прошлой ночью у нас случилась неприятность. Я ударился носом — кровищи было море.

Торговец сочувственно улыбнулся:

— О, как неудачно! *Гечмиш олсун*, скорейшего выздоровления!

— Надо бы это смыть, но мы пока не успели.

Кивнув, торговец взял поднос и уже собрался было проститься, как открылась дверь с другой стороны машины. Из нее показался пассажир, который до этого момента молчал, в руках у него была пита.

— У вас вкусные *кёфте*, — похвалил он.

Торговец посмотрел на мужчину и заметил следы у него на подбородке. Они напоминали царапины. «Женщина», — решил он, однако его это не касалось. Пытаясь присмирить свои мысли, торговец неожиданно высоким голосом

произнес:

— Ну, нас многие знают. Некоторые даже приезжают из других городов.

— Хорошо… Я так понимаю, что вы кормите нас не обезьяньим мясом! — рассмеялся собственной шутке мужчина.

— Разумеется, нет. Это говядина. Самого лучшего качества.

— Прекрасно! Радуйте нас, и мы непременно вернемся.

— Всегда милости просим, — ответил торговец, сжав губы в тонкую полоску.

Он был доволен и даже благодарен им, несмотря на нервозность. Если они страшные люди, это чужая проблема, а вовсе не его.

— Скажите, вы всегда работаете по ночам? — спросил водитель.

— Всегда.

— Наверняка у вас самые разнообразные посетители. Аморальные тоже есть? Проститутки? Извращенцы?

На заднем плане закачалось судно — волны от прошедшего мимо корабля поднимали и опускали его.

— Мои покупатели — приличные люди. Уважаемые и приличные.

— Прекрасно, — одобрил пассажир, возвращаясь на свое место. — Нам здесь не нужны неприличные. Этот город сильно изменился. Стал слишком грязным.

— Да, грязным, — отозвался торговец, так как не знал, что еще сказать.

Вернувшись на судно, он увидел своего племянника — тот стоял руки в боки, на лице встревоженное и напряженное выражение.

— Ну и как все прошло?

— Хорошо. Ты должен был обслужить их. Почему я выполняю твою работу?

— Но разве ты не видел?

— Не видел чего?

Парнишка, прищурившись, посмотрел на своего дядю, словно тот уменьшился прямо на глазах.

— Внутри машины… там кровь на руле… на куколках… повсюду. Может, надо позвонить в полицию?

— Эй, полиция мне здесь не нужна. Я должен оберегать свое дело.

— Ой, да! Твое дело!

— Что это с тобой?! — рявкнул торговец. — Разве ты не знаешь, что на твое место найдется примерно сотня желающих?

— Вот и найми их. Твои дурацкие *кёфте* мне без надобности. Меня тошнит от их запаха. Конина какая-то!

— Да как ты смеешь! — взревел торговец, и щеки у него запылали.

Однако парнишка его не слушал. Его внимание снова захватил «мерседес-бенц» — холодный горделивый силуэт под темнеющим небом, которое низко нависло над портом.

— Те двое… — пробормотал он.

Лицо торговца смягчилось.

— Забудь о них, сынок. Ты слишком юн. Не будь любопытным, послушай моего совета.

— Дядя, а тебе самому разве не интересно? Ни капельки? А если они сделали что-то плохое? Вдруг они убили кого-то? Значит, с точки зрения закона мы будем соучастниками.

— Хватит! — Торговец с грохотом опустил поднос на стол. — Ты слишком много смотришь телевизор. Все эти наскоро сляпанные американские триллеры. Похоже, уже решил, что ты теперь детектив. Завтра утром я поговорю с твоей матерью. Мы найдем тебе другую работу. И с этого момента — никакого телевизора.

— Да как угодно.

А больше им сказать было нечего. Некоторое

время они молчали — оба были словно в летаргии. У борта красно-зеленого рыболовецкого суденышка под названием «Гюней» бурлило и пенилось море, со всей силы ударяясь о валуны у края извилистой дороги, ведущей из Стамбула в Килиос.

Вид сверху

В первоклассно оборудованном офисе, занимающем целый этаж новой высотки, чьи окна смотрят на быстро развивающийся коммерческий район, в приемной сидел молодой человек — его нога то и дело нервно подскакивала вверх. Секретарь за прозрачной перегородкой периодически выгибала шею, чтобы взглянуть на него, — у нее на лице читался намек на виноватую улыбку. Как и ему самому, ей было совсем непонятно, почему отец заставляет его ждать вот уже сорок минут. Но отец есть отец — он всегда что-то доказывал сыну и чему-то учил его, хотя никакой пользы в этом не было, лишь потеря времени. Молодой человек снова взглянул на часы.

В конце концов дверь открылась, и другая секретарь сообщила, что он может войти.

Отец сидел за своим рабочим столом. Старинный, орехового дерева, с латунными ручками, когтистыми лапами вместо ножек и рельефной столешницей, стол был очень красивым, но казался чересчур роскошным для современного помещения.

Не говоря ни слова, молодой человек подошел к

столу и положил на него газету, которую принес с собой. Она была открыта на той полосе, с которой среди других текстов смотрел портрет Лейлы.

— Что это?

— Папа, прочти. Пожалуйста.

Мужчина в возрасте скользнул взглядом по газете, едва обратив внимание на заголовок: «Убитая проститутка обнаружена в городском мусорном баке».

— Зачем ты показываешь мне это? — нахмурился он.

— Затем, что я знаю эту женщину.

— О! — Лицо отца просветлело. — Рад, что у тебя есть подруги.

— Разве ты не понимаешь? Ты посылал мне эту женщину. И она погибла. Ее убили.

В воздухе повисла тишина — она сгустилась до ужаса, до шершавости и неподвижности, которой поздним летом отличаются водоросли в пруду. Молодой человек скользнул взглядом мимо отца и посмотрел на город за окном — на средоточие зданий, рассыпанных под легкой дымкой, на заполненные людьми улицы и скатывающиеся вдаль холмы. Вид с высоты был красивым, но до странности неживым.

— В статье все написано, — сказал молодой

человек, изо всех сил стараясь сдерживаться. — В этом месяце убили еще трех женщин… и всех так же ужасно. И знаешь что? Они мне тоже знакомы. Все они. Это те женщины, которых ты мне присылал. Не слишком ли большое совпадение?

— Мне казалось, я договаривался о пяти женщинах.

Молодой человек замер, несколько смутившись, только отец мог загнать его в такое смущение.

— Да, их было пять, и четырех убили. Вот я тебя и спрашиваю: не слишком ли большое совпадение?

Глаза отца ничего не выражали.

— Что ты хочешь этим сказать?

Молодой человек поморщился, не зная, как продолжить, в нем пробудился знакомый страх, давняя тревога, и он снова почувствовал себя мальчишкой, который потеет под отцовским взглядом. Но потом он внезапно вспомнил женщин, ставших жертвами, особенно последнюю. Он восстановил в памяти разговор, который состоялся у них на балконе, их слегка соприкоснувшиеся колени, запах виски. *Слушай, дорогой мой, я понимаю, что тебе это не нужно. А еще я понимаю, что ты кого-то любишь и хочешь*

побыть с этим человеком.

У него в глазах стояли слезы. Его возлюбленный говорил, что он страдает только из-за своего доброго сердца. У него есть совесть, которая бывает не у каждого. Однако его это вряд ли утешит. Неужели эти четыре женщины умерли из-за него? Как же так! Он боялся, что сходит с ума.

— Это так ты меня исправляешь?

Молодой человек слишком поздно понял, что сильно повысил голос — он почти кричал.

Отец отодвинул газету в сторону, выражение его лица стало жестче.

— Хватит! Я не имею никакого отношения к этим глупостям. Откровенно говоря, я удивлен, что ты решил, будто я гоняюсь по улицам за шлюхами.

— Папа, тебя я не обвиняю. Возможно, это кто-то из твоего окружения. Тут должно быть какое-то объяснение. Скажи мне, как ты устраивал эти встречи? Ведь кто-то их назначал, звонил куда-то?

— Разумеется.

Его отец назвал имя одного из своих ближайших помощников.

— Где он сейчас?

— Ну, до сих пор работает на меня.

— Ты должен расспросить этого человека. Пообещай, что ты это сделаешь.

— Слушай, занимайся своими делами, а я займусь своими.

Молодой человек вздернул подбородок. Напряжение покинуло его черты, когда он с трудом произнес следующее:

— Папа, я уезжаю. Мне нужно выбраться из этого города. Я еду в Италию — на несколько лет. Меня приняли в аспирантуру в Милане.

— Прекрати говорить глупости! У тебя скоро свадьба. Мы уже разослали приглашения.

— Извини. Тебе придется разобраться с этим самому. Меня здесь не будет.

Отец поднялся, и впервые его голос дал трещину.

— Ты не можешь осрамить меня!

— Я принял решение. — Взгляд молодого человека опустился на ковер. — Эти четыре женщины…

— Прекрати болтать ерунду! Я же сказал, что не имею к этому никакого отношения!

Сын пристально посмотрел на отца, изучая его суровые черты, словно пытаясь запомнить, от чего он отказывается. Он думал пойти в полицию, но у отца везде связи, и дело могут закрыть, так

толком и не открыв его. Он просто хотел уехать со своим возлюбленным.

— Я не пришлю тебе ни гроша, слышишь меня?! Ты приползешь ко мне на коленях и станешь молить о прощении.

— До свидания, папа.

Прежде чем развернуться спиной, молодой человек протянул руку, взял газету и, свернув ее, положил себе в карман. Ему не хотелось оставлять Лейлу в этом равнодушном кабинете. У него остался ее шарф…

…Тот из них двоих, который был худощавым, всю жизнь оставался девственником. Он часто рассуждал о непоследовательности плоти. Он был приверженцем идей, вселенских теорий. Когда большой начальник попросил его найти проституток для его сына, Худой счел за честь, что ему доверили такую щекотливую и тайную миссию. Первый раз он просто дожидался у гостиницы, чтобы убедиться, что женщина приехала, вела себя хорошо и все прошло без сучка без задоринки. В ту же ночь, когда он сидел в машине и курил, ему в голову пришла идея. Он решил, что, возможно, это не просто работа. Возможно, ему следует делать что-то еще. Вероятно, это миссия. Эта мысль потрясла его. Он ощутил собствен-

ную важность, возможность заслужить вечную жизнь.

Худой обсудил свою идею с кузеном, грубым вспыльчивым тупицей, скорым на расправу. Мыслителем он не был, зато был верным, практичным и способным выполнять сложные задачи. Идеальным напарником.

Они придумали план, как точно узнать, что перед ними та самая женщина. Каждый раз они просили посредника, чтобы тот велел проститутке надеть тот или иной наряд. Так они с легкостью узнавали выходящую из гостиницы женщину. В последний раз это было обтягивающее платье с золотистыми пайетками. После каждого убийства они добавляли очередную куколку в свою коллекцию ангелочков. Они трудились именно для этого. Чтобы превратить проституток в ангелов.

Худой ни разу не прикасался ни к одной из этих женщин. И очень гордился этим — он был выше плотских желаний. Каждый раз он хладнокровно наблюдал со стороны, до самого конца. Четвертая женщина неожиданно стала ожесточенно защищаться, дралась, насколько хватало сил, так что несколько минут он всерьез опасался, что ему все-таки придется вмешаться. Однако его кузен

был силен, имел физические преимущества над жертвой, и на полу у него был припрятан лом.

План

— Мне нужно покурить, — сказала Налан, выходя на балкон.

Она бросила взгляд вниз, на улицу. Округа постоянно менялась. Все казалось каким-то незнакомым. Одни жильцы приезжали, другие уезжали — новые заменяли старых. Городские районы обменивались жильцами, как мальчишки-школьники — футбольными карточками.

Сжав сигарету между губами, Налан подожгла ее. Вдохнув первое облачко дыма, она принялась рассматривать Лейлину «Зиппо». Щелкнув, открыла ее, потом закрыла, открыла и закрыла.

На одной стороне зажигалки была выгравирована надпись по-английски: «Вьетнам. По-настоящему ты и не знал жизни, пока почти не погиб».

Налан вдруг поняла, что старинная «Зиппо» не просто предмет, как казалось на первый взгляд, а вечная странница. Она путешествовала от одного человека к другому, переживая каждого своего владельца. До Лейлы она принадлежала Д/Али, а до того — американскому солдату, которому не повезло прибыть в Стамбул с Шестым флотом

в июле 1968 года. Этот солдат, убегая от юных и рьяных левых демонстрантов, уронил зажигалку, которая была у него в руке, и матросскую кепку, что сидела на голове. Д/Али поднял зажигалку, а его товарищ — кепку. В возникшей суматохе они не знали наверняка, удастся ли им снова наткнуться на этого матроса, впрочем, даже если бы им это удалось, не факт, что они стали бы возвращать ему вещи. За несколько лет Д/Али неоднократно чистил и полировал «Зиппо». Когда она сломалась, он понес ее ремонтировать в какой-то проулок в районе Таксим, где чинили часы и прочие устройства. Но где-то в глубине своего сознания он всегда задавался вопросом: какие же кошмары повидал этот небольшой предмет на войне? Убийства противников с обеих сторон — во всех жестоких подробностях, на какие только способен один человек по отношению к другому? Повидала ли эта зажигалка массовое убийство в Сонгми, слышала ли крики безоружных жителей — женщин и детей?

После смерти Д/Али Лейла сохранила его «Зиппо» и везде носила зажигалку с собой. Только вот вчера оставила ее на столе в «Караване» — там она была немножко рассеянной и необычно тихой.

«Как ты могла забыть эту драгоценную вещицу? Стареешь, милая», — сказала бы ей Налан.

А Лейла бы наверняка рассмеялась:

«Это я-то старею? Не дождешься, дорогуша. Это, видно, „Зиппо“ заблудилась».

Вынув из кармана носовой платок, Налан вытерла нос.

— У тебя тут все в порядке? — спросила Хюмейра, просунув голову в балконную дверь.

— Да, конечно. Я приду через минуту.

Хюмейра кивнула, хотя и несколько неуверенно. Но ушла, ничего не сказав.

Налан сделала еще одну затяжку и выпустила тоненький завиток дыма. Следующее его облачко она выпустила в сторону Галатской башни, шедевра генуэзских каменщиков и плотников. Сколько, наверное, других людей делает то же, подивилась она про себя, глазеет на старинную башню цилиндрической формы так, словно в ней таится решение всех проблем.

Внизу, на улице, какой-то молодой человек поднял голову и увидел ее. Его взгляд стал более пристальным. Он что-то прокричал — какую-то непристойность.

Налан перегнулась через перила балкона:

— Это ты мне?

— Еще бы! Обожаю дамочек вроде тебя.

Нахмурившись, Налан выпрямилась. Повернувшись в сторону, она тихо-тихо спросила у других женщин:

— Тут где-нибудь есть пепельница?

— Э-э… У Лейлы была какая-то на журнальном столике, — ответила Зейнаб-122. — Вот.

Налан схватила пепельницу и взвесила ее на ладони. А потом вдруг метнула ее за перила. Она разбилась внизу, на тротуаре. Человеку удалось отпрыгнуть в сторону и уклониться от удара, он глазел перед собой с раскрытым ртом, лицо его побледнело и напряглось.

— Идиот! — крикнула Налан. — Я разве присвистнула при виде твоих волосатых ног? Или я тебя обзывала? Как ты смеешь так со мной разговаривать?!

Человек открыл было рот, но потом все-таки закрыл его и быстро зашагал прочь под громкий хохот из ближайшей чайной.

— Зайди внутрь, пожалуйста, — попросила Хюмейра. — Нельзя стоять на балконе и кидаться в прохожих. У нас тут траур.

Развернувшись и все еще держа в руке сигарету, Налан вошла в комнату:

— Мне не нужен траур. Я хочу что-то делать.

— Что мы можем сделать, *хаяти*? — ответила Зейнаб-122. — Ничего.

У Хюмейры вид был встревоженный и немного сонный — она втихомолку выпила слишком много таблеток.

— Надеюсь, ты не собираешься ходить и искать убийцу Лейлы.

— Нет, этим пусть занимается полиция, хотя им я не особенно доверяю.

Налан выпустила облачко сигаретного дыма через нос и с виноватым видом попыталась отогнать его от Хюмейры, однако из этого ничего не вышло.

— А почему бы просто не помолиться, чтобы помочь ее душе, а заодно и своей? — поинтересовалась Зейнаб-122.

Налан наморщила лоб:

— Зачем молиться, если Бог все равно не слышит? Это называется Божественная глухота. Это у них общее — у Мистера Чаплина и Мистера Бога.

– *Тёвбе, тёвбе!* — выдохнула Зейнаб-122, как она обычно делала, когда слышала, что Бога поминают всуе.

Отыскав пустую кофейную чашку, Налан затушила сигарету.

— Слушай, молиться лучше тебе. Я не хочу

оскорблять ничьи чувства. Лейла заслуживала прекрасной жизни, но так ее и не получила. Однако нормальные похороны ей точно необходимы. Мы не позволим ей сгнить на Кимсэсизлер-Мезарлыи. Ей там не место.

— Нужно научиться смиряться с тем, что тебе дано, *хабиби*, — отозвалась Зейнаб-122. — С этим мы ничего не сможем поделать.

На заднем плане Галатская башня завернулась в тонкие пурпурно-алые кружева благодаря заходящему солнцу. Семь холмов и почти тысяча районов, маленьких и больших, — город раскинулся, куда хватало глаз, город, которому предсказано было простоять непобедимым до конца света. Далеко впереди извивался Босфор, смешивающий соленую и пресную воды с той же легкостью, с какой смешивались вокруг него действительность и мечты.

— А вдруг все-таки сможем? — произнесла Налан после краткой паузы. — Может, мы все-таки способны оказать последнюю услугу Текиле Лейле.

Саботаж

Когда Саботаж наконец-то приехал на улицу Лохматого Кафки, чернильная вечерняя пелена уже укрыла стоявшие в отдалении холмы. Он наблюдал, как последний луч света медленно сдвинулся за горизонт и день завершился, заставив его почувствовать себя брошенным. Обычно в пробках он потел и раздражался, возмущаясь тупостью и водителей, и пешеходов, но сейчас просто чувствовал себя выжатым как лимон. В руках он нес коробочку, обернутую красной фольгой и перевязанную золотистым бантом. Войдя в здание с помощью собственного ключа, он поднялся по лестнице.

Саботажу было чуть больше сорока, он был среднего роста и плотного телосложения. У него был выступающий кадык, серые глаза, которые почти исчезали, когда он улыбался, и недавно отращенные усы, которые не шли к его круглому лицу. Вот уже несколько лет, как Саботаж начал лысеть, это казалось преждевременным, поскольку он свято верил, что его жизнь — его настоящая жизнь — так и не началась.

Человек с тайнами. Таким он стал, когда спустя

год после отъезда Лейлы отправился в Стамбул. Уехать из Вана и оставить там маму было непросто, однако Саботаж все же сделал это по двум причинам, одна была явная, а другая скрытая: он хотел продолжить обучение — он сумел поступить в один из лучших университетов — и найти свою подругу детства. От нее у него осталась лишь стопка открыток и устаревший адрес. Лейла несколько раз писала ему, почти ничего не рассказывая о своей новой жизни, а потом вдруг открытки приходить перестали. Саботаж чувствовал, что с ней что-то случилось, что-то такое, о чем ей не хотелось бы говорить, и он понимал, что должен найти ее, несмотря ни на какие сложности. Он искал ее повсюду — в кино, в ресторанах, театрах, гостиницах, кафе, а когда там не обнаружил — на дискотеках, в барах, в игровых заведениях, в итоге с тяжелым сердцем он пошел в ночные клубы и дома с дурной репутацией. Он сумел найти ее лишь после долгих упорных розысков и благодаря чистому совпадению. Парнишка, с которым он жил в одной комнате, частенько заходил на улицу борделей, и Саботаж случайно услышал, как он рассказывал другому студенту о женщине с татуировкой в виде розы на лодыжке.

— Зря ты меня нашел. Я не хочу тебя видеть, — сказала Лейла, когда они впервые встретились после долгой разлуки.

Ее холодность ранила его прямо в сердце. В ее глазах сияла ярость и что-то еще. Однако Саботаж чувствовал, что под суровым видом Лейла скрывала стыд. Он был очень встревожен и упрямо приходил снова и снова. Теперь, когда он отыскал ее, отпускать снова не собирался. Поскольку Саботаж не выносил эту печально известную улицу с кислым запахом, то часто ждал у входа, под сенью старых дубов, иногда это длилось часами. Время от времени, когда Лейла выходила купить себе что-нибудь или принести Гадкой Ма мазь от геморроя, она видела, что он сидит на тротуаре и читает книгу или, почесывая подбородок, решает какое-нибудь уравнение по математике.

— Зачем ты приходишь сюда, Саботаж?

— Затем, что скучаю по тебе.

То были годы, когда одна половина студентов бойкотировала занятия, а вторая — бойкотировала инакомыслящих студентов. В университетских городках страны ежедневно что-то случалось: то саперы приезжали обезвредить взрывное устройство, которое студенты подбросили в кафетерий, то кто-то нападал на преподавателей. Несмотря

на все это, Саботаж умудрился сдать все экзамены и с успехом закончил обучение. Он нашел работу в одном из национальных банков, но, если не считать нескольких выездов с сослуживцами, от которых он никак не мог отказаться, отклонял все остальные приглашения. Если у него появлялось свободное время, он старался провести его с Лейлой.

В тот год, когда Лейла вышла замуж за Д/Али, Саботаж скромно пригласил на свидание одну из своих коллег. Спустя месяц он сделал ей предложение. Пусть сложно было назвать его брак счастливым, однако Саботаж обожал своих детей. Некоторое время его карьера быстро и уверенно двигалась вперед, но как только он решил, что добрался до вершины, все замерло. Несмотря на свой живой ум, он был слишком застенчивым и замкнутым, чтобы стать заводилой в какой-либо организации. В первый раз, делая доклад, он забыл слова и весь взмок. В зале совещаний повисла тишина, прерываемая лишь неловким покашливанием. Саботаж не сводил глаз с двери, словно передумал выступать и стремится сбежать. Он часто ощущал подобное. А потому решил довольствоваться заурядной должностью и посредственной жизнью хорошего гражданина,

хорошего работника и хорошего отца. Но ни разу за все это время он не предавал свою дружбу с Лейлой.

— Я называла тебя своим саботажным радио, — говаривала Лейла. — Посмотри на себя. Ты саботируешь собственную репутацию, дорогой мой. Что скажут твои жена и коллеги, если узнают, что ты дружишь с такой, как я?

— Им это знать не обязательно.

— Как думаешь, сколько тебе удастся скрывать это от них?

И Саботаж отвечал:

— Столько, сколько нужно.

Ни его сослуживцы, ни жена, ни соседи, ни родственники, ни мама, которая давно перестала работать в аптеке, — никто не знал, что Саботаж ведет другую жизнь, что с Лейлой и девочками он совершенно иной человек.

Саботаж проводил дни, закопавшись в листы с балансами и ни с кем не разговаривая, если на то не было особой необходимости. Когда спускались сумерки, он выходил из офиса, запрыгивал в свою машину, хотя терпеть не мог вождение, и отправлялся в «Караван» — ночной клуб, известный в среде печально известных. Здесь он расслаблялся, курил и порой даже танцевал. Чтобы объяснить

жене свое длительное отсутствие, он говорил, что из-за мизерной зарплаты вынужден работать охранником в ночные смены на заводе.

— Они производят порошковое питание для младенцев, — сказал Саботаж жене, полагая, что из-за упоминания о младенцах это прозвучит правдоподобнее.

К счастью, жена вопросов не задавала. Казалось, она даже радовалась, что он каждый вечер уходит из дому. Иногда это его мучило, и в котелке сознания начинало что-то закипать — неужели она хочет избавиться от него? Однако больше всего Саботажа волновала не она сама, а ее большая семья. Его жена происходила из старинного и гордого рода имамов и ходжей. Он никогда не осмелился бы сказать им правду. И потом, он любил своих детей. Саботаж был безумным отцом. Если жена решит развестись с ним из-за того, что он ведет ночную жизнь с уличными женщинами и трансвеститами, суд никогда не оставит за ним родительские права. Наверняка ему больше не позволят видеться с детьми. Правда — жидкость едкая и непредсказуемая. Она может проесть дыры в бастионе повседневности, разрушая все системы принципов. Если семейные старейшины узнают его тайну, начнется настоящий ад. Он

уже почти слышал их голоса, болезненно отзывающиеся в голове, — вопли, оскорбления, угрозы.

Иногда по утрам во время бритья Саботаж репетировал перед зеркалом свою оправдательную речь. Ту самую, которую он произнесет, если родственники когда-нибудь поймают его и подвергнут допросу.

«Ты спишь с этой женщиной? — спросит его жена, заручившись поддержкой родни. — О, я жалею о том дне, когда вышла за тебя! Что за человек пустит на шлюху деньги, которые принадлежат детям!»

«Нет-нет, это не так».

«Неужели? Ты хочешь сказать, что она спит с тобой бесплатно?»

«Прошу тебя, не говори такого! — взмолится он. — Она моя подруга. Самая давняя, еще со школы».

Но никто ему не поверит.

— Я пытался приехать раньше, но пробки были просто жуткие, — сказал усталый Саботаж, усаживаясь на стул, ему очень хотелось пить.

— Хочешь чая? — спросила Зейнаб-122.

— Нет, спасибо.

— Что это такое? — спросила Хюмейра, указывая на коробочку на его коленях.

— О, это… подарок для Лейлы. Он был в офисе. Я собирался подарить его ей сегодня. — Он потянул за бант и открыл коробочку; внутри лежал шарфик. — Чистый шелк. Ей бы понравилось.

К горлу подступил комок. Не в силах сглотнуть его, Саботаж тяжело вздохнул. Вся та тоска, которую он пытался сдержать, сейчас вырвалась наружу. В глазах у него закололо, и он заплакал, сам того не заметив.

Хюмейра поспешила на кухню и вернулась со стаканом воды и бутылочкой лимонного одеколона. Последний она брызнула в воду и передала стакан Саботажу.

— Выпей. Тебе полегчает.

— Что это? — спросил Саботаж.

— Мамино лекарство от печали — и от всего остального. У нее всегда был под рукой одеколон.

— Секундочку! — запротестовала Налан. — Ты ведь не станешь давать ему это? Лекарство твоей мамы способно погубить человека с непереносимостью алкоголя.

— Но это всего-навсего одеколон… — пробормотала Хюмейра и тут же засомневалась.

— Я в порядке, — ответил Саботаж.

Он вернул стакан, смущаясь, что оказался в

центре внимания.

Всем было прекрасно известно, что Саботаж не переносит спиртного. Четверть бокала вина прямо-таки уничтожала его. Несколько раз, выпив две-три кружки пива в попытке не отстать от других, он отключался полностью. В такие ночи он пускался в приключения, о которых на следующее утро ничего не помнил. Люди в мельчайших деталях рассказывали, как он забирался на крышу, чтобы посмотреть на чаек, или разговаривал с манекеном в витрине, или заскакивал на барную стойку в «Караване» и спрыгивал на танцующих, полагая, что они подхватят его и поднимут на своих плечах, но в итоге плюхался на пол. Истории, которые ему рассказывали, были настолько унизительны, что он начинал делать вид, будто не имеет ничего общего с их неуклюжим главным героем. Он знал, что не переносит алкоголя. Возможно, ему не хватало соответствующего фермента или печень работала неправильно. А может, ходжи и имамы, родственники его жены, наложили на него проклятие, чтобы он никогда не смог отклониться ни вправо, ни влево.

Налан была поразительным контрастом Саботажу, легендой стамбульских неформалов. Она

обзавелась привычкой осушать стопки после первой операции по смене пола. Хотя она и избавилась от своего голубого удостоверения личности — такие выдавались гражданам-мужчинам — в пользу нового розового — для гражданок, послеоперационные боли были настолько мучительны, что переносить их удавалось только с помощью бутылки. Потом были другие операции, каждая сложнее и дороже предыдущей. Обо всем этом ее никто не предупредил. На этот счет высказывались очень немногие, даже в сообществе трансвеститов, а если высказывались, то лишь на пониженных тонах. Порой в раны попадала инфекция и ткани не заживали, так что острая боль становилась хронической. И пока организм боролся со всеми неожиданными сложностями, долги Налан все увеличивались. Она повсюду искала работу. И соглашалась на любую. Когда почти все двери закрылись у нее перед носом, она пыталась даже вернуться в мебельную мастерскую, где работала раньше. Но и туда ее не взяли.

Для женщин-транссексуалок дорога открыта только в парикмахерские и секс-индустрию. В Стамбуле и без того было слишком много парикмахерш, а салоны красоты располагались в каждом проулке и подвале каждого здания. В

лицензированные бордели транссексуалок тоже не пускали. Иначе клиенты чувствовали себя обманутыми и жаловались. В конце концов, как многие другие до нее и после нее, она оказалась на улице. Это было тяжело, утомительно и опасно, каждая машина, которая останавливалась рядом, оставляла отпечаток на ее огрубевшей душе, словно шины — на песке пустыни. Невидимым клинком она разделила себя на две Налан. Одна пассивно наблюдала за другой, замечала каждую мелочь и много думала, а вторая тем временем делала все, что должна была, и вообще ни о чем не думала. Она переживала одно унижение за другим — ее оскорбляли прохожие, самоуправно арестовывала полиция, третировали клиенты… Большинство мужчин, подбирающих транссексуалок, — особые личности, непредсказуемо колеблющиеся между желанием и презрением. Налан уже имела достаточный опыт в этом деле и прекрасно знала, что, в отличие от масла и воды, эти два чувства с легкостью смешиваются. Те, кто ненавидит тебя, могут неожиданно проявить бешеное желание, а те, кто, казалось бы, любит, вдруг становятся злобными и жестокими, как только получают то, чего хотят.

Каждый раз в дни государственных событий

или больших международных конференций в Стамбуле, когда черные машины с зарубежными делегатами прокладывали извилистый путь от аэропортов к пятизвездочным гостиницам, раскиданным по всему городу, какой-нибудь полицейский начальник обязательно принимал решение очистить попутные улицы. В такие моменты всех трансвеститов за ночь брали под арест, сметали, словно мусор с тротуаров. Как-то раз после такой зачистки Налан держали в заключении, а заодно пучками выбрили ей волосы и содрали одежду. Ее заставили сидеть в камере без одежды и в полном одиночестве, да еще заходили примерно раз в полчаса, чтобы в очередной раз окатить с ног до головы ведром с грязной водой. Один из полицейских — тихий молодой человек с тонкими чертами лица, — казалось, был неприятно удивлен тем, как его коллеги обходятся с Налан. Она надолго запомнила выражение обиды и беспомощности на его лице и какое-то время даже сочувствовала ему, словно это ему, а не ей пришлось сидеть взаперти в тесной камере, словно он тоже был в заключении, пусть никто этого и не замечал. Утром именно этот полицейский вернул ей одежду и предложил стакан чая с кубиком сахара. Налан знала, что в ту ночь некоторым

пришлось куда хуже, чем ей, и после того, как конференция завершилась и ее выпустили, она не стала никому рассказывать, что произошло.

Гораздо безопаснее было работать в ночных клубах, если, конечно, удавалось в них пробраться, а ей время от времени это удавалось. К радости владельцев некоторых клубов, в Налан открылся удивительный талант. Она могла пить, пить и пить, но совершенно не пьянела. Она подсаживалась к чьему-нибудь столику и затевала беседу, а глаза ее сверкали, точно монетки на солнце. За разговором она умудрялась склонять новых знакомых к покупке самых дорогих напитков. Виски, коньяк, шампанское и водка лились, словно полноводный Евфрат. Как только клиент оказывался в серьезном подпитии, Налан переходила к другому столику и там начинала все заново. Владельцы клубов обожали ее. Она была автоматом по добыванию денег.

Итак, Налан поднялась, наполнила стакан водой и передала его Саботажу.

— Шарф, который ты принес Лейле, очень красивый.

— Спасибо. Мне кажется, он бы ей понравился.

— О, я не сомневаюсь. — Налан едва коснулась его плеча, пытаясь успокоить. — Вот что я тебе

скажу: почему бы тебе не положить его в карман? Ты сможешь подарить его Лейле сегодня ночью.

Саботаж моргнул:

— Не понял.

— Не волнуйся. Я сейчас объясню… — Налан осеклась; ее внимание привлек какой-то звук, и она задержала взгляд на закрытой двери, видневшейся в коридоре. — Девочки, вы уверены, что Джамиля спит?

Хюмейра пожала плечами:

— Она обещала прийти, как только проснется.

Осторожными быстрыми шагами Налан направилась к двери и повернула ручку, но дверь была закрыта изнутри.

— Джамиля, ты спишь там или рыдаешь? И может быть, слушаешь наш разговор?

Никакого ответа.

Налан сказала в замочную скважину:

— У меня есть подозрение, что все это время ты не спала, а печалилась и скучала по Лейле. Раз уж мы все тут испытываем одно и то же, может, выйдешь к нам?

Дверь медленно открылась. И вышла Джамиля.

Ее большие темные глаза опухли и покраснели.

— О, милая моя! — Налан говорила с Джамилей очень нежно, как ни с кем иным, каждое ее слово было словно сладкое яблоко, которое полируют, прежде чем кого-то угостить. — Посмотри на себя. Тебе нельзя плакать. Тебе нужно себя беречь.

— Я в порядке, — ответила Джамиля.

— Налан права на сей раз, — вмешалась Хюмейра. — Посмотри на это с другой стороны: Лейла была бы ужасно огорчена, если бы увидела тебя в таком состоянии.

— Это правда, — ласково улыбнувшись, подтвердила Зейнаб-122. — Давай сходим вместе на кухню и поглядим, готова ли халва.

— А еще нам нужно заказать какую-нибудь еду, — добавила Хюмейра. — Никто из нас не ел с утра.

— Я помогу вам, девочки, — поднявшись, сказал Саботаж.

— Отличная идея, идите закажите еды.

Налан сцепила руки за спиной и начала ходить туда-сюда по комнате, словно генерал, решивший проверить свои войска перед решающей битвой. В свете люстры ее ногти отсвечивали ярко-лиловым.

Остановившись у окна, она посмотрела на улицу, ее лицо отразилось в стекле. Вдалеке

собирался шторм, дождевые облака наплывали к северо-востоку, как раз к району Килиоса. Ее глаза, весь вечер носившие печальное или даже жалобное выражение, теперь загорелись упрямым огоньком. Возможно, ее друзья до сегодняшнего дня ничего не слышали о Кимсэ-сизлер-Мезарлыи, но она уже прекрасно знала все необходимое. В прошлом она была знакома с несколькими людьми, которым предстояло обрести покой именно там, и представляла, во что превратились их могилы спустя некоторое время. Отличавшая это кладбище убогость разверзлась, словно голодный рот, и поглотила их без остатка.

Чуть позже, когда все они сядут за стол и хоть немножко наполнят желудки, Ностальгия Налан изложит друзьям свой план. Ей придется говорить со всей осторожностью и нежностью, поскольку — она была в этом уверена — поначалу он их испугает.

Карма

Спустя полчаса все сидели у обеденного стола. Стопка *лахмаджуна* — лепешек с рубленым мясом, заказанных в местном ресторанчике, — стояла в центре, еду почти не тронули. Аппетита ни у кого не было, хотя все старались уговорить Джамилю немного поесть. На вид она была совсем слаба, ее болезненное лицо казалось еще более худым, чем обычно.

Сначала беседа носила беспорядочный характер. Но говорить, как и есть, всем было непросто. Странно было сидеть здесь, в доме у Лейлы, без того, чтобы она высовывалась из кухонной двери, предлагая напитки и закуски; в такие моменты пряди ее волос обычно выпадали из-за уха и свешивались на щеку. Их глаза скользили по комнате, задерживаясь на каждом предмете, маленьком и большом, словно замечая его впервые. Что будет с этой квартирой? Каждый вдруг понял: если мебель, картины и прочие безделушки убрать отсюда, Лейла тоже может в каком-то смысле исчезнуть.

Спустя некоторое время Зейнаб-122 пошла на кухню и вернулась с плошкой разрезанных на

дольки яблок и блюдом свежеприготовленной халвы — для души Лейлы. Халва наполнила комнату своим сладким ароматом.

— Нам нужно поставить на халву свечку, — предложил Саботаж. — Лейла всегда искала повод, чтобы превратить обычные ужины в праздничные. Она обожала вечеринки.

— Особенно дни рождения, — сдерживая зевоту, протянула Хюмейра.

Она уже жалела, что приняла сразу три успокоительные таблетки. Стремясь отогнать сонливость, она сварила себе кофе и теперь размешивала сахар, громко звеня ложечкой в фарфоровой чашке.

Налан откашлялась.

— О, а как она обманывала всех по поводу возраста! Я как-то сказала ей: «Дорогая, если ты собралась рассказывать сказки, лучше запоминай их. Записывай где-нибудь. Не может тебе один год быть тридцать три года, а на следующий уже тридцать восемь!»

Все рассмеялись, а потом, сообразив, что они смеются, вдруг поняли: это неправильно, так нельзя — и замолчали.

— Ладно, мне нужно сказать вам кое-что важное, — объявила Налан. — Но прежде чем

возражать, пожалуйста, дослушайте до конца.

— Бог мой! Это добром не кончится, — преувеличенно вздохнула Хюмейра.

— Сразу не возражай, — предупредила Налан и обратилась к Саботажу: — А где тот твой фургончик, помнишь?

— У меня нет фургончика.

— Разве он не родственников твоей жены?

— Ты имеешь в виду помятый «шевроле» моего тестя? Последний раз он ездил на этой горе металла лет сто назад. Почему ты спрашиваешь?

— Если он на ходу, то вполне сойдет. Нам понадобится еще кое-что: лопаты и, возможно, тачка.

— Что-то я не понимаю, о чем она? — спросил Саботаж у остальных.

Хюмейра потерла кончиками пальцев внутренние уголки глаз:

— Не волнуйся, никто из нас не имеет об этом ни малейшего понятия.

Налан откинулась на спинку стула, грудь ее вздымалась. Она ощутила, как ее сердце стало колотиться сильнее — на него давили слова, которые она собиралась произнести.

— Я предлагаю отправиться на кладбище сегодня ночью.

— Что?! — ахнул Саботаж.

Медленно его стали окутывать воспоминания: детство в Ване, тесная квартирка над аптекой, комната, окна которой выходили на старое кладбище, какие-то шорохи на крыше — то ли ласточки, то ли ветер, то ли что-то еще. Но он быстро пресек эти воспоминания.

— Дайте мне, пожалуйста, объяснить. Не отвечайте, пока не дослушаете до конца. — Налан так стремилась договорить, что все вырвалось у нее сразу, каким-то потоком: — Меня это так бесит! Как можно похоронить на Кимсэсизлер-Мезарлыи человека, который всю жизнь так умел дружить! Оно не может стать ее последним пристанищем! Это несправедливо!

Откуда ни возьмись в комнате возникла плодовая мушка, она повисла прямо над яблоками, и на секунду все замерли, наблюдая за ней и радуясь, что она отвлекла их.

— Все мы любили Лейлочку. — Зейнаб-122 осторожно выбирала слова. — Она нас объединила. Но ее больше нет с нами. Нам нужно молиться о ее душе и позволить ей упокоиться с миром.

— Как она может упокоиться с миром, если она в этом ужасном месте? — возразила Налан.

— Не забывай, *хабиби*, это всего-навсего тело. Ее душа уже не там, — заметила Зейнаб-122.

— Откуда ты знаешь?! — рявкнула Налан. — Слушай, возможно, для верующих вроде тебя тело ничтожно… временно. А для меня — нет. И знаешь что? Я так боролась за свое тело! За это, — она указала на свои груди, — за свои скулы… — Она осеклась. — Прошу прощения, если это прозвучало слишком легкомысленно. Я так понимаю, что тебя беспокоит только то, что ты называешь душой, и, возможно, она и вправду существует, откуда мне знать? Но я хочу, чтобы ты поняла: тело тоже имеет значение. Оно вовсе не пустое место.

— Продолжай. — Хюмейра вдохнула кофейный аромат, прежде чем сделать очередной глоток.

— Помните того старика? Он до сих пор винит себя в том, что не сумел нормально похоронить жену, а ведь прошло столько лет. Разве вы хотите испытывать то же самое всю оставшуюся жизнь? Каждый раз, вспоминая Лейлу, мы будем мучиться жгучим чувством вины, зная, что не выполнили свой дружеский долг? — Вскинув голову, Налан поглядела на Зейнаб-122. — Пожалуйста, не воспринимай это как оскорбление, но иной мир мне ни черта не интересен. Возможно, ты права и Лейла уже где-то там, на небесах, учит ангелов краситься и удалять волосы на ногах.

Если так оно и есть, прекрасно. А как принять тот факт, что в этом мире с ней обращались жестоко? Мы должны смириться с этим?

— Конечно же нет. Скажи, что надо делать! — импульсивно отозвался Саботаж и вдруг замер: ему в голову пришла невероятная мысль. — Погоди-ка. Ты что, предлагаешь поехать и откопать ее?..

Все ожидали, что Налан сейчас отмахнется от него и закатит глаза к небесам, в которые не верит, как она обычно делала в ответ на глупый комментарий. Когда Налан сказала о поездке на кладбище, все решили, что она хотела бы устроить настоящие похороны для Лейлы, попрощаться с ней как следует. Но теперь все вдруг поняли, что предложение Налан носило куда более радикальный характер. Повисла неловкая тишина. Это был один из таких моментов, когда все стремятся возразить, но никто не хочет делать это первым.

— Я считаю, мы должны это сделать, — сказала Налан. — Не только ради Лейлы, но и ради нас самих. Вы никогда не задавались вопросом, что происходит, когда мы умираем? Думаете, со всеми нами будут обращаться как в пятизвездочном отеле? — Она указала пальцем на Хюмейру. — Ты

сбежала, дорогая моя, бросив мужа, осрамив свою семью и свой род. Что там еще в твоей биографии? Пела в сомнительных клубах. Если и этого недостаточно, ты снималась в нескольких позорных фильмах.

— Я была так молода. — Хюмейра покраснела. — У меня не было…

— Я понимаю, но они-то не поймут. Не жди сочувствия. Прости, милая, но тебя отправят прямиком на Кимсэсизлер-Мезарлыи. Возможно, туда же сошлют и Саботажа, если узнают, что он вел двойную жизнь.

— Ладно, хватит, — вмешалась Зейнаб-122, чувствуя, что на очереди она сама. — Ты всех расстраиваешь.

— Я говорю правду, — ответила Налан. — У всех нас есть определенный багаж, назовем это так. А у меня больше, чем у остальных. Меня убивает это лицемерие. Всем нравится смотреть по телевизору на поющих голубых. Но те же самые зрители сходят с ума, узнав, что их сыновья или дочери такие же. Я видела это собственными глазами — одна женщина стояла прямо у собора Святой Софии, держа плакат: «Конец близок, на нас обрушатся землетрясения: город, полный шлюх и трансвеститов, заслуживает гнева Аллаха!»

Давайте честно: я притягиваю ненависть. Когда я умру, меня забросят на Кимсэсизлер-Мезарлыи.

— Не говори так! — взмолилась Джамиля.

— Возможно, вы еще не поняли, но речь не идет об обычном кладбище. Там… там все очень убого.

— Откуда ты знаешь? — спросила Зейнаб-122.

Налан принялась крутить кольцо на одном из пальцев.

— У меня были знакомые, которых там похоронили. — Ей не нужно было объяснять, что почти все представители транссообщества завершали свой путь по этому адресу. — Нам необходимо забрать оттуда Лейлу.

— Кармический цикл какой-то. — Хюмейра ладонями обхватила свою кружку. — Нас каждый день испытывают. Если ты говоришь, что ты настоящий друг, настанет время, когда тебе придется доказать это. Космические силы попросят тебя подтвердить, что тебе и правда не все равно. Об этом говорилось в одной из книг, которую давала мне Лейла.

— Я понятия не имею, о чем ты, но не могу не согласиться, — отозвалась Налан. — Карма, Будда, йога… двигать тобой может любое. Я хочу сказать вот что: Лейла спасла мне жизнь. Я никогда не

забуду ту ночь. Нас было двое. Откуда ни возьмись появились эти придурки и стали колотить нас. Эти сволочи пырнули меня ножом в грудь. Кровищи было! Поверьте, я истекала кровью, как заколотый ягненок. Без шуток — я думала, что умираю. И тут надо мной склонилась Супергёрл, кузина Супермена, помните? Она подхватила меня под руки и помогла подняться. И тут я открыла глаза. Это была не Супергёрл, а Лейла. Она могла бы убежать, но осталась… ради меня. Благодаря ей мы выбрались оттуда. Я до сих пор не знаю, как ей это удалось. Она отвезла меня к врачу. К шарлатану, конечно, но все равно. Он зашил меня. Я своей жизнью обязана Лейле. — Налан набрала в легкие воздуха, а потом медленно выпустила его. — Я никого не хочу принуждать. Если вы не хотите ехать, я пойму, честное слово. Я сделаю это одна, если понадобится.

— Я поеду с тобой, — услышала Хюмейра собственный голос.

Она опрокинула в рот остаток кофе и почувствовала себя куда бойчее.

— Уверена? — На лице Налан отразилось удивление: она знала о страхах своей подруги и ее панических атаках.

Однако успокоительное, которое Хюмейра

приняла нынче вечером, казалось, временно защитило ее от страха.

— Да! Тебе понадобится помощь. Но сначала я сварю еще кофе. Возможно, нужно налить его в термос и прихватить с собой.

— Я тоже поеду, — сказал Саботаж.

— Ты не любишь кладбища, — удивилась Хюмейра.

— Не люблю… но, как единственный мужчина в нашей компании, я ощущаю ответственность и необходимость защитить вас от вас же самих, — пояснил Саботаж. — Кроме того, без меня вы не сможете достать машину.

Зейнаб-122 округлила глаза:

— Погодите, погодите-ка. Нельзя делать такое. Эксгумировать мертвых — грех! И куда, позвольте спросить, вы собираетесь отвезти ее потом?

Налан заерзала на стуле, только теперь понимая, что не продумала вторую часть своего плана.

— Мы отвезем ее в какое-нибудь приличное место упокоения. Будем часто навещать, приносить цветы. Возможно, нам даже удастся наскрести на памятник. Из мрамора, блестящий и гладкий. С черной розой и со стихотворением одного из любимых поэтов Д/Али. Как звали того латино-

американца, которого он обожал?

— Пабло Неруда, — подсказал Саботаж, и глаза его скользнули к картине, висевшей на стене.

Там была изображена Лейла, сидевшая на кровати, на ней были короткая алая юбка и бикини-топ, из которого почти вываливалась грудь, волосы ее были забраны в высокий хвостик, а лицо слегка повернуто в сторону зрителя. Она была так красива и недоступна! Саботаж знал, что Д/Али нарисовал этот портрет в борделе.

— Да, Неруда! — воскликнула Налан. — Они очень странно умеют смешивать секс и печаль, эти латиноамериканцы. Большинство наций делают что-то одно, но латиносы — победители и в том и в другом.

— Или стихотворение Назыма Хикмета, — предложил Саботаж. — Его любили оба — и Д/Али, и Лейла.

— Верно. Отлично, с памятником мы разобрались, — одобрительно кивнула Налан.

— С каким памятником? Что за чушь вы несете? Вы ведь даже не знаете, где ее похоронить! — поднимая вверх руки, закричала Зейнаб-122.

Налан нахмурилась:

— Я что-нибудь придумаю, ладно?

— Думаю, нам нужно положить ее рядом с Д/

Али, — высказался Саботаж.

Все глаза обратились к нему.

— Да! Как же я сама об этом не подумала! — фыркнула Налан. — Он же на том солнечном кладбище в Бебеке — прекрасное место и великолепный вид. Там похоронено много поэтов и музыкантов. Лейла окажется в хорошей компании.

— Она окажется с любовью всей своей жизни, — ни на кого не глядя, произнес Саботаж.

— Может, все-таки придете в себя? — вздохнула Зейнаб-122. — Д/Али лежит на хорошо охраняемом кладбище. Туда нельзя просто так прийти и начать копать. Нам придется получить официальное разрешение.

— Официальное разрешение! — усмехнулась Налан. — Кто станет проверять его среди ночи?

По пути на кухню Хюмейра успокаивающе кивнула Зейнаб-122:

— Тебе ехать не обязательно, все нормально.

— У меня нет выбора, — ответила Зейнаб-122, и ее голос дрогнул от накативших эмоций. — Кто-то должен заступиться за вас, прочитать нужные молитвы. Иначе все вы будете прокляты до конца своих дней. — Она подняла голову, посмотрела на Налан и расправила плечи. — Обещай, что не

будешь сквернословить на кладбище. Никакого богохульства.

— Обещаю, — беспечно ответила Налан. — Я не обижу твоего джинна.

Пока остальные спорили, Джамиля тихонько вышла из-за стола. Теперь она стояла у двери и, надев куртку, уже завязывала шнурки на ботинках.

— Куда ты идешь? — поинтересовалась Налан.

— Я собираюсь, — спокойно ответила Джамиля.

— Только не ты, дорогая моя. Тебе нужно остаться дома, налить себе чайку и присмотреть за Мистером Чаплином, пока нас не будет.

— Почему это? Если вы едете, еду и я. — Глаза Джамили сузились, а ноздри начали раздуваться. — Если это твой дружеский долг, значит и мой тоже.

— Прости, нам нужно думать о твоем здоровье, — покачала головой Налан. — Я не могу повезти тебя на кладбище посреди ночи. Лейла бы меня четвертовала.

— Пожалуйста, прекратите обходиться со мной так, словно я умираю. — Джамиля гордо подняла голову. — Мне еще рано умирать.

Она так редко впадала в ярость, что все умолк-

ли.

Ветерок ворвался с балкона, качнув занавески. На мгновение всем показалось, что в комнате появился кто-то еще. Едва заметная щекотка, словно выбившийся волосок на затылке. Но ощущение усиливалось, и теперь все почувствовали его силу, его тягу. Либо это они переступили границу и зашли в некий невидимый мир, либо этот самый мир проник в их, реальный. Настенные часы отсчитывали секунду за секундой, а все ждали полночи — картины на стенах, гулкая квартира, глухой кот, плодовая мушка и пять старинных друзей Текилы Лейлы.

Дорога

На углу проспекта Бююкдере, напротив кебаб-ресторана, располагался пост контроля скорости, который уже отловил и продолжал отлавливать множество беспечных водителей. Патрульная машина то и дело укрывалась за густыми зарослями кустарника и останавливала ни о чем не подозревавшие транспортные средства, мчавшиеся через перекресток.

Если принять точку зрения водителей, самое непредсказуемое в этой ловушке было время, когда в ней оказывались патрульные. Иногда полицейские сидели там на рассвете, а порой и ближе к закату. Случались дни, когда их вовсе не было видно, так что можно было подумать, что они собрались и уехали. А бывало и такое, что сине-белая машина стояла там сутки напролет, словно пантера, которая выжидает, прежде чем напасть и убить.

С точки зрения полицейских, это место было самым неприятным в Стамбуле. Не из-за недостатка тех, кого можно было остановить и оштрафовать, а просто потому, что таких было слишком много. И сколько бы они ни раздавали квитанций,

приносящих доход государству, последнее не торопилось демонстрировать свою благодарность. Так что полицейским приходилось задаваться вопросом: а следует ли проявлять рвение? К тому же в этой работе было полно подводных камней. То и дело оказывалось, что машина, которую они остановили, — собственность сына, племянника, жены или любовницы кого-то из высших чинов правительства, богатого бизнесмена, высокопоставленного судьи или какого-нибудь генерала. И тогда у полицейских возникали проблемы.

Такое случилось с одним из них — честным, порядочным парнем. Он остановил молодого человека в «порше» цвета синий металлик за небрежное вождение — тот ел пиццу, убрав руки с руля, — и движение на красный свет. Но подобные нарушения ежедневно совершали десятки стамбульских водителей. Если Париж называют городом любви, Иерусалим — городом Бога, а Лас-Вегас — городом греха, то Стамбул можно назвать городом многозадачности. Тем не менее полицейский все-таки остановил «порше».

— Вы ехали на красный свет…

— Неужели? — оборвал его водитель. — А вы знаете, кто мой дядя?

Такой намек насторожил бы любого сообра-

зительного полицейского. Тысячи граждан во всех слоях общества слышали подобные выпады ежедневно и тут же улавливали смысл. Они понимали, что штрафы можно изменить, правила исправить и что всегда случаются исключения. Они понимали, что глаза госслужащего могут на время ослепнуть, а уши оглохнуть — на столько, на сколько потребуется. Однако именно этот полицейский, хотя новичком и не был, страдал от неизлечимой болезни под названием «идеализм». Услышав слова водителя, вместо того чтобы отступить назад, он ответил:

— Мне все равно, кто у вас дядя. Правила есть правила.

Даже ребенку понятно, что это не так. Правила лишь иногда остаются правилами. В иное же время, в зависимости от обстоятельств, они бывают пустыми словами, абсурдными фразами или шутками без юмора. Правило — решето с такими крупными отверстиями, что сквозь них можно просунуть что угодно, они как жвачка, которая давно потеряла вкус, но выплюнуть которую нельзя. Правила в этой стране, как и на всем Ближнем Востоке, были чем угодно, только не правилами. Тот полицейский позабыл об этом — и потерял работу. Дядя водителя — очень важный

министр — сделал так, что его сослали в какой-то безотрадный городишко у восточной границы, где в радиусе нескольких километров не было ни одной машины.

Так что нынче ночью, когда двое патрульных расположились на этом печально известном месте, они вовсе не стремились выписывать штрафы. Откинувшись на спинки своих сидений, они слушали по радио футбольный матч — вторая лига, ничего особенного. Патрульный помоложе начал рассказывать о своей невесте. Он делал это постоянно. Другой полицейский не мог понять, почему это ему так нравится, сам он старался как можно реже думать о жене, и уж тем более во время нескольких блаженных рабочих часов. Он сослался на то, что хочет покурить, вышел из машины и, закурив, посмотрел на пустую дорогу. Он вдруг стал ненавидеть свою работу. Это было ему в новинку. Скуку он уже ощущал, усталость тоже, но ненависть была ему непривычна, и он пытался побороть это сильное чувство.

Тут полицейский поднял глаза, и от удивления его брови поползли вверх — небо вдалеке заволокло густыми облаками. Собиралась гроза. Его охватили дурные предчувствия. Он принялся размышлять, затопит ли дождевая вода подвалы

в другом конце города, как это было в прошлый раз, и тут его вспугнул громкий скрип. Волоски у него на затылке встали дыбом. От визга шин по асфальту по его спине пробежал холодок. Краешком глаза он уловил движение еще до того, как успел повернуться. Потом он увидел машину — по дороге со свистом неслось какое-то чудище: металлическая скаковая лошадь галопировала к невидимой финишной черте.

Это был пикап «шевроле-сильверадо» 1982 года. Такие в Стамбуле встречаются редко, куда больше они подходят для тихих дорог Австралии или Америки. Судя по виду, когда-то эта машина была золотисто-желтой, яркого и радостного оттенка, однако теперь ее усеивали пятна грязи и ржавчины. Впрочем, на самом деле внимание полицейского привлекла фигура сидевшего за рулем. Сиденье водителя занимала крупная женщина с сигаретой в зубах, ее ярко-рыжие волосы торчали в разные стороны.

Пикап промчался мимо, и полицейский успел заметить тех, кто сидел в кузове. Они плотно прижались друг к другу, чтобы защититься от ветра. Пусть лица различить было сложно, но неудобство пассажиров ощущалось уже от того, как именно они сидели. В руках они держали, как

показалось полицейскому, разного вида лопаты и мотыги. Внезапно машину повело влево, а потом вправо, она точно устроила бы аварию, если бы на дороге были другие автомобили. Полная женщина в кузове вскрикнула и потеряла равновесие, выпустив кирку, которую сжимала в руке. Инструмент со стуком рухнул на дорогу. А потом они просто исчезли — грузовичок, водитель и пассажиры.

Полицейский бросил окурок на землю, наступил на него ногой и тяжело сглотнул. Он не сразу сумел осознать то, чему только что стал свидетелем. Дрожащими руками он открыл дверцу патрульной машины и вынул рацию.

Его коллега тоже безотрывно таращился на дорогу. Когда он заговорил, в его голосе слышалась тревога.

— Бог мой, ты видел? Неужели это кирка?

— Похоже на то, — ответил полицейский постарше, изо всех сил стараясь, чтобы его слова звучали уверенно и спокойно. — Пойди подними ее. Возможно, она понадобится нам как вещественное доказательство, да и потом, ее нельзя там оставлять.

— Как думаешь, что происходит?

— Чутье подсказывает мне, что этот пикап

не просто так куда-то торопится… тут что-то не так. — Он включил рацию. — Дежурный Два-три-шесть, диспетчер, прием!

— Говорите, Два-три-шесть.

— Пикап «шевроле». Нарушение скорости. Может представлять опасность.

— Другие пассажиры есть?

— Так точно. — Слова застревали у него в глотке. — Подозрительный груз — четыре человека в кузове. Направляются в Килиос.

— Килиос? Подтвердите.

Полицейский еще раз продиктовал описание и место, а потом подождал, пока диспетчер не передаст информацию другим местным подразделениям.

Когда треск автомобильной рации затих, полицейский помоложе произнес:

— Почему Килиос? Там в такое позднее время совершенно нечего делать. Сонный старинный городок.

— Возможно, они собрались на пляж. Кто знает, может, у них вечеринка при свете луны.

— Вечеринка при свете луны… — повторил полицейский помоложе, в его голосе сквозила легкая зависть.

— А может, они направляются на это паршивое

кладбище.

— Какое кладбище?

— А-а, ты его не знаешь. Странное, жутковатое место у моря. Рядом со старой крепостью, — задумчиво произнес в ответ полицейский постарше. — Как-то поздно ночью, много лет назад, мы преследовали одного мерзавца, и эта сволочь побежала на кладбище. Я бежал за ним — боже, как я был наивен! В темноте я обо что-то споткнулся. Может, корень дерева, а может, бедренная кость. Я даже боялся разглядывать. Просто поковылял дальше. Потом услышал что-то впереди — тихий, глубокий стон. Я не сомневался, что это не человек, однако на животное тоже было не похоже. Я развернулся и помчался обратно, откуда пришел. И потом — готов поклясться на Коране! — этот звук стал меня преследовать. В воздухе ощущался странный тухлый запах. Никогда в жизни мне еще не было так страшно. Мне удалось выбраться оттуда, но на следующий день жена спросила меня: «Что ты делал прошлой ночью? Твоя одежда отвратительно пахнет!»

— Ого, ужас какой! Я не знал.

— Ага, ну, считай, что тебе повезло, — кивнув, ответил полицейский постарше. — Это одно из тех мест, о которых лучше не знать. Только

пр́оклятые оказываются на Кимсэсизлер-Мезарлыи. Только обреченные.

Обреченные

Примерно в часе езды от центра Стамбула, на берегу Черного моря, стоит старая греческая рыболовецкая деревушка под названием Килиос, знаменитая своими пляжами с мелким песком, маленькими гостиничками, отвесными скалами и средневековой крепостью, которая не однажды успешно отражала нападения. За долгие века многие приходили сюда и уходили, оставляя после себя песни, молитвы и проклятия: византийцы, крестоносцы, генуэзцы, корсары, османцы, донские казаки и — совсем ненадолго — русские.

Теперь уже никто этого не помнит. Песок, из-за которого эта местность получила свое греческое имя — Килия, — засыпал и стер все, заменив останки прошлого аккуратным забвением. Теперь вся прибрежная полоса стала популярным местом отдыха туристов, эмигрантов и местных. Здесь все было на контрастах — частные и общественные пляжи, женщины в бикини и женщины в хиджабах, семейные пикники на пледе — и проезжающие мимо велосипедисты, ряды дорогих вилл, затесавшихся между деше-

вым жильем, густые рощи из дубов, елей и буков — и асфальтовые парковки.

Море в Килиосе довольно-таки бурное. Разрывное течение и сильные волны каждый год топили по нескольку человек — их тела из воды вылавливали спасатели на резиновых лодках. Сложно было сказать, от чего именно они погибали — от того ли, что заплывали за буйки, из-за собственной самоуверенности или из-за того, что подводное течение затянуло их в свои объятия, словно нежная колыбельная. Отдыхающие прямо с берега наблюдали за развитием очередного трагического происшествия. Прикрывая глаза от солнца, глядя в бинокли, они устремляли взоры в одну точку, словно их кто-то заколдовал. Когда они возобновляли разговор, то делали это с воодушевлением, словно компаньоны, обсуждающие общее приключение, однако длилось это всего несколько минут. В конце концов отдыхающие возвращались к своим шезлонгам и лежакам. Некоторое время на их лицах оставалось неуверенное выражение, словно они раздумывали, не поехать ли еще куда-нибудь — на какой-нибудь другой пляж с таким же золотистым песком, где ветер дует потише, а море ведет себя спокойнее. Однако место это было прекрасно в других отно-

шениях: доступные цены, хорошие рестораны, щадящая погода и невероятно красивые виды; да и вообще, только Богу известно, как давно им пора наконец отдохнуть. Пусть никто никогда не говорил об этом вслух, а многие и про себя вряд ли в этом признавались, в какой-то степени они даже презирали погибших за то, что те осмелились утонуть на курорте. Это казалось поступком крайне эгоистичным. Ведь они работали в поте лица целый год, копили деньги, смирялись с капризами начальников, сдерживали гордость и гнев и в минуты отчаяния мечтали об отдыхе на солнышке. Так что отпускники оставались тут. Когда им хотелось охладиться, они быстро окунались в воду, отгоняя неотвязные мысли о том, что всего несколько минут назад какой-то бедолага встретил здесь свою смерть.

То и дело в этих водах опрокидывалась лодка с беженцами. Их тела доставали из моря и складывали рядами, и тут же собирались журналисты, пишущие свои статьи. Затем тела складывали в грузовики-холодильники, в которых обычно возят мороженое или рыбу, и отвозили в специальное место захоронения — на Кимсэ-сизлер-Мезарлыи. Афганцы, сирийцы, иракцы, сомалийцы, эфиопы, суданцы, нигерийцы, ли-

ванцы, иранцы, пакистанцы — все они были похоронены очень далеко от места своего рождения и весьма беспорядочно, там, где нашлось место. Со всех сторон они были окружены турецкими подданными, которые, хотя и не были ни беженцами, ни нелегальными мигрантами, оказались совершенно чужими на собственной земле. Вот так и существовало в Килиосе место захоронения, о котором не знали ни туристы, ни многие местные, единственное в своем роде. Оно предназначалось для трех видов мертвецов: ненужных, никчемных и неизвестных.

Поросшее полынью, крапивой и васильками и огороженное деревянным забором, в котором не хватало столбиков, а проволока провисала, это было самое своеобразное кладбище Стамбула. Сюда приходили не многие, если вообще приходили. Даже бывалые расхитители могил обходили его за версту, опасаясь проклятия про́клятых. Беспокоить мертвых и без того опасно, а уж беспокоить и обреченных, и мертвых одновременно — явная попытка навлечь на себя несчастья.

Почти все, кого предали земле на Кимсэсизлер-Мезарлыи, в том или ином смысле были изгоями. Многих изгоняли семьи, деревни или общества в целом. Наркоманы, алкоголики, игроки, мелкие

преступники, бездомные, сбежавшие, разного рода отбросы, пропавшие без вести, душевнобольные, отверженные, незамужние матери, проститутки, сутенеры, трансвеститы, больные СПИДом… Никому не нужные. Отщепенцы. Прокаженные.

Среди обитателей кладбища попадались также хладнокровные душегубы, серийные убийцы, террористы-смертники и сексуальные маньяки и, как это ни поразительно, их жертвы. Мерзких и добрых, жестоких и милосердных — всех закапывали на два метра, бок о бок, один унылый ряд за другим. На большинстве могил не было даже самого простого надгробия. Ни имени, ни даты рождения. Лишь грубо отесанная доска с номером, а иногда не было даже ее — всего-навсего ржавая жестяная табличка. И где-то в этом беспорядке, среди сотен и сотен неухоженных могил, была одна, свежевыкопанная.

В ней похоронили Текилу Лейлу.

Под номером 7053.

Номер 7054, могила справа, принадлежала композитору, который покончил жизнь самоубийством. Повсюду люди еще пели его песни, не имея ни малейшего понятия, что человек, написавший такие прекрасные стихи, лежит в

забытой могиле. На Кимсэсизлер-Мезарлыи лежало много самоубийц. Часто они были родом из маленьких городков или деревенек, где имамы отказывались проводить для них похоронные обряды, и их скорбящие семьи со стыдом и печалью соглашались с тем, что их похоронят где-то далеко.

Под номером 7063, в изголовье Лейлы, покоился убийца. В приступе ревности он выстрелил в свою жену, затем помчался в дом человека, которого он подозревал в близких отношениях со своей женой, и застрелил его тоже. В пистолете у него осталась одна пуля, а мишеней больше не было, поэтому он приложил оружие к своему виску, но, промахнувшись, снес себе полголовы, впал в кому и скончался спустя несколько дней. Тело его никто не забрал.

Номер 7052, сосед Лейлы слева, — еще одна темная душа. Фанатик. Он решил пойти в ночной клуб и перестрелять всех танцующих и пьющих грешников, но оружие достать не смог. Разозлившись, он собрался сделать бомбу из кастрюли-скороварки, заполненной гвоздями, которые были смазаны крысиным ядом. Он продумал все до последней детали, но, увы, во время изготовления смертоносного устройства взорвал

собственный дом. Один из гвоздей, которые разлетелись в разные стороны, попал ему прямо в сердце. Это случилось всего два дня назад, но его уже положили сюда.

Номер 7043, соседка в изножье Лейлы, была дзен-буддисткой — единственной на этом кладбище. Она летела из Непала в Нью-Йорк к своим внукам, и в полете у нее случился геморрагический инсульт. Самолет совершил экстренную посадку. Она умерла в Стамбуле, в городе, куда ни разу не ступала ее нога. Родственники хотели, чтобы ее тело сожгли, а прах перевезли назад в Непал. Согласно их вере, погребальный костер разжигается в тот момент, когда человек делает последний вдох. Однако в Турции кремация вне закона, и женщину пришлось предать земле, причем сделать это быстро, как требуют того законы ислама.

Буддистских кладбищ в городе не существовало. Разных других было множество — старинных и современных, мусульманских: суннитских, алевитских и суфийских, римско-католических, греко-ортодоксальных, армяно-апостольских, армяно-католических, еврейских, а вот буддистского ни одного. В итоге бабушку привезли на Кимсэсизлер-Мезарлыи. Ее родственники дали

свое согласие, заявив, что не возражают, если она упокоится среди чужаков.

Другие могилы по соседству от Лейлы занимали революционеры, которые умерли в полицейских застенках. Как говорилось в официальных отчетах, они «покончили жизнь самоубийством, обнаружены в камере с веревкой, с галстуком, простыней или шнурком на шее». Синяки и ожоги на теле рассказывали совершенно иную историю — о жестоких пытках в заключении. Здесь также было захоронено множество курдских мятежников, которых везли на это кладбище через всю страну. Государство боялось сделать их мучениками в глазах народа, так что их тела тщательно упаковали — так, будто они были сделаны из стекла, — и перевезли сюда.

Самыми юными обитателями кладбища были брошенные младенцы. Свертки с ними оставляли во дворах мечетей, на залитых солнцем детских площадках или в слабоосвещенных кинотеатрах. Тех, кому повезло больше других, спасали прохожие, которые передавали их в полицию. Там малышей бережно кормили и одевали, а потом давали имена — какие-нибудь оптимистичные, вроде Счастья, Радости или Надежды, в противовес печали, встретившей их жизнь. Но то и дело

попадались куда менее удачливые младенцы. Одной ночи на холоде было достаточно, чтобы убить их.

Каждый год в Стамбуле умирает в среднем пятьдесят пять тысяч человек — и только около ста двадцати оказываются здесь, в Килиосе.

Посетители

В глухой ночи пикап «шевроле», чей силуэт на фоне грозового неба вырисовывали отблески молний, мчался мимо старинной крепости, вздымая клубы пыли. Он несся вперед, то и дело его заносило на обочину, он периодически заезжал на камни, отделявшие землю от моря, но в последнюю секунду все же умудрялся вернуться на дорогу. Спустя несколько ярдов автомобиль в последний раз дернулся и остановился. Некоторое время не раздавалось ни звука — ни изнутри, ни из кузова грузовичка. Казалось, даже ветер, бешено дувший с раннего вечера, на время стих.

Со скрипом открылась водительская дверца, и из нее выпрыгнула Ностальгия Налан. Ее волосы светились в лунном свете — этакий нимб из огня. Она сделала несколько шагов, не отрывая глаз от кладбища, раскинувшегося перед ней. И тщательно осмотрела место. Оно выглядело жутковато и даже отталкивающе — ржавые железные ворота, ряды захудалых могил, доски вместо памятников, сломанная ограда, ни капли не защищающая от шпаны, и шишковатые кипарисы. Она так и знала. Вдохнув полную грудь воздуха, Налан

бросила взгляд через плечо и провозгласила:

— Приехали!

И только тогда четыре тени, что сидели в кузове, прижавшись друг к другу, решились пошевелиться. Одна за другой они подняли голову и понюхали воздух, словно олени, которые пытаются учуять, есть ли неподалеку охотники.

Первой встала Голливуд Хюмейра. Едва выкарабкавшись наружу с тяжелым рюкзаком на спине, она тут же принялась ощупывать голову, чтобы проверить прическу, — уложенные в пучок волосы торчали под каким-то странным углом.

— Бог мой, на голове у меня творится нечто ужасное! И лица я не чувствую. Оно заледенело.

— Это все из-за ветра, зануда. Сегодня гроза. Я же сказала вам: нужно что-то надеть на голову, но вы ведь никогда меня не слушаете.

— Дело не в ветре, а в том, как ты нас везла, — вмешалась Зейнаб-122, с трудом выползая из кузова.

— Это разве «везла»! — Саботаж спрыгнул на землю, а потом помог спуститься Джамиле.

Куцые волосы Саботажа перьями торчали в разные стороны. Он жалел, что не надел шерстяную шапку, но куда больше жалел, что согласился

отправиться в это окаянное место посреди ночи.

— И как это тебе удалось получить права! — воскликнула Зейнаб-122.

— Небось переспала с инструктором, — пробормотала себе под нос Хюмейра.

— Ой, да заткнитесь вы! — нахмурилась Налан. — Разве вы не видели дорогу? Благодаря мне вы доехали целыми и невредимыми.

— Целыми! — возмутилась Хюмейра.

— Невредимыми! — вторил ей Саботаж.

— Сволочи! — Налан быстро и решительно направилась к задней части пикапа.

— Э-э… не могла бы ты попридержать язык? — вздохнула Зейнаб-122. — Мы же договорились: на кладбище не орать и не ругаться.

Она вынула из кармана четки и принялась перебирать их. Что-то подсказывало Зейнаб-122, что эта ночная экспедиция не будет простой и ей наверняка понадобится помощь и поддержка добрых духов.

Между тем Налан откинула задний борт кузова и принялась вынимать орудия труда: тачку, тяпку, мотыгу, совковую лопату, штыковую лопату, фонарь, моток веревки. Она положила все это на землю и задумчиво почесала затылок:

— Кирка пропала.

— А-а, эта… — отозвалась Хюмейра. — Я… я, кажется, обронила ее.

— Как это ты обронила ее? Это ведь кирка, а не носовой платок.

— Я не сумела ее удержать. Скажи себе спасибо. Ты неслась как маньяк.

Налан смерила ее холодным взглядом, которого никто не заметил в темноте.

— Ладно, хватит болтать. Пора дело делать. Времени у нас немного. — Она взяла в руки лопату и фонарь. — Берите инструменты.

Один за другим все двинулись за ней. Где-то вдалеке море ревело и с невероятной силой билось о берег. Снова поднялся ветер, пахнувший соленой водой. За их спинами терпеливо ждала старинная крепость — она привыкла к этому за долгие десятилетия, — а мимо ее ворот промчалась тень какого-то животного: возможно, крыса или еж бежали в какое-то укрытие, чтобы не попасть в грозу.

Друзья молча открыли ворота кладбища и вошли. Пятеро нарушителей, пятеро друзей, ищущих свою утраченную подругу. Как по команде, луна исчезла за тучей, погрузив весь пейзаж в черноту, и на мгновение это одинокое место в Килиосе можно было принять за любое другое.

Ночь

Ночь на кладбище была совсем не похожа на ночь в городе. Тут тьма была не столько отсутствием света, сколько чем-то особым — живым и дышащим существом. Она преследовала их, словно любопытная тварь, — сложно сказать, что именно она делала: предупреждала их об ожидавшей впереди опасности или стремилась толкнуть ей навстречу, когда наступит удобный момент.

Пятеро друзей шли вперед наперекор беспощадному ветру. Поначалу они двигались проворно, с рвением, продиктованным беспокойством или даже обычным страхом. Они двигались гуськом вслед за Налан, которая в одной руке держала лопату, а в другой — фонарь. За ней шли Джамиля и Саботаж с инструментами в руках, а потом Хюмейра, катившая тачку. Зейнаб-122 замыкала процессию не только потому, что ее ноги были короче, но еще и потому, что она раскидывала хлопья соли и семена мака, дабы защититься от злых духов.

От почвы шел едкий запах влажной земли, мокрого камня, дикого чертополоха, гниющих

листьев и еще чего-то, что они не решились бы назвать. Тяжелый мускусный запах разложения. Они видели камни и древесные стволы, покрытые зеленым лишайником, его чешуйки, похожие на листики, призрачно светились в темноте. То и дело перед глазами вставала беловатая дымка. Один раз послышался треск, который, казалось, идет из-под земли. Налан остановилась и принялась водить фонарем по сторонам. И только в тот момент они поняли, насколько огромно кладбище и насколько сложна их задача.

Пока у них это получалось, друзья старались идти по одной и той же тропинке, несмотря на то что она была очень узкая и скользкая. Им казалось, что она приведет их, куда надо. Однако вскоре тропинка исчезла, и им пришлось взбираться на непротоптанный холм посреди могил. Их были сотни и сотни, в большинстве своем они были снабжены досками с номерами, однако на некоторых таковые отсутствовали. В безжизненном свете луны доски напоминали привидения.

То и дело на пути попадались особые могилы с белыми камнями в качестве надгробий, а один раз они даже увидели надпись:

Не стоит и предполагать, что ты живой — и нет меня.

Полна сюрпризов здешняя забытая земля…
И. В.

— Ну все, я возвращаюсь, — сказал Саботаж, крепко сжав в руке лопату.

Налан оторвала от своего рукава колючку:

— Не будь идиотом. Всего-навсего дурацкий стишок.

— Дурацкий стишок? Этот мужик нас запугивает.

— Откуда ты знаешь, что это мужик! Здесь же только инициалы.

— Без разницы, — замотал головой Саботаж. — Тот, кто здесь похоронен, предупреждает нас, что дальше идти не стоит.

— Прямо как в кино, — пробормотала Хюмейра.

— Ага, — кивнул Саботаж, — это когда несколько гостей оказываются в доме с привидениями и к исходу ночи все погибают! И знаешь, что думают зрители? «Ну, они же понимали, чем все кончится в самом деле!» Завтра утром примерно это же о нас напишут в газетах.

— Завтрашние утренние газеты уже давно отпечатаны, — возразила Налан.

— А-а, ну тогда ладно, — попытался улыбнуться Саботаж.

И на краткий миг создалось впечатление, что они снова оказались в квартире Лейлы на улице Лохматого Кафки — все шестеро, — что они болтают и подкалывают друг друга и их голоса звенят, словно колокольчики.

Очередная вспышка молнии — на этот раз такая близкая, что сама земля засветилась, точно изнутри. Почти сразу же вслед за ней с треском рванул гром. Остановившись, Саботаж вынул из кармана кисет и свернул себе косячок, только вот спички никак его не слушались. Слишком сильный поднялся ветер. В итоге он все-таки прикурил — и глубоко затянулся.

— Что ты делаешь? — спросила Налан.

— Нервы успокаиваю. Мои бедные, истрепанные нервишки. Меня тут удар хватит. В нашей семье все мужчины по отцовской линии умерли до сорока трех лет. У отца инфаркт случился в сорок два года. А теперь вспомни, сколько мне! Клянусь, мое пребывание здесь — прямая угроза здоровью!

— Брось! Если ты накуришься, какая от этого польза? — Налан приподняла брови. — К тому же сигарету видно за несколько километров. Почему, как ты думаешь, солдатам на поле боя запрещается курить?

— Бог мой, мы же не на войне! А как же твой фонарь? Неужели враг увидит мой косячок, а не твой луч света?

— Я направляю его к земле, — возразила Налан и осветила фонарем ближайшую могилу, чтобы доказать свою правоту.

Вдруг, задевая крыльями их головы, рванула прочь испуганная летучая мышь.

— Хорошо. — Саботаж загасил косячок. — Теперь ты довольна?

Они зигзагами обходили доски с номерами и шишковатые деревья и потели, несмотря на прохладу, понимая, что здесь они незваные гости. Все испытывали напряжение и нервозность. Папоротник и чертополох терлись об их ноги, осенние листья поскрипывали под обувью. Сапог Налан застрял в корне дерева. Она пошатнулась, пытаясь удержать равновесие.

— У, черт!

— Не сквернословь! — напомнила Зейнаб-122. — Тебя могут услышать джинны. Они живут в туннелях под могилами.

— Возможно, сейчас не самое подходящее время для этих подробностей, — сказала Хюмейра.

— Я вовсе не пыталась напугать вас, — скорбно поглядела на нее Зейнаб-122. — Ты, например,

знаешь, что делать, если наткнешься на джинна? Правило номер один: не паникуй. Номер два: не беги, они быстрее нас. И номер три: не глумись над ним — или над ней, — у джиннов женского рода характер еще хуже.

— А вот в этом я нисколько не сомневаюсь, — отозвалась Налан.

— А есть ли правило номер четыре? — поинтересовалась Джамиля.

— Да… не позволяй им себя очаровать. Джинны — большие мастера маскировки.

Налан фыркнула, а потом осадила себя:

— Прости.

— Это правда, — не унималась Зейнаб-122. — Если вы читали Коран, сами знаете. Джинн может принять любое обличье — человека, зверя, растения, минерала… Видите вон то дерево? Вы считаете, что это дерево, а это, возможно, дух.

Хюмейра, Джамиля и Саботаж украдкой взглянули на бук, о котором шла речь. С виду он выглядел старым и самым обычным — узловатый ствол и ветви, казавшиеся столь же безжизненными, сколь и окружающие могилы. Но если приглядеться как следует, возможно, он и правда испускает особую энергию, обладает неземной аурой.

Налан, которая продолжала невозмутимо идти вперед, немного замедлила темп и бросила взгляд через плечо:

— Хватит! Прекрати их пугать.

— Я стараюсь быть полезной, — с вызовом проговорила Зейнаб-122.

«Даже если вся эта чушь на самом деле правда, зачем грузить людей информацией, которую им некуда применить?» — хотела было сказать Налан, но воздержалась. По ее мнению, люди напоминают соколов: у тех есть умение и возможности для полета в небо, где можно быть свободными, легкими и ничем не связанными, однако порой птицы тоже живут в неволе — под нажимом или по собственной воле.

Живя в Анатолии, Налан вблизи наблюдала, как соколы сидят на плечах своих хозяев и послушно ждут следующей команды или очередного лакомства. Свист соколятника — звук, заканчивающий свободу. А еще она видела, как на этих величавых хищников надевали клобучок, чтобы они не боялись. Видеть — значит знать, а знать — страшно. Каждый соколятник уверен: чем меньше видит его птица, тем она спокойнее.

Но под этим клобучком не существует направлений — небо и земля сливаются в единую полосу

из черной парусины. Немного успокоившийся сокол все равно нервничает, потому что удар может обрушиться в любой момент. Теперь, спустя годы, Налан казалось, что религия — равно как и власть, деньги, идеология и политика — действует точно как этот клобучок. Все суеверия, пророчества и веры словно лишают человека зрения, держат его под контролем, а в глубине души настолько сильно ослабляют его самооценку, что он начинает бояться всего, буквально всего.

Но это не про нее. Пристально вглядываясь в паутину, которая, словно ртуть, поблескивала в свете фонаря, она в очередной раз отметила про себя, что лучше ни во что не верить. Ни в религию, ни в идеологию. Она, Ностальгия Налан, никогда не позволит завязать себе глаза.

Водка

Очутившись в уголке, где тропинка снова была видна, друзья остановились. Здесь номера могил казались случайными, и понять порядок было невозможно. В скользящем луче своего фонаря Налан читала вслух:

— Семь тысяч сорок, семь тысяч двадцать четыре, семь тысяч сорок восемь…

Она нахмурилась, словно подозревая, что кто-то над ней посмеялся. Она никогда не разбиралась в математике. Да и в других предметах тоже, если честно. До сих пор ей то и дело снилось, что она снова в школе. Она видела себя маленьким мальчиком, одетым в уродливую форму, с очень коротко остриженными волосами, учитель бил ее перед всем классом за орфографические ошибки и незнание грамматики. В те времена понятие «дислексия» еще не вошло в словарь повседневной деревенской лексики, а потому ни учитель, ни директор не проявляли к Налан никакого сочувствия.

— Ты в порядке? — спросила Зейнаб-122.

— Разумеется, — собралась Налан.

— Эти доски очень странные, — пробормотала

Хюмейра. — Куда нам теперь?

— Может, вы останетесь здесь? А я пойду посмотрю, — предложила Налан.

— Может быть, кто-то еще с тобой пойдет? — встревожилась Джамиля.

Налан отмахнулась. Ей нужно немного побыть одной и собраться с мыслями. Вынув из внутреннего кармана куртки фляжку, она подкрепилась щедрым глотком. Затем передала фляжку Хюмейре — единственному человеку в этой компании, кто мог употреблять алкоголь.

— Попробуй, но только осторожно.

С этими словами она удалилась.

Без фонаря четверо друзей остались в темноте, да и луна в этот момент спряталась за тучей. Они сгрудились теснее.

— Вы отдаете себе отчет, что обычно это так и начинается, — пробормотала Хюмейра. — Я имею в виду, в фильмах. Кто-то уходит от остальных, и его жестоко убивают. Это случается всего в нескольких метрах от других, но они, разумеется, не знают об этом. Затем еще кто-то уходит — и снова погибает…

— Расслабься, мы не умрем, — успокоила ее Зейнаб-122.

Хюмейра, несмотря на принятое успокои-

тельное, начинала нервничать, а вот Саботаж чувствовал себя и того хуже.

— А та выпивка, что она дала тебе… Может, попробуем по глотку?

Хюмейра засомневалась:

— Ты ведь знаешь: когда ты выпиваешь, это катастрофа.

— Но это в обычный день, а сегодня ночью особый случай. Девочки, я же рассказал вам про мужчин из моего рода. Конкретно этого места я не боюсь. А вот от мысли о смерти у меня кровь стынет в жилах.

— Может, тебе лучше косячок покурить? — услужливо предложила Джамиля.

— Нету больше. Как я пойду дальше в таком состоянии? И как буду раскапывать могилу?

Хюмейра и Зейнаб-122 переглянулись. Джамиля пожала плечами.

— Отлично, — сказала Хюмейра. — Если честно, мне и самой нужно глотнуть.

Выхватив у нее фляжку, Саботаж сделал внушительный глоток. А потом еще один.

— Хватит, — проговорила Хюмейра и тоже немного глотнула; по ее горлу пронеслась огненная стрела. Поморщившись, Хюмейра наклонилась вперед. — Что… а-а-а… что это такое?

— Не знаю, но мне понравилось, — сказал Саботаж и выхватил фляжку, чтобы сделать еще один глоток.

Ему стало полегче, и он решил хлебнуть еще немного.

— Эй, хватит! — Хюмейра отняла у него фляжку и закрутила на ней крышку. — Это крепкая штука. Я никогда…

— Ладно, пошли! Нам сюда, — раздался голос из мрака.

Налан возвращалась к ним.

— Этот напиток… — проговорила Хюмейра, двигаясь ей навстречу. — Что это за отрава?

— А-а, ты попробовала? Это особенная штука. Ее называют «спиритус магнанимус». Польская водка. Бывает еще украинская, русская или словацкая. Мы спорим о том, кто придумал пахлаву — турки, ливанцы, сирийцы или греки… а у славян своя война — по поводу водки.

— Так это была водка? — с недоверием спросила Хюмейра.

— А то! — широко улыбнулась Налан. — Но это всем водкам водка. Девяносто семь процентов спирта. Эффективная и практичная. Зубные врачи дают такую своим пациентам, если собираются вырвать зуб. А хирурги используют ее во

время операций. И духи тоже из нее делают. Но в Польше такую пьют на похоронах — поминают мертвых. А потому я подумала, что она нам сгодится.

— Ты притащила убойную водку на кладбище?! — покачав головой, ужаснулась Зейнаб-122.

— Ну, от тебя-то я не ждала одобрения, — с обидой ответила Налан.

— Тебе удалось найти могилу Лейлы? — спросила Джамиля, меняя тему, чтобы снять напряжение.

— Да-да! Она на другой стороне. Все готовы?

Не дожидаясь ответа, Ностальгия Налан направила свой фонарик на тропинку слева от них и пошла по ней, так и не заметив странной улыбки, которая появилась на лице у Саботажа, и блеска, возникшего у него в глазах.

Людям свойственно ошибаться

В итоге они дошли. Склонившись друг к другу, они пристально всматривались в одну из могил, как будто она представляла собой ребус, который необходимо решить. Как и на большинстве прочих могил, на этой тоже торчал лишь номер. На надгробии не было написано ни «Текила», ни «Лейла». Да и надгробия-то не было. И ухоженного участка земли с аккуратным рядом цветов тоже не было. Ей досталась всего-навсего деревянная доска с небрежными каракулями какого-то кладбищенского служащего.

Они вспугнули ящерицу, которая выскочила из-под камня и, рванув в другое укрытие, исчезла в зарослях кустарника где-то впереди. Понизив голос до шепота, Хюмейра спросила:

— Это здесь похоронена Лейлочка?

В спокойствии Налан сквозило напряжение.

— Да, давайте копать.

— Не так быстро, — подняла руку Зейнаб-122. — Сначала нужно помолиться. Нельзя эксгумировать тело без определенного ритуала.

— Прекрасно, — ответила Налан. — Только поскорее, пожалуйста. Нам нужно торопиться.

Из своей сумки Зейнаб-122 достала баночку с приготовленной заранее смесью — каменная соль, розовая вода, сандаловая паста, семена кардамона и камфара — и обрызгала ею могилу. Закрыв глаза и подняв руки ладонями вверх, она прочитала суру «Аль-Фатиха». Хюмейра подхватила. Саботаж, у которого закружилась голова, вынужден был сесть и только так смог молиться. Джамиля трижды перекрестилась, беззвучно шевеля губами.

Воцарившаяся после тишина была пронизана печалью.

— Ладно, пора пошевеливаться, — сказала Налан.

Навалившись на лопату всем своим весом и поставив ногу на упор, Налан загнала ее глубоко в землю — полотно ушло внутрь полностью. До этого она волновалась, что земля может промерзнуть, но она оказалась достаточно мягкой и влажной, и Налан быстро принялась за работу, войдя в определенный ритм. Вскоре ее затянуло знакомое и такое успокаивающее ощущение почвы, ее аромат.

В сознании Налан всплыла одна картина. Она вспомнила, как увидела Лейлу впервые. Сначала она была всего-навсего очередным лицом в окне

борделя: от ее дыхания чуть запотело стекло. Она двигалась со спокойной грацией, которая совершенно не соответствовала обстановке. С длинными, падавшими на плечи волосами и большими темными выразительными глазами Лейла напоминала женщину с монеты, которую Налан нашла однажды, когда вспахивала поле. Как и у византийской императрицы, в лице Лейлы было нечто неуловимое, бросающее вызов времени и месту. Налан вспомнила их доверительные беседы в буречной.

— Ты никогда не думала, что с ней стало? — ни с того ни с сего однажды спросила Лейла. — С твоей молодой невестой?.. Ты оставила ее в той комнате в одиночестве.

— Ну, я не сомневаюсь, что она вышла за кого-то еще. И наверняка у нее уже куча детей.

— Не в этом дело, дорогая моя. Ты же посылаешь мне открытки. Надо написать ей письмо. Объяснить, что произошло, и попросить прощения.

— Ты это серьезно? Меня заставили заключить этот фальшивый брак. Это бы меня убило. Я сбежала, чтобы спастись. Ты бы предпочла, чтобы я осталась и всю жизнь прожила во вранье?

— Вовсе нет. Нужно делать все возможное, чтобы исправить собственную жизнь, это необ-

ходимо для нас самих, но нужно делать это осторожно, чтобы попутно не сломать других.

— О боже!

Лейла смерила ее своим терпеливым мудрым взглядом.

— Ладно, хорошо… — Налан подняла руки вверх. — Я напишу своей дорогой женушке.

— Обещаешь?

Продолжая раскапывать могилу Лейлы, Налан невольно припоминала ту давно позабытую беседу. Она слышала голос Лейлы в своем сознании, а еще вспомнила, что так и не написала обещанного письма.

Саботаж стоял на краю могилы и наблюдал за Налан со смесью удивления и восхищения. Он никогда не умел работать руками: каждый раз, когда дома нужно было починить подтекающий кран или повесить какую-нибудь полку, они всегда звали соседа. В семье к Саботажу относились как к человеку, погруженному в скучную работу — цифры и налоги, хотя сам он предпочитал считать себя человеком творческим. Обделенный вниманием художник. Непризнанный ученый. Несостоявшийся талант. Он ни разу не признался Лейле, что завидовал Д/Али. А о чем еще он так и не сказал ей? В его сознании заплясали воспо-

минания — каждое было отдельным и особым кусочком мозаики под названием «Долгие отношения с Лейлой», картины, в которой было много неисправимых трещин и утраченных фрагментов.

Подгоняемая водкой, курсировавшей по его организму, кровь стучала у него в ушах. Он прикрыл глаза, стараясь отгородиться от этого звука. Он ждал. Поскольку это не помогло, Саботаж откинул голову назад, словно пытаясь найти успокоение в небе. Наверху он обнаружил нечто странное — и лицо его вытянулось. С поверхности луны на него кто-то смотрел. Кто-то удивительно знакомый. Он щурился, пока его глаза не превратились в щелки. Это было его собственное лицо! Кто-то взял и нарисовал его на луне! Саботаж был так потрясен, что ахнул — изумленно, громко и хрипло, как самовар, который вот-вот закипит. Он сжал рот и прикусил внутреннюю часть губы, чтобы справиться с самим собой, но у него ничего не получилось.

— Вы видели луну? Это я на ней! — воскликнул раскрасневшийся Саботаж.

Налан перестала копать:

— Что это с ним?

Саботаж закатил глаза:

— Что со мной? Да ничего такого! Почему ты все время предполагаешь, будто со мной что-то не то?

Налан резко ахнула и, бросив лопату, направилась к нему. Взяв его за плечи, она осмотрела его зрачки и заметила, что они расширились.

Налан тут же обернулась к остальным:

— Он что, выпил?

Хюмейра с трудом сглотнула:

— Ему было не по себе.

— Понятно. — Налан поджала губы. — И что же он пил?

— Твою… водку, — ответила Зейнаб-122.

— Что?! Вы с ума сошли, что ли? Даже я с ней очень осторожна. Кто теперь будет с ним возиться?

— Я, — отозвался Саботаж. — Я сам справлюсь!

Налан снова схватила лопату:

— Только держите его подальше от меня. Я не шучу!

— Иди сюда, ко мне, — позвала Хюмейра, ласково притягивая к себе Саботажа.

Саботаж вздохнул устало и раздраженно. И снова его охватило до боли знакомое чувство, что его не понимают самые близкие люди. Он не особенно ценил слова, ожидая, что близкие

смогут понять и его молчание. Когда ему приходилось говорить открыто, он часто делал намеки, когда требовалось признаться в чувствах, он маскировал их еще сильнее. Вероятно, все боятся смерти, но гораздо больше это делают те, кто всю жизнь притворялся и исполнял какой-то долг, кто всецело подчинялся нуждам и требованиям других людей. Теперь, достигнув возраста смерти отца, оставившего его маму одну-одинешеньку в провинциальном Ване со сплетнями соседей, Саботаж имел полное право задуматься о том, что́ останется после него, когда он тоже уйдет.

— Разве больше никто не видит меня на луне? — спросил Саботаж, раскачиваясь на пятках и колеблясь всем телом, словно рябь на воде.

— Тсс, дорогой мой! — попыталась унять его Хюмейра.

— Видели или нет?

— Да-да, — ответила Зейнаб-122. — Видели.

— А сейчас там ничего нет, — продолжал Саботаж; теперь его глаза смотрели вниз, а на лице отражалось отчаяние. — Раз — и нет. Именно это происходит, когда ты умираешь?

— Ты здесь, с нами.

Хюмейра открыла термос и предложила ему кофе.

Саботаж несколько раз глотнул, но не успокоился.

— Я говорил неправду, когда сказал, что это место меня не пугает. У меня от него мурашки по спине.

— И у меня, — тихо ответила Хюмейра. — Я храбрилась, когда мы только выезжали, но сейчас это прошло. Думаю, меня еще долго будут мучить кошмары.

Им было стыдно оттого, что никто не помогает Налан, но все четверо беспомощно стояли бок о бок и наблюдали, как комок за комком в сторону летит почва и как нарушаются те мало-мальские порядок и покой, что были здесь до них.

И вот могила раскопана. Саботаж и его подруги сбились в кучку у земляного холмика, они боялись заглянуть внутрь, в черную яму. Все еще боялись.

Налан, тяжело дыша, выбралась из углубления, которое раскопала, она была вся испачкана землей. Налан вытерла пот со лба, не подозревая, что размазывает по лицу грязь.

— Спасибо за помощь, гады ленивые! — сказала она.

Никто не ответил. Они боялись говорить. Согласиться на безумный план и запрыгнуть в

грузовик — настоящее приключение, да и для Лейлы хорошо. Но теперь всех их внезапно сковал первобытный страх, данные ранее клятвы имели мало веса посреди ночи и в присутствии трупа.

— Вперед. Давайте вынем ее оттуда. — Налан направила свет фонаря в могилу.

Он выхватил несколько древесных корней, извивавшихся, словно змеи. На дне могилы виднелся саван, усеянный комками земли.

— Как так — почему без гроба? — спросила Джамиля, когда осмелилась сделать шаг вперед и посмотреть вниз.

— Гроб — это христианское, — покачала головой Зейнаб-122. — Мусульмане хоронят своих мертвых в простом саване. И ничего больше. В смерти все равны. А как народ поступает у тебя на родине?

— Я никогда раньше не видела покойника, — призналась Джамиля запинающимся голосом. — Только маму. Она была христианкой, но перешла в ислам, когда вышла замуж… хотя… о ее похоронах много спорили. Папа хотел, чтобы хоронили по исламскому обычаю, а тетя — по христианскому. Они поссорились. Отвратительная история.

Зейнаб-122 кивнула, и печаль окутала ее, словно плащ. Для нее религия всегда была ис-

точником надежды, стойкости и любви. Неким лифтом, поднимавшим ее из темного подвала на свет духовности. Ей было больно от мысли, что этот же лифт способен, напротив, опустить других людей на самый низ. Учения, которые согревали ей сердце и сближали с человечеством, вне зависимости от убеждений, цвета кожи или национальности, можно интерпретировать так, что они послужат разобщению, смятению и раздору между людьми, посеют семена враждебности и приведут к кровопролитию. Если в один прекрасный день Бог призовет ее и разрешит побыть немного в Его присутствии, она непременно задаст Ему один простой вопрос: «Почему Ты так часто позволяешь людям не понимать Себя, мой прекрасный милосердный Бог?»

Ее взгляд медленно скользнул вниз. Зрелище заставило ее резко прекратить размышления.

— На саване Лейлы должны быть деревянные доски, — сказала она. — Почему ее тело не защищено?

— Полагаю, могильщикам было безразлично. — Налан отряхнула ладони и обратилась к Зейнаб-122: — Ладно, прыгай вниз!

— Что? Я?

— Мне нужно быть здесь, чтобы тянуть веревку.

Кому-то нужно спрыгнуть туда. Ты ниже всех.

— Вот именно. Мне туда нельзя. Если я прыгну, то оттуда уже не выберусь.

Налан обдумала это. Потом посмотрела на Хюмейру — слишком полная, на Саботажа — слишком пьян, и наконец на Джамилю — слишком слабенькая.

— Ладно, полезу сама, — вздохнула она. — Думаю, я уже привыкла.

Отложив лопату, Налан слегка приблизилась и заглянула в могилу. В груди поднялась волна печали. Там лежала ее лучшая подруга, та, с кем она провела больше двух десятков лет своей жизни — хорошие времена, плохие времена и самые ужасные.

— Ладно, мы поступим так, — объявила Налан. — Я сползу вниз, вы бросите мне веревку, и я обвяжу ею Лейлу. На счет «три» вы поднимете ее, хорошо?

— Поняли, — прохрипела Хюмейра.

— А как мы будем тянуть? Дайте поглядеть, — проговорил Саботаж и, прежде чем его успели остановить, подобрался к могиле.

Под действием забойной водки его обычно бледная кожа раскраснелась до оттенка, напоминавшего доску мясника. Он обильно потел,

несмотря на то что уже снял куртку. Саботаж вытянул шею, прищурившись, посмотрел в могилу. И побледнел.

Несколько минут назад он видел свое лицо на луне. Это его потрясло. А теперь он увидел призрачный отпечаток собственного лица внизу, на саване. Это намеки Смерти. Возможно, его друзья не понимают, но он знал: ангел Азраэль говорил ему, что он следующий. У него закружилась голова. Его начало подташнивать, и он, почти ничего не соображая, качнулся вперед и потерял равновесие. Ноги у него подогнулись, заскользили, и Саботаж рухнул прямо в могилу.

Это случилось так быстро, что другие не успели среагировать, кроме Джамили; у нее вырвался крик.

— Ты только посмотри на себя! — Широко расставив ноги и уперев руки в боки, Налан изучала положение, в которое попал Саботаж. — Как можно быть таким беспечным?

— О господи, ты в порядке? — Хюмейра осторожно заглянула внутрь могилы.

Саботаж стоял в яме без движения — и только подбородок у него подрагивал.

— Ты там жив? — спросила Налан.

Снова обретя дар речи, Саботаж начал запи-

наться:

— Мне кажется… думаю… я в могиле.

— Да, я вижу, — отозвалась Налан.

— Не паникуй, дорогой мой, — сказала Зейнаб-122. — Подумай об этом иначе. Ты лицом к лицу со своими страхами, а это хорошо.

— Вытащите меня. Пожалуйста! — Саботажу было не до советов.

Осторожно, чтобы не наступить на саван, он метнулся в сторону, но тут же рванулся назад, опасаясь неких невидимых существ во мраке могилы.

— Ну же, Налан, помоги ему! — попросила Хюмейра.

Налан выразительно пожала плечами:

— С чего бы это? Возможно, ему стоит остаться внизу и запомнить этот урок.

— Что она сказала? — В горле у Саботажа булькало так, словно там действительно что-то застряло.

— Она тебя дразнит, — вмешалась Джамиля. — Мы тебя спасем.

— Правда, не волнуйся, — подхватила Зейнаб-122. — Я научу тебя молитве, которая помогает…

Дыхание Саботажа участилось. На фоне темных стенок могилы его лицо приобрело какой-то при-

зрачный оттенок. Он положил руку на сердце.

— Ах, боже мой! — воскликнула Хюмейра. — Мне кажется, у него сердечный приступ, как у его отца! Давайте что-нибудь делать, быстро!

— Ладно, хорошо, — вздохнула Налан.

Как только она спрыгнула в яму и оказалась возле него, Саботаж тут же обхватил ее руками. Он ни разу в жизни не был так рад ее видеть.

— Э-э… ты не мог бы убрать руки? Я не способна сдвинуться с места.

Саботаж неохотно ослабил хватку. В жизни его то и дело отчитывали и опускали: дома — сильная и любящая, но строгая мама, в школе — учителя, в армии — начальники, в офисе — почти все. Годы запугивания задавили его душу: там, где должно было расцветать мужество, осталась какая-то каша.

Пожалев о своем тоне, Налан нагнулась и сплела руки:

— Давай выбирайся!

— Ты уверена? Я не хочу, чтобы тебе было больно.

— Об этом не волнуйся, милый мой. Вылезай.

Саботаж поставил ногу на руки Налан и уперся коленом в ее плечо, а затем поставил другую ногу ей на голову и стал выбираться из ямы. Хюмейра

с небольшой помощью Зейнаб-122 и Джамили потянулась и вытащила его наружу.

— Спасибо тебе, Аллах! — воскликнул Саботаж, оказавшись наверху.

— Ага, я трудилась, а благодарят Аллаха, — проворчала из ямы Налан.

— Спасибо тебе, Налан, — сказал Саботаж.

— Пожалуйста. А теперь, прошу вас, киньте мне веревку!

Они кинули. Схватив ее, Налан обвязала веревку вокруг тела:

— Тащите!

Поначалу труп не двигался с места. Видимо, ему было удобнее как есть. Затем дюйм за дюймом друзьям удалось поднять его. Когда он был уже достаточно высоко, Хюмейра и Зейнаб-122 очень осторожно положили его на землю — настолько бережно, насколько это было возможно.

В конце концов Налан выбралась из ямы, вся покрытая царапинами и ранками:

— Уф! Я устала.

Но ее никто не услышал. Все смотрели на саван округленными от изумления глазами. Пока тело поднимали вверх, часть ткани оборвалась, и теперь из-под савана виднелась часть лица.

— У него борода, — сказал Саботаж.

Зейнаб-122 в ужасе подняла глаза на Налан: до нее дошла правда.

— Аллах, будь милосерден к нам! Мы раскопали не ту могилу!

— Как мы могли совершить такую ошибку? — спросила Джамиля, после того как они снова похоронили бородатого мужчину и разровняли землю на его могиле.

— Из-за старика из больницы, — сконфуженно ответила Налан, доставая из кармана листок бумаги. — У него ужасный почерк. Я не была уверена — семь тысяч пятьдесят два или семь тысяч пятьдесят три. Откуда мне было знать? В этом нет моей вины.

— Все нормально, — нежно ответила Зейнаб-122.

— Давай же раскопаем нужную могилу. — Хюмейра собралась. — На этот раз мы поможем тебе.

— Не нужно мне помогать. — К Налан вернулась уверенность, и она схватила лопату. — Лучше присматривайте за ним. — Она указала пальцем на Саботажа.

Тот поморщился. Он терпеть не мог, когда к нему относились как к слабаку. Как и многие неуверенные в себе люди, Саботаж втайне верил,

что в нем всегда жил и продолжает жить герой, которому не терпится выбраться наружу и показать всему миру, каков он на самом деле.

Тем временем Налан снова начала копать, не обращая внимания на жгучую боль между лопатками. Руки и все тело у нее тоже ломило. Она украдкой поглядывала на свои ладони, опасаясь, что натрет мозоли. Во время длительного и весьма изнурительного перехода от мужской внешности к женской натуре, которая в ней уже была, больше всего ее расстраивали руки. Как объяснил ей хирург, уши и руки изменить сложнее всего. Волосы можно трансплантировать, носу придать иную форму, грудь увеличить, жир удалить и распределить по другим местам — поразительно, как ты можешь стать совершенно иным человеком, — но вот с размером и формой рук ничего особенно не сделаешь. Никакие маникюры тут не помогут. А у нее были сильные, крепкие руки фермера, которых Налан стыдилась все эти годы. Однако этой ночью они были очень кстати. Лейла гордилась бы ею.

На этот раз она копала медленно и осознанно. Хюмейра, Джамиля, Зейнаб-122 и даже Саботаж молча работали рядом, потихоньку разгребая почву. И снова могила была раскопана, и снова

Налан спрыгнула в нее, и снова туда закинули веревку.

По сравнению с предыдущей попыткой на этот раз тело было легче и вытащить его было проще. Они бережно положили его на землю. Опасаясь, что снова увидят не то, они осторожно приподняли край савана.

— Это она, — произнесла Хюмейра срывающимся голосом.

Зейнаб-122 сняла очки и тыльной стороной ладони вытерла глаза.

Налан откинула пряди волос, прилипшие к вспотевшему лбу:

— Ну вот и хорошо. Давайте отвезем ее к любимому.

Они осторожно погрузили тело подруги в тачку. Налан удерживала туловище, чтобы уравновесить его с ногами. Прежде чем они двинулись прочь, Налан открыла фляжку с водкой и сделала внушительный глоток. Жидкость, обжигая и даруя приятное тепло, словно костер в кругу друзей, опустилась по пищеводу к желудку.

Небо прорезала очередная молния, ударившая в землю примерно в ста футах от них, и на мгновение осветила все кладбище. Саботаж поморщился — он собирался икнуть. А в итоге издал странный

звук, который превратился в рычание.

— Прекрати это! — попросила Налан.

— Это не я!

Он не врал. Откуда ни возьмись перед ними возникла собачья свора. Псов было с десяток, а может, даже больше. Во главе стоял огромный черный барбос — прижатые уши, отливающие желтым глаза, оскаленные зубы. Стая окружала их.

— Собаки! — нервно сглотнул Саботаж, и кадык прыгнул по его шее.

— А может быть, джинн, — прошептала Зейнаб-122.

— И ты поймешь, который из них, когда он тяпнет тебя за задницу, — ответила Налан.

Она придвинулась к Джамиле, чтобы загородить ее.

— А вдруг они бешеные?

— Посмотри на их уши, на них клипсы, — покачала головой Налан. — Это не дикие собаки. Их стерилизовали. И возможно, даже привили. Спокойнее, пожалуйста. Если не будете дергаться, они не нападут. — Тут у нее возникла идея. — Ты не брала с собой еду, Хюмейра?

— А почему именно я?

— Открой сумку. Что у тебя там лежит?

— Только кофе, — ответила Хюмейра, а потом вздохнула. — Ладно, есть и немного еды.

Из рюкзака она достала остатки ужина.

— Неужели ты притащила с собой все это! — поразилась Зейнаб-122. — И о чем ты только думала?

— Как — о чем! — подхватила Налан. — О чудесном ночном пикнике на кладбище, вот о чем.

— Я просто подумала, а вдруг мы проголодаемся, — парировала Хюмейра. — Мне показалось, что ночь может быть длинной.

Они бросили еду собакам. Через тридцать секунд она исчезла, однако за эти тридцать секунд в стае возникли разногласия. Всем псам еды не хватило, а потому началась драка. Минуту назад они были дружной командой. А теперь стали врагами. Схватив палку, Налан окунула ее в мясной соус и зашвырнула как можно дальше. Собаки, рыча друг на друга, помчались за ней.

— Ушли! — выдохнула Джамиля.

— Пока ушли, — предупредила Налан. — Нам нужно торопиться. Сбейтесь в кучку. Двигаемся быстро, но без резких движений. Нельзя их провоцировать, понимаете?

Движимая очередной целью, Налан покатила тележку вперед. Еле волоча усталые ноги и

лопаты в руках, компания двинулась к пикапу — туда, откуда они пришли. Несмотря на ветер, от тела исходил едва уловимый запах. Даже если бы он был сильнее, никто бы о нем ничего не сказал, чтобы не оскорбить Лейлу. Она всегда обожала духи.

Возвращение

Когда наконец-то пошел дождь, это был настоящий ливень. Волочась по грязи и стараясь обходить корни деревьев, Налан с трудом маневрировала тележкой. Саботаж устало плелся рядом с Джамилей, держа над ее головой единственный зонтик. Промокнув до костей, он, кажется, почти протрезвел. Прямо за ними, тяжело дыша, следовала Хюмейра, она не привыкла к таким физическим нагрузкам, так что теперь сжимала в пальцах ингалятор. Даже не поглядев на свои ноги, она знала, что чулки у нее все разорваны, а щиколотки — в ранках и царапинках. Замыкала процессию, пошатываясь, Зейнаб-122; в своих скрипучих влажных ботинках она то и дело поскальзывалась, стараясь не отставать от тех, кто был выше и сильнее.

Вздернув подбородок, Налан остановилась — без видимой причины. Она выключила фонарь.

— Зачем ты это сделала? — спросила Хюмейра. — Мы ничего не видим.

Впрочем, это было не совсем правдой. Узкую тропку озарял лунный свет, пусть даже и очень бледный.

— Тише, дорогуша.

На лице Налан мелькнула тревога. Она напряглась всем телом.

— Что случилось? — пробормотала Джамиля.

Налан как-то странно и неестественно наклонила голову, прислушиваясь к звукам вдалеке.

— Видели там голубые огоньки? За теми кустами стоит полицейская машина.

Все посмотрели в указанном направлении и примерно в шестидесяти футах от кладбищенских ворот увидели припаркованную машину.

— О нет! Всё! Мы попались, — проговорила Хюмейра.

— Что нам теперь делать? — спросила Зейнаб-122, которая только-только поравнялась с ними.

Налан не знала. Но всегда полагала, что половина успеха лидера состоит в том, чтобы действовать так, будто знаешь.

— Вот что я вам скажу, — с уверенностью заявила она. — Мы оставим тачку здесь, она слишком шумит, даже несмотря на этот гребаный дождь. Мы пойдем дальше, и Лейлу я понесу на руках. Когда мы доберемся до пикапа, все сядут вместе со мной вперед. А Лейлу положим назад. Я накрою ее пледом. Мы потихоньку уедем отсюда. Как только окажемся на основной дороге, я дам

по газам — и все дела. Свободны как птицы!

— Они нас не увидят? — спросил Саботаж.

— Поначалу нет, сейчас очень темно. Но в конце концов увидят, только будет уже поздно. Мы промчимся мимо. В такое время пробок нет. Так что все будет в порядке, честное слово.

Еще один безумный план, на который все дружно согласились, — у них снова не было других вариантов.

Налан подняла Лейлу на руки и перекинула ее через плечо.

Теперь мы квиты, подумала она, вспоминая ту ночь, когда на них напали отморозки.

После смерти Д/Али прошло достаточно времени. Пока Лейла была его женой, она и мысли не допускала, что однажды снова вернется на улицу. Она всем — и особенно самой себе — говорила, что с этой частью ее жизни покончено, словно прошлое — кольцо, которое можно просто взять и снять с пальца. Но тогда казалось, что все возможно. Любовь и молодость движутся в быстром танце. Лейла была счастлива, и у нее было все необходимое. А когда Д/Али ушел — так же быстро и неожиданно, как и пришел в ее жизнь, — он оставил незаживающую рану в ее сердце и кучу долгов. Оказалось, что деньги, которые Д/Али

заплатил Гадкой Ма, были взяты в долг, но не у товарищей, как он говорил, а у нелегальных кредиторов.

Теперь Налан вспомнила вечер в одном из ресторанов на Асмали-Мескит, где они частенько обедали втроем. *Сарма* из виноградных листьев и жареные мидии — Д/Али заказал их для всех, но в особенности для Лейлы, — пахлава с фисташками, айва с топлеными сливками — Лейла заказала ее для всех, но в особенности для Д/Али — и бутылка *ракы* — Налан заказала ее для всех, но в особенности для самой себя. К концу вечера Д/Али был сильно навеселе, что случалось с ним крайне редко, поскольку он подчинялся, как он сам это называл, революционной дисциплине. Тогда Налан еще не видела никого из его товарищей. Не видела их и Лейла, что было очень странно, поскольку к тому времени они были женаты уже больше года. Д/Али никогда не говорил это открыто и, наверное, стал бы отрицать, если бы его спросили, но по его поведению было ясно: он опасался, что его товарищи будут не в восторге от его жены и ее чудаковатых друзей.

Стоило только Налан поднять эту тему, Лейла тут же бросила на нее сердитый взгляд, стараясь перевести разговор на что-то другое. Сейчас ужас-

ные времена, напомнила она Налан уже после этого. Убивают ни в чем не повинных граждан, ежедневно где-то взрывается бомба, в университетах все время дерутся, на улицах лютуют фашисты, а в тюрьмах все время пытают. Для некоторых революция всего лишь слово, а для иных — вопрос жизни и смерти. Когда все так плачевно и миллионы людей страдают, глупо обижаться на нескольких молодых людей, которые так и не познакомились с ними лично. Налан тактично выразила несогласие. Она хотела понять, что это за революция такая и почему она не готова принять в свои широкие объятия и ее вместе с ее недавно увеличенной грудью.

В тот вечер Налан упрямо стремилась расспросить об этом Д/Али. Они сидели за столиком у окна, и легкий ветерок задувал в него аромат жимолости и жасмина, смешанный с запахом табака, жареной пищи и аниса.

— Мне нужно кое-что спросить у тебя, — сказала Налан, стараясь не встречаться взглядом с Лейлой.

Д/Али тут же выпрямился:

— Отлично, у меня тоже есть к тебе вопрос.

— О! Ну тогда спрашивай первым, дорогой мой.

— Нет, сначала ты.

— Я настаиваю.

— Хорошо. Если бы я спросил тебя, в чем состоит самая большая разница между западноевропейскими городами и городами нашей страны, что бы ты ответила?

Прежде чем заговорить, Налан глотнула немного *ракы*.

— Ну, здесь нам, женщинам, приходится носить с собой булавку на случай, если кому-нибудь вздумается пристать к нам в автобусе и нужно будет уколоть этого психа. Не думаю, что в больших западных городах нужно поступать так же. Исключения бывают всегда, тут сомнений нет, но я бы сказала, что общее правило и ключевая разница между «здесь» и «там» — количество булавок, которые используются в автобусах.

— Да, возможно, это тоже, — улыбнулся Д/Али. — Но мне кажется, что самая важная разница — наши кладбища.

— Кладбища? — Лейла с интересом посмотрела на мужа.

— Да, любимая. — Д/Али указал на нетронутую пахлаву, которая лежала перед ней. — Ты не будешь это?

Зная, что муж сластена не хуже любого школь-

ника, Лейла подвинула тарелку к нему.

Д/Али сказал, что в крупных европейских городах места́ захоронений хорошо продуманы, содержатся в порядке и до того зеленые, что их можно спутать с королевским садом. А в Стамбуле кладбища такие же неприглаженные, как и жизнь в целом. Однако дело тут не в одной чистоте. В определенный исторический момент европейцам на ум пришла великолепная идея — отправлять мертвых на окраины городов. Не так чтобы «с глаз долой — из сердца вон», но точно вон из городской жизни. Кладбища устраивались за городскими стенами — призраков отгораживали от живых. Все это сделали быстро и грамотно, словно отделили желток от белка. Такое новое устройство оказалось очень целесообразным. Надгробий — этих ужасных напоминаний о бренности жизни и суровости Бога — видеть больше не приходилось, и европейские горожане стали активнее. Отдалив смерть от повседневности, они сосредоточились на другом: сочиняли арии, изобретали гильотину и паровоз, колонизировали все остальные страны, перекраивали Ближний Восток… Все это и многое другое можно сделать, только вытеснив из сознания мысль о собственной бренности.

— А в Стамбуле? — спросила Лейла.

Подхватив последний кусочек пахлавы, Д/Али ответил:

— Здесь все по-другому. Этот город принадлежит мертвым. Не нам.

В Стамбуле именно живые были временными жителями и непрошеными гостями — сегодня есть, а завтра нет, — и в глубине души все об этом знали. Белые могильные камни встречали горожан на каждом повороте — вдоль дорог, у торговых центров, парковок и футбольных полей, — они разбросаны по всем углам, словно жемчужины от порванного ожерелья. Д/Али сказал, что миллионы стамбульцев использовали лишь малую толику своего потенциала из-за губительной близости могил. Охота к нововведениям теряется, если все время напоминать, мол, вот-вот придет смерть со своей косой, которая отсвечивает красным в лучах заходящего солнца. Именно поэтому проекты реновации ни к чему не приводили и инфраструктуру строить не удавалось, а коллективная память оказывалась не прочнее салфетки. К чему создавать будущее или возвращаться мыслями к прошлому, если мы постоянно скатываемся к размышлениям о конце? Демократия, права человека, свобода

слова — есть ли в них смысл, если в итоге мы все умрем? Устройство кладбищ и отношение к мертвым, как заключил Д/Али, — самая большая разница между двумя цивилизациями.

После этого все трое погрузились в молчание, слушая постукивание столовых приборов и звяканье тарелок на заднем плане. Налан до сих пор не понимала, почему она сказала то, что сказала. Слова сорвались с губ так, словно жили собственной жизнью.

— Я откинусь первая, вот увидите. И хочу, чтобы вы танцевали вокруг моей могилы и ни за что не плакали. Курите, пейте, целуйтесь и танцуйте — такова моя воля.

Лейла нахмурилась. Она расстроилась, что Налан сказала такое, и обратила лицо к флуоресцентной лампе, мигавшей у них над головами, и ее прекрасные глаза приобрели оттенок дождя. Но Д/Али просто улыбнулся, нежно и печально, будто в глубине души знал, что, несмотря на заявление Налан, первым из них уйдет именно он.

— А что хотела спросить ты? — поинтересовался Д/Али.

И тут Налан передумала: вопрос о том, почему они так до сих пор и не познакомились с его товарищами и что будет представлять собой

революция в светлом будущем, которое может наступить, а может, и нет, уже не имел значения. Вероятно, в городе, где все постоянно меняется и исчезает, ни о чем не стоит беспокоиться, а полагаться следует лишь на текущий момент, который уже наполовину миновал.

До нитки вымокшие и измученные, друзья наконец-то добрались до «шевроле». Все разместились в кабине, кроме водителя. Налан взялась за работу в кузове: она закрепляла тело Лейлы, обматывая его веревками и привязывая их к стенкам кузова. Нужно было убедиться, что оно не станет перекатываться туда-сюда. Добившись нужного результата, она уселась возле остальных, тихо закрыв дверцу и восстановив дыхание, которое пришлось сдерживать.

— Хорошо. Все готовы?

— Готовы, — в затянувшемся молчании произнесла Хюмейра.

— Итак, едем тихо-тихо. Самое сложное позади. Мы сумеем.

Налан сунула ключ в замок зажигания и аккуратно повернула его. Двигатель ожил, и спустя секунду из кабины вырвалась оглушительная музыка. В ночь лился голос Уитни Хьюстон, вопрошающий о том, куда деться разбитому

сердцу.

— Черт! — воскликнула Налан.

Рукой она стукнула по магнитоле, но было уже поздно. Двое полицейских, потягиваясь, уже ошеломленно глядели в их сторону.

Посмотрев в зеркало заднего вида, Налан увидела, как полицейские запрыгивают в машину.

— Ну что же, план меняется, — сказала она, выпрямляя плечи. — Держитесь крепче!

В город[4]

Во весь опор несясь по скользкой от дождя дороге, разбрасывая во все стороны грязь, «шевроле» 1982 года быстро скатился с холма в лес. По обе стороны трассы стояли выцветшие щиты с рекламными плакатами. На одном из них, который отклеился по бокам, с трудом читалось: «Приезжайте в Килиос… идеальный отпуск… рукой подать».

Налан вдавила педаль газа в пол. Она слышала громкий звук полицейской сирены, маленькая «шкода» пыталась разогнаться так, чтобы не завязнуть в грязи и не съехать с дороги, не справившись с управлением. Тут Налан радовалась и грязи, и дождю, и грозе, и — да! — старому «шевроле». Когда они окажутся в городе, удрать от полиции будет сложнее — придется полагаться на себя. Она прекрасно знала все закоулки.

Справа, где дорога разветвлялась и посередине красовалась небольшая рощица из высоких елей,

---

[4] Примечания: 4

Название Стамбул происходит от средневекового греческого выражения εἰς τὴν Πόλι(ν), звучащего как «ис тин по́ли(н)», «ис тим бо́ли(н)» и означающего «в город». — *Примеч. автора.*

в ярком свете фар застыл олень. Налан поглядела на животное, и ее осенило. Надеясь, что подвеска у машины достаточно высокая, она свернула на обочину и направилась прямо в рощицу, где тут же выключила фары. Все случилось мгновенно — никто не осмелился и пикнуть. Они ждали, веря в судьбу и в Бога — в те силы, которыми не могли управлять. Спустя минуту полицейская машина, не заметив их, промчалась мимо в сторону Стамбула, до города оставалось десять миль.

Когда они снова вернулись на дорогу, «шевроле» оказался там в полном одиночестве. На первом же перекрестке светофор, висевший на проводах над дорогой, переключился с зеленого на красный. Пикап мчался дальше на всех парах. Далеко впереди вставал город, и над его очертаниями темное небо пронзила оранжевая полоса. Начинался рассвет.

— Надеюсь, ты понимаешь, что творишь, — проговорила Зейнаб-122, которая уже не знала, какую молитву ей читать.

Места у них было мало — она почти что сидела на коленях у Хюмейры.

— Не волнуйся, — заверила Налан, крепче сжимая руль.

— Да, к чему волноваться? — сказала Хюмей-

ра. — Если она и дальше будет так ехать, нам недолго осталось жить.

— Люди, прекратите психовать, — покачала головой Налан. — Как окажемся в городе, сможем скрыться. Я найду проулок, в котором мы станем невидимыми!

Саботаж посмотрел в окно. Водка действовала на него в три этапа: сначала он испытал восторг, затем страх и дурное предчувствие и наконец — меланхолию. Он опустил стекло. Ворвавшись внутрь, ветер заполнил тесную кабину. Саботаж изо всех сил старался сохранять спокойствие, но совершенно не понимал, как им удастся увильнуть от полиции. И если его поймают с трупом и кучкой сомнительных женщин, что он скажет жене и своим ультраконсервативным родственникам?

Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. В бесконечной тьме Лейла представилась ему не взрослой женщиной, а еще совсем девочкой. На ней была школьная форма, белые гольфы и красные туфли со слегка сбитыми носами. Она быстро помчалась к дереву в саду и, опустившись на колени, собрала горсть земли, сунула ее в рот и начала жевать.

Саботаж так и не сказал ей, что видел, как

она это сделала. Он был поражен: с чего вдруг человек решил есть землю? Спустя некоторое время он заметил порезы на внутренней части ее предплечий и подумал, что, возможно, на руках и бедрах они тоже есть. Он забеспокоился и принялся расспрашивать ее об этом, но Лейла только пожала плечами: «Ничего страшного. Я знаю, когда нужно остановиться». Это признание — а это, конечно, было признание — лишь усилило тревогу Саботажа. Он прежде всех и явственнее всех видел, как она страдает. На него навалилась тяжелая густая тоска — сердце сжал невидимый кулак. Эту тоску он прятал от всех и лелеял все эти годы, ведь что такое любовь, если не забота о чужой боли — такая же, как о своей собственной? Он протянул руку, и девочка, сидевшая перед ним, исчезла, словно видение.

Саботаж Синан очень о многом сожалел в своей жизни, но ничто не могло сравниться с тем чувством сожаления, которое он испытывал, так и не признавшись Лейле. С самого детства в Ване, когда они каждое утро ходили в школу и небо над ними постепенно светлело до голубизны, когда они разыскивали друг друга во время перемен, летом бросали камни с берега великого озера, а зимой сидели бок о бок у садовой стены, раз-

глядывая картины американских художников и сжимая в ладонях кружки с дымящимся *салепом*, с тех самых давно ушедших дней он был влюблен в нее.

В отличие от дороги из Килиоса, стамбульские улицы даже в этот ранний час пустыми назвать было трудно. «Шевроле» трясся мимо домов — квартал за кварталом, — их окна были темными и пустыми, словно дыры в зубах или зияющие глазницы. То и дело перед пикапом возникало нечто неожиданное: бродячая кошка, заводской рабочий, возвращающийся с ночной смены, какой-нибудь бездомный, отыскивающий окурки у дорогого ресторана, забытый зонтик, порхающий по ветру, наркоман, стоящий посреди дороги и улыбающийся тому, что видит только он. Проявляя еще бóльшую бдительность, чем раньше, Налан нагнулась вперед и была готова в любой момент свернуть.

— Что случилось с этими людьми? — ворчала она себе под нос. — В такое время они должны спать.

— Не сомневаюсь, то же они думают и о нас, — отозвалась Хюмейра.

— Ну, у нас важное дело.

Налан поглядела в зеркало заднего вида.

Вдобавок к дислексии Налан страдала еще и диспраксией. Ей было непросто получить водительские права, и хотя замечание Хюмейры было грубоватым, нельзя сказать, что оно совершенно не соответствовало действительности. Налан флиртовала с инструктором по вождению. Совсем чуть-чуть. Хотя с тех пор она ни разу не попадала в аварии. А это не так уж и просто в городе, где на один квадратный ярд приходится куда больше водителей-нарушителей, чем подземных византийских сокровищ. Налан всегда считала, что в некотором смысле вождение можно сравнить с сексом. Чтобы в полной мере испытывать от него удовольствие, не нужно торопиться, зато нужно учитывать, что происходит с другой стороной. *Уважай дорогу, плыви по течению, не соревнуйся и не пытайся доминировать.* Но в этом городе полно маньяков, мчащихся на красный свет и заезжающих на аварийные полосы так, словно им жить надоело. Иногда, потехи ради, Налан ехала за такими вплотную, в нескольких дюймах от их бамперов, мигала фарами и гудела в клаксон. Она подбиралась на такое опасно близкое расстояние, что могла наблюдать за глазами водителей в зеркалах заднего вида — над болтающимися освежителями воздуха, футбольными вымпела-

ми и четками из цветных камешков — и видеть выражение ужаса, когда до них доходило, что их преследует женщина и что эта женщина, может быть, трансвестит.

Подъезжая к Бебеку, они заметили полицейскую машину, припаркованную на углу круто уходящей вниз дороги, которая вела к старому Османскому кладбищу и дальше — к Босфорскому университету. Что это — предупреждение для них или просто-напросто отдыхающие патрульные? В любом случае увидеть их не должны. Переключив рычаг передач, Налан быстро развернулась и ударила по газам, отчего стрелка спидометра метнулась в красный сектор.

— Что нам теперь делать? — спросила Джамиля.

У нее на лбу выступили капельки пота. Травма, полученная днем, и напряжение, которое пришлось пережить ночью, пагубно сказались на ее утомленном теле.

— Мы найдем другое кладбище, — сказала Налан; в ее голосе уже не звучали привычные командные нотки.

Они потеряли слишком много времени. Скоро наступит утро, а у них в кузове так и будет лежать труп, который некуда деть.

— Но скоро ведь станет светло, — возразила Хюмейра.

Наблюдая за тем, как Налан пытается найти правильные слова, — похоже, она все-таки утратила контроль над ситуацией, — Зейнаб-122 опустила глаза. С тех пор как они уехали с кладбища, ее начала страшно мучить совесть. Она сильно переживала, что они эксгумировали тело Лейлы, очень согрешив в глазах Аллаха. Но в этот момент, когда она заметила нехарактерное для Налан смущение, ей в голову, словно озарение, пришла еще одна мысль. Возможно, они впятером, словно изображение на миниатюре, становятся сильнее, умнее и куда живее, когда дополняют друг друга. Может быть, ей стоит расслабиться и не думать о том, как бы она поступила сама, потому что, в конце концов, это похороны Лейлы.

— Как мы найдем другое кладбище в такое время? — спросил Саботаж, потянув себя за усы.

— А может, это не нужно, — произнесла Зейнаб-122 так тихо, что другим пришлось напрячь слух. — Может, и не стоит ее хоронить.

Налан удивленно поморщилась:

— Еще раз?

— Лейла не хотела, чтобы ее хоронили, — про-

должала Зейнаб-122. — Мы говорили об этом раз или два, еще в борделе. Помню, я рассказывала ей о четырех святых, которые защищают этот город. «Надеюсь, — сказала я ей, — когда-нибудь меня похоронят возле гробницы одного из святых». А Лейла ответила: «Чудно, надеюсь, что так и будет. Но только не со мной. Если бы у меня был выбор, я бы не хотела лечь в яму глубиной два метра». Тогда я испытала некоторое раздражение, потому что религия предписывает именно это. Я попросила ее больше не говорить такого. Но Лейла не сдавалась.

— Что ты имеешь в виду? Она попросила, чтобы ее кремировали? — рявкнул Саботаж.

— Боже мой, нет! — Зейнаб-122 поправила свои очки. — Она имела в виду море. Ей сказали, что в тот день, когда она появилась на свет, кто-то из ее домашних выпустил рыбку, жившую в стеклянной чаше. Мне показалось, что эта идея ей по вкусу. Лейла сказала, мол, когда умру, обязательно разыщу эту рыбку, даже если не смогу плавать.

— Ты хочешь сказать, что Лейла завещала бросить ее в море? — спросила Хюмейра.

— Ну, я не знаю, хотела ли она, чтобы ее именно бросили, да и завещания она никакого не остави-

ла, но — да, она сказала, что хочет скорее в воду, чем под землю.

Не сводя глаз с дороги, Налан сердито нахмурилась:

— Почему ты не сказала об этом раньше?

— А зачем? Такие беседы редко воспринимаешь серьезно. К тому же это грех.

Налан повернулась к Зейнаб-122:

— А зачем тогда ты говоришь это сейчас?

— Потому что до меня вдруг дошло, — призналась Зейнаб-122. — Я поняла, что, несмотря на различие в наших взглядах, я все равно уважаю ее мнение.

Все задумались.

— И что же будем делать? — спросила Хюмейра.

— Давайте отвезем ее в море, — предложила Джамиля, и ее тон, такой легкий и уверенный, заставил остальных поверить, что именно это и следует сделать.

И вот «шевроле-сильверадо», грохоча, покатил к Босфорскому мосту. К тому самому мосту, открытие которого Лейла праздновала когда-то вместе с тысячами других стамбульцев.

Часть третья. Душа

Мост

— Хюмейра!

— Мм?

— Все в порядке, дорогая? — сжимая руль, спросила Налан.

— Я очень спать хочу, — ответила Хюмейра, почти не открывая глаз, — простите.

— Ты что-то принимала вечером?

— Ну, кое-что приняла, — слабо улыбнулась Хюмейра.

Ее голова скатилась на плечо к Джамиле, и она тут же заснула.

— Прекрасно! — вздохнула Налан.

Джамиля придвинулась немного и слегка сменила позу, чтобы Хюмейре было удобнее.

Как только глаза ее закрылись, Хюмейра провалилась в глубокий сон. Она видела себя в Мардине, еще совсем девочкой, в объятиях старшей сестры. Ее любимой сестры. Потом появились остальные братья и сестры, и все они, встав в круг, засмеялись и завертелись. Вдалеке раскинулись наполовину сжатые поля, а в окнах монастыря Мор-Габриэль отражался солнечный свет. Она отделилась от своих родственников и

двинулась к старинному зданию, прислушиваясь к бормотанию ветра в щелях между камнями. Монастырь выглядел как-то иначе. Приблизившись, Хюмейра поняла почему: он был выстроен из таблеток, а не из кирпича. Из всех тех таблеток, которые она проглотила за свою жизнь — с водой, виски, колой, чаем и просто так. Ее лицо сморщилось. Она всхлипнула.

— Ш-ш-ш, это всего лишь сон, — успокоила ее Джамиля.

Хюмейра затихла. Несмотря на шум пикапа, ее лицо приобрело умиротворенное выражение. Волосы ее растрепались — упрямо темные корни под яркой золотисто-желтой копной.

Джамиля запела колыбельную на своем родном языке, и голос ее отдавал ясностью и проникновенностью африканского неба. Слушая ее, Налан, Саботаж и Зейнаб-122, не поняв ни слова, ощутили тепло этой песни. В разных культурах появляются похожие обычаи и мелодии, и это до странности обнадеживает, как и тот факт, что во всем мире в моменты тягот мы покачиваем в объятиях дорогих нам людей.

«Шевроле» мчался к Босфорскому мосту, над которым во всей своей красе занимался рассвет. Ровно сутки прошли с того момента, как тело

Лейлы обнаружили в металлическом мусорном баке.

Налан ускоряла двигатель, и волосы липли к ее влажной от пота шее. Кашлянув, пикап задрожал, и на мгновение она с ужасом подумала, что он все-таки подведет их, однако машина, рыча, двинулась дальше. Налан крепче сжала руль в одной руке, а другой принялась поглаживать его и бормотать:

— Я знаю, милый мой, ты устал, я понимаю.

— С каких это пор ты стала беседовать с машинами? — с улыбкой поинтересовалась Зейнаб-122. — Ты разговариваешь со всем, чем угодно, только не с Богом.

— Знаешь что? Обещаю: если все это закончится благополучно, я непременно передам ему привет.

— Смотри! — Зейнаб-122 указала на окно. — Мне кажется, это Он передает тебе привет.

Там, на горизонте, полоса рассвета стала серебристо-сиреневой, цвета устричной раковины с внутренней стороны, нежного и переливистого. Бескрайний простор моря усеивали точки кораблей и рыболовецких лодок. Город казался шелковистым и ласковым, словно у него не было кривых краев.

По дороге к азиатскому берегу появлялись роскошные поместья, за ними — добротные виллы, принадлежавшие среднему классу, а дальше, на холмах, ряд за рядом выстроились потрепанные лачуги. Между зданиями были разбросаны кладбища и гробницы святых — их бледные камни напоминали паруса яхт, которые вот-вот отплывут.

Краем глаза посмотрев на Хюмейру, Налан зажгла сигарету, в этот раз она не так остро чувствовала свою вину по этому поводу, будто бы во сне астма отступала. И пусть она пыталась выдыхать дым исключительно в окно, ветер все равно заносил его назад, внутрь кабины.

Налан собралась было выкинуть окурок, но тут Саботаж подал голос из своего угла:

— Стой! Сначала дай мне сделать затяжку.

Он курил тихо, все больше впадая в меланхолию. Он думал о том, что́ сейчас могут делать его дети. Его очень печалило, что они так и не познакомились с Лейлой. Саботаж всегда предполагал, будто в один прекрасный день они все вместе соберутся за завтраком или обедом и дети сразу же полюбят ее — так же, как когда-то он. Теперь поздно. Ему казалось, что он всегда и со всем опаздывает. Ему следовало прекратить

прятаться, делать вид и делить свою жизнь на части, нужно было найти способ объединить все ее стороны. Следовало познакомить друзей с семьей и семью с друзьями, а если бы семья не приняла его друзей, нужно было попытаться убедить их сделать это. Если бы только это не было настолько сложно!

Выкинув сигарету, Саботаж закрыл окно и прижался лбом к стеклу. В нем что-то менялось, набирало обороты.

В зеркале заднего вида Налан увидела, как на дорогу выехали две полицейские машины: они были далеко позади и тоже направлялись к мосту. Она округлила глаза — никак не ожидала, что их догонят так скоро.

— Их две! И они за нами.

— Может, кому-то из нас следует выйти и отвлечь их? — спросил Саботаж.

— Я могу, — торопливо предложила Зейнаб-122. — С телом я вам вряд ли помогу. Но это мне под силу. Я могу прикинуться раненой или что-то в этом роде. Им придется остановиться.

— Ты уверена? — спросила Налан.

— Да, — твердо ответила Зейнаб-122. — Совершенно.

Пикап, взвизгнув, остановился, Налан помогла

Зейнаб-122 выбраться наружу и тут же запрыгнула назад. Суета разбудила Хюмейру, она слегка приоткрыла глаза, поменяла положение и снова заснула.

— Удачи тебе, дорогая моя! — бросила Налан в окно. — Будь осторожна.

Они понеслись дальше, оставив Зейнаб-122 на тротуаре, — лишь коротенькая тень отделяла ее от остального города.

Проехав мост наполовину, Налан ударила по тормозам и свернула влево. А затем резко притормозила у тротуара.

— Что ж, мне понадобится помощь, — сказала Налан — в таком она признавалась крайне редко.

— Я готов, — расправив плечи, кивнул Саботаж.

Вдвоем они рванули к кузову и развязали веревки, которые удерживали Лейлу. Саботаж быстро выхватил из кармана шарф и сунул его в складки савана:

— Нельзя забывать о подарке.

Они вместе закинули тело Лейлы себе на плечи и, разделяя вес на двоих, вылезли из кузова, борта которого доходили им до колена. Осторожно переставляя ноги, двинулись дальше. Добравшись

до внешних перил моста, они опустили тело на металлическую поверхность. Потом перевели дух — под массивными зигзагами стальных тросов, висевших над головой, они казались неожиданно маленькими — и посмотрели друг на друга.

— Вперед! — сказал Саботаж, и его лицо покрылось резкими морщинами.

Они подтолкнули тело чуть дальше по перилам — поначалу очень осторожно и нежно, словно ребенка, который боится в первый раз войти в школьный класс.

— Эй, вы!

Налан и Саботаж замерли. Воздух взорвали звук мужского голоса, визг шин и запах паленой резины.

— Стоять!

— Не двигаться!

Из патрульной машины выскочил полицейский, выкрикивая одну команду за другой.

— Они убили кого-то. И пытаются избавиться от тела!

— О нет! — побледнел Саботаж. — Она уже была мертва.

— Заткнись!

— Положите его на землю. Медленно.

— Ее, — не удержалась Налан. — Слушайте,

дайте нам объяснить…

— Тихо! Ни с места! Предупреждаю — я буду стрелять!

Рядом притормозила еще одна полицейская машина. В ней на заднем сиденье оказалась Зейнаб-122 с посеревшим лицом и полными ужаса глазами. Ей не удалось надолго отвлечь их. Все шло не по плану.

Наружу выбрались еще двое полицейских.

На другой полосе моста собиралась пробка. Машины замедляли ход, из окон высовывались любопытные лица: какой-то личный автомобиль, возвращающийся с отдыха, с кучей чемоданов на заднем сиденье, городской автобус, наполовину заполненный ранними птахами — уборщицами, продавцами, уличными торговцами; все они с любопытством наблюдали за происходящим.

— Я сказал, положите тело на землю! — повторил полицейский.

Налан опустила глаза, и жуткая мысль отразилась у нее на лице. Власти заберут тело Лейлы и снова похоронят на Кимсэсизлер-Мезарлыи. И тут ничего не поделаешь. Они старались. Но им не удалось.

— Прости, — прошептала Налан, слегка повернувшись к Саботажу. — Это моя вина. Я загубила

все дело.

— Без резких движений! Руки вверх!

Одной рукой Налан все еще удерживала тело, но уже шагнула в сторону полицейских и подняла другую руку, показывая, что готова сдаться.

— Опустите тело!

Налан подогнула колени, готовясь аккуратно положить тело на асфальт, но замерла, заметив, что Саботаж ничего подобного не делает. Она изумленно посмотрела на него.

Саботаж стоял неподвижно — так, словно не слышал, что говорят полицейские. Он почти полностью закрыл глаза, и все цвета схлынули и с неба, и с моря, и со всего города — на мгновение все стало черно-белым, как любимые фильмы Лейлы, все, кроме единственного хулахупа — вертящегося, выписывающего яркие, решительные, оранжевые, полные жизни круги. Как бы ему хотелось взять и вернуть все назад! Чтобы тогда он не стал давать Лейле деньги на автобус, который увез ее прочь, а попросил остаться в Ване и выйти за него замуж. Почему он струсил? И почему так велика цена, которую приходится платить за не сказанные вовремя слова?

Внезапно обретя силы, Саботаж рванул вперед и перекинул тело через перегородку, а в лицо ему

пахнуло легким соленым ветерком с привкусом слез.

— Стой!

Звуки повисли в воздухе. Крик чайки. Щелчок спускового крючка. Пуля ударила в плечо Саботажу. Боль была мучительной, но на удивление терпимой. Он посмотрел на небо. Необъятное, бесстрашное, всепрощающее.

Сидевшая в пикапе Джамиля вскрикнула.

Лейла падала в пустоту. Быстро и прямо она пролетела более двухсот футов. Море под ней мерцало ярко-голубым, словно бассейн на Олимпийских играх. Во время падения несколько складок ее савана отделились и стали плавать над ней и возле нее, словно голуби, которых растила на крыше ее мама. Правда, они были по-настоящему свободны. Им не нужно было сидеть в клетках.

Она рухнула в воду.

Прочь от этого безумия.

Синяя рыбка-петушок

Лейла опасалась, что приземлится на голову какому-нибудь рыбаку в весельной лодке. Или истосковавшемуся по дому моряку, который любуется видом, пока его корабль скользит по водной глади под мост. Или повару, готовящему завтрак для своих нанимателей на борту роскошной яхты. Везло ей редко. Но ничего такого не случилось. Вместо этого она просто упала под болтовню чаек, под свист ветра. Над горизонтом вставало солнце, сеть из домов и улиц на противоположном берегу, казалось, запылала огнем.

Над ней было чистое небо, будто бы с улыбкой извинявшееся за шторм накануне ночью. Под ней — гребни волн, белые пятна, словно упавшие с кисти художника. Вдалеке, со всех сторон, загроможденный и хаотичный, загубленный и губительный, но, как всегда, прекрасный, раскинулся сам древний город.

Лейла чувствовала легкость. Чувствовала умиротворение. И, падая, с каждым ярдом она теряла по одной неприятной эмоции — ярость, грусть, тоску, боль, сожаление, негодование и его кузину — ревность. Она отделалась от них всех по от-

дельности. Затем ее толкнуло так, что затряслось все ее существо, — и поверхность моря разверзлась. Вода разлилась в разные стороны, и мир снова ожил. Но вовсе не так, как раньше. Он был беззвучен. И безграничен. Лейла огляделась, подмечая каждую деталь, несмотря на его масштабы. Впереди она заметила чью-то тень.

Синяя бойцовая рыбка-петушок. Та самая, которую в день рождения Лейлы выпустили в ручеек в Ване.

— Рада наконец-то видеть тебя, — произнесла рыбка. — Почему тебя так долго не было?

Лейла не знала, что ответить. Да и можно ли говорить под водой?

— Плыви за мной, — сказала рыбка, улыбнувшись в ответ на ее смущение.

Наконец-то обретя дар речи, но не в силах скрыть свою робость, Лейла проговорила:

— Я не умею плавать. Так и не научилась.

— Об этом не волнуйся. Ты умеешь все, что нужно. Плыви за мной.

И Лейла поплыла — поначалу медленно и неуклюже, а потом уже спокойно и уверенно, постоянно увеличивая скорость. Но она никуда не спешила. Больше не было причин торопиться, да и бежать было не от чего. Стайка окуньков за-

вертелась вокруг ее головы, скользнула в волосы. Пеламиды и скумбрии щекотали пальцы на ее ногах. Дельфины сопровождали ее, с веселыми брызгами ударяя по волнам.

Лейла оглядывала панораму, вселенную интенсивного цвета, где в каждом направлении новое пятно света, которое, казалось, перетекает в другое. Она видела ржавеющие скелеты затонувших пассажирских судов. Видела затерянные сокровища, сторожевые суда, имперские пушки, брошенные машины, останки старинных кораблей, наложниц, в мешках вытолкнутых из дворцовых окон и упавших в эту голубизну; теперь их украшения опутывали водоросли, а глаза все еще искали смысла в мире, который привел их к такому жестокому концу. Она обнаружила поэтов, писателей и бунтовщиков времен Османской империи и Византии — их бросили в пучину за предательские речи и спорные взгляды. Призрачное и прекрасное — все это было здесь, вокруг нее, в изобилии.

Все, кроме боли. Никакой боли здесь, внизу, не ощущалось.

Сознание Лейлы уже не работало, тело начало разлагаться, а душа стремилась за рыбкой-петушком. Ей было радостно проститься с Кимсэ-

сизлер-Мезарлыи. Она была счастлива, что стала частью этого яркого царства, этой умиротворяющей гармонии, которая раньше казалась ей невозможной, этой необозримой синевы — яркой, словно новая любовь.

Наконец-то она свободна.

Эпилог

Квартира на улице Лохматого Кафки была украшена воздушными шариками, гирляндами и плакатами. Сегодня у Лейлы мог быть день рождения.

— Где Саботаж? — спросила Налан.

Теперь у них был свежий повод для такого имени, так как их друг наконец-то в полной мере подорвал собственную жизнь. Получив ранение в тот момент, когда он сталкивал тело проститутки с Босфорского моста в компании сомнительных друзей, Саботаж попал во все возможные газеты. В ту же неделю он потерял работу, жену и дом. С большим опозданием он узнал, что у его жены был давний роман, а потому она так радовалась, когда он уходил вечерами. Этим он воспользовался во время переговоров о разводе. Что касается семейства бывшей жены, то они вовсе перестали с ним разговаривать, а вот дети, к счастью, не перестали, и Саботажу позволялось видеться с ними каждые выходные, а это ведь самое главное. Теперь у него был ларек возле Большого базара, торговавший поддельными сувенирами.

Он зарабатывал вдвое меньше, чем раньше, но ни на что не жаловался.

— Застрял в пробке, — сообщила Хюмейра.

Налан махнула рукой со свежим маникюром. Между пальцами она сжимала неприкуренную сигарету и принадлежавшую Д/Али зажигалку «Зиппо».

— Я думала, у него уже нет машины. Чем он оправдается на этот раз?

— Тем, что у него нет машины. И ему пришлось ехать на автобусе.

— Он скоро приедет, подожди немного, — успокоила подругу Джамиля.

Кивнув, Налан вышла на балкон, выдвинула стул и села. Глядя вниз, на улицу, она увидела Зейнаб-122 — та выходила из продуктового, не без труда волоча пластиковый пакет.

Налан ухватилась за бок и внезапно зашлась кашлем курильщика. Грудь болела. Она начала стареть. Ни пенсии, ни сбережений у нее не было, так что сама бы она не продержалась. Они впятером поступили по-умному: стали вместе жить в квартире Лейлы и снимать ее в складчину. Поодиночке они были уязвимы, а вместе — куда сильней.

Далеко впереди, за крышами и куполами, рас-

кинулось море, сверкающее, словно стекло, и где-то в глубине его вод — повсюду — была Лейла, тысяча маленьких Лейлочек, приставших к рыбьим плавникам и водорослям, смеющихся из двустворчатых раковин.

Стамбул — текучий город. Здесь все не навсегда. И нет ничего неизменного. Наверное, это началось тысячелетия назад, когда растаяли льды, поднялся уровень моря, нахлынули паводковые воды и все известные формы жизни были разрушены. Наверное, первыми отсюда сбежали пессимисты, а оптимисты, видимо, решили остаться и поглядеть, как пойдут дела. Налан считала, что одна из неизбывных трагедий человеческой истории состоит в том, что пессимисты выживают лучше, чем оптимисты, а это, если мыслить логично, означает, что человечество несет в себе гены тех, кто не верит в род людской.

Нахлынув, воды напирали со всех сторон, они топили все на своем пути — животных, растения, людей. Так появились и Черное море, и Золотой Рог, и Босфор, и Мраморное море. Залив все вокруг, воды создали участок суши, на котором в один прекрасный день вырос мощный город.

И она до сих пор не застыла, их родина. За-

крывая глаза, Налан слышала волнение вод под ногами. Они мечутся, кружатся, чего-то ищут.

По-прежнему изменяются.

Примечание для читателя

В этой книге многое правда и абсолютно все — вымысел.

Кимсэсизлер-Мезарлыи в Килиосе — реальное место. Оно быстро разрастается. Последнее время там хоронят беженцев, утонувших в Эгейском море в попытке добраться до Европы. Как и на всех остальных могилах, на их захоронениях есть лишь номера и очень редко — имена.

Истории обитателей этого кладбища, упомянутые в книге, навеяны заметками в газетах и реальными фактами о похороненных там людях, и бабушка дзен-буддистка, летевшая из Непала в Нью-Йорк, не исключение.

Улица борделей тоже существует. Равно как исторические события, упомянутые в этой истории: массовое убийство во вьетнамской деревне Сонгми в 1968 году и расстрел демонстрации в Международный день трудящихся в Стамбуле в 1977 году. Отель «Интерконтиненталь», с которого снайперы открыли огонь, теперь называется «Мармара».

До 1990 года статья 438 Уголовно-исполни-

тельного кодекса Турции использовалась для уменьшения на треть срока наказания насильникам в том случае, если они могли доказать, что их жертва — проститутка. Законодатели защищали эту статью, заявляя, что «моральное и физическое здоровье проститутки не сильно страдает от изнасилования». В 1990 году из-за растущего числа нападений на работниц сексуальной индустрии в разных частях страны прошли горячие акции протеста. Благодаря такой резкой реакции граждан статью 438 аннулировали. Но с того момента в стране едва ли менялись подобные законы и ничего не было сделано для равенства полов, а особенно для улучшения условий жизни работниц секс-индустрии.

Наконец, пятеро друзей пусть и продукт моего воображения, но их образы навеяны историями реальных людей — турок, репатриантов и иностранцев, — с которыми я познакомилась в Стамбуле. Пусть Лейла и ее друзья — полностью вымышленные герои, дружба, описанная в этом романе, по крайней мере для меня, не менее реальна, чем этот загадочный старый город.

Словарь

Ага — почтительное обращение в Османской империи

Азан — призыв к молитве

Айран — кисломолочный напиток

Амджа — традиционное обращение к пожилым людям

Бурек — несладкая выпечка с начинкой

Газино — турецкий концертный зал

Гечмиш олсун — скорейшего выздоровления

Дарбука — небольшой барабан

Дерево Заккум — растет в аду

Джезва — посуда для приготовления кофе по-турецки

Замхарир — чрезвычайно холодная часть ада

Зейбек — тип фольклорного танца в Западной Турции

Йенге — неродная тетя (жена дяди или сестра по мужу/ жене)

Кадер — судьба

Конак — дворец, особняк

Назар — дурной глаз

Нафс — эго

Нинэ — бабушка

Салеп — горячее молоко с корицей и дикой орхидеей

Сарма из виноградных листьев — виноградные листья с начинкой

Симит — нечто вроде бублика с кунжутом

Такке — тафья, тюбетейка

Тарикат — суфийское братство или школа

Тёвбе — каюсь

Хабиби — любимый(ая)

Харам — нечто запрещенное исламскими законами

Хаяти — жизнь моя

Ходжа — почетный титул мусульманина

Шайтан — Сатана

Я рухи — душа моя

Благодарности

Есть много людей, которые оказали мне помощь во время написания этого романа. Я глубоко им благодарна.

От всей души я говорю спасибо моему прекрасному редактору Венеции Баттерфилд. Настоящее благословение для автора работать с редактором, который понимает тебя, как никто другой, ведет тебя и подбадривает своими верой, любовью и упорством. Спасибо тебе, дорогая Венеция. Я также должна поблагодарить своего агента Джонни Геллера, который слушает, анализирует и понимает. Каждая наша беседа открывает новое окно в моем сознании.

Большое спасибо тем, кто терпеливо читал ранние версии книги и давал советы. Стивен Барбер, какой же ты потрясающий друг, какая щедрая у тебя душа! Спасибо вам, Джейсон Гудвин, Роуан Раут и дорогая Лорна Оуэн, за то, что были со мной до конца. Большое спасибо, Кэролайн Претти: ты была чрезвычайно вдумчива и очень помогла мне. Спасибо, Ник Барли, прочитавший первые главы и сказавший, что я должна идти вперед без

всяких сомнений, не оглядываясь назад. Огромная благодарность Патрику Зилеманну и Питеру Хаагу — они с самого начала поддерживали меня. Разве можно забыть эту драгоценную помощь?

Я хочу выразить благодарность Джоанне Прайор, Изабел Уолл, Сэпфайр Рис, Анне Ридли и Элли Смит из издательства «Penguin» (Великобритания), а также Дейзи Мейрик, Люси Толбот и Сиаре Финан из «Curtis Brown». А еще Саре Мекьюрио, которая присылает мне очень милые электронные письма из Лос-Анджелеса, и Антону Мюллеру — за мудрые высказывания из Нью-Йорка. А также редакторам и друзьям из «Doğan Kitap» — великолепной смелой команде, плывущей против течения и движимой лишь любовью к книгам. Я выражаю благодарность моим дорогим Зельде и Эмиру Захир, дорогому Эйюпу, моей маме Шафак — женщине, чье имя я давным-давно сделала своей фамилией.

Моя бабушка ушла от нас незадолго до того, как я начала писать этот роман. Я не поехала на ее похороны, потому что не могла спокойно отправиться на родину в тот момент, когда писателей, журналистов, интеллектуалов, академиков, друзей и коллег арестовывали там без всяких на то оснований. Мама просила меня не беспокоиться

из-за того, что я не присутствовала на бабушкиных похоронах. Но я все равно мучаюсь от этого и чувствую свою вину. Мы с бабушкой были очень близки. Именно она вырастила меня.

В ту ночь, когда я закончила этот роман, в небе висел растущий месяц. Я думала о Текиле Лейле и о своей бабушке. Пусть первая — полностью вымышленный персонаж, а вторая не менее реальна, чем моя собственная кровь, почему-то мне показалось, что они встретились и подружились, словно сестры-отщепенки. В конце концов, границы сознания ничего не значат для женщин, которые не перестают петь песни свободы в лунном свете…